

КОНСТАНТИНЭ  
ГАМСАХУРДИА

**ДЕСНИЦА  
ВЕЛИКОГО  
МАСТЕРА**

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Гамсахурдия" (Gamsakhurdia), with a large flourish underneath.*

**1944**

*Константинэ Гамсахурдиа*

ОБ  
С  
70

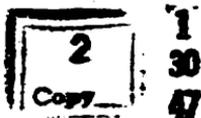
# ДЕСНИЦА ВЕЛИКОГО МАСТЕРА

*Перевод с грузинского  
ФАТЬМЫ ТВАЛТВАДЗЕ*

Д 1540.

---

О Г И З  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1944



*Редактор А. Н. Тихонов*

*Художник Н. В. Ильин*

---

Подписано к печати 11/Х 1944 г. А-7935.  
Тираж 25000 экз. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> печ. л., 15,89 уч.-авт. л.  
Зак. № 438. Цена 6 руб.

---

3-я типография «Красный пролетарий» треста  
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР.  
Москва, Краснопролетарская, 16.

## П Р О Л О Г

Военно-Грузинская дорога — красивейшая в мире, Дардиманди—самый замечательный из коней, верховая езда—лучший отдых для меня. Когда остромордый, широкогрудый и крепконогий конь, насторожив уши, смотрит на меня, истомлённого долгими трудами, во мне снова просыпается неиссякаемая энергия моих предков, и кажется, что я вновь родился на свет и не успел ещё вкусить на этой прекрасной земле восторга от быстрого конского бега и радости движения.

Глазу уши Дардиманди, маленькие, как листья вяза, смотрю в его чёрные, как чернослив, глаза и заражаюсь той неуёмной силой, которой мать-природа так щедро наградила животных.

Но случилось так, что мой чинный Дардиманди вдруг разгорячился. Лошадь — умное животное и чует настроение седока.

Дардиманди—чемпион Грузии среди чистокровных жеребцов. На многих ипподромах поддерживал он честь страны, и потому моё обращение с ним всегда предупредительное.

Он объездил по железной дороге большие центры Советского Союза, привык к рёву локомотивов, гудкам автомобилей и гарахтению тракторов.

Животное, как зачастую и человек, предупредительное отношение к себе воспринимает как слабость и страх перед ним.

Взбесился мой Дардиманди и пришёл в такое состояние, что хоть до самых Каракумов скачи на нём карьером.

Ширит он свои прекрасные большие глаза на блестящие

авто, чумазые грузовики и, поглощая пространство, увлекает меня вдаль.

Я не склонен порицать Дардиманди за то, что закипела в нём горячая кровь неугомимого скакуна.

Тбилиси у нас на глазах разросся в большой город. Огромный костёр пылает на горе святого Давида. Огни электрических ламп сверкают на плато имени Сталина. Электрические шары, отражённые в волнах Мтквари, плавают около моста Челюскинцев и вдоль замечательной набережной Сталина. Авто со слепящими фарами ревут прямо в уши, убегая по гудронированному шоссе. Воют заводские сирены, тархтят идущие в колхозы тракторы, весело позванивают велосипедисты, и степенный Дардиманди поминутно пугается, беспокоится фыркает и грызёт удила. Ни мундштук, ни шенкеля не могут его удержать. Вытянув шею, изогнутую, как у лебедя; он рвётся вперёд. Я обуздываю его порыв, прибираю к рукам, но он заносит круп вперёд, идёт боком и неожиданно переходит на траверс.

Подконец я устал и дал ему волю. У дигомского паромы он сбодил и поскакал. Я отдался воле разъярённого коня. Казалось, тысячи огненных глаз преследуют нас по пятам.

За чертой города я с трудом перевёл его на карьер.

На этот раз я поздно выехал из Тбилиси, поэтому решил из Авчал<sup>1</sup> вернуться в город, так и не увидев мой любимый Светицховели<sup>2</sup>.

Всегда приятно поглядеть на этот храм: утром, освещённый неугомым солнцем, он отливает цветом ящерицы; к закату весь омыт золотом, а в сумерки, когда глядит на него звёздный свод, взлёты его, полные мрачной гармонии, разрезают небо.

Мне бы хоть мельком взглянуть на его устрёмленные вывсы очертания. Пускай неукротимый Дардиманди галопом промчит мимо него, лишь бы взглянуть на его угрюмое одиночество и снова мчаться дальше. Но было поздно.

У самых Авчал мой конь шархнулся в сторону. Навстречу шёл трактор с прицепленным фургоном. Оглушённый грохотом, конь вырвал у меня поводья и поскакал с бешеной быстротой.

---

<sup>1</sup> Авчалы — предместье Тбилиси.

<sup>2</sup> Светицховели — храм в Мцхета, древней столице Грузии.

Мне приятен был его неудержимый порыв, и я, не сопротивляясь, дал ему волю.

Электрические лампочки Загэса мерцали в волнах Мтквари, сказочный Полифем освещал склоны Зеданской горы, которую древние иверы считали обиталищем демонов.

Лишь поровнявшись с Крестовым монастырём, мне удалось укротить Дардиманди.

Ночь ложилась на склоны Зедазени и Саркинети. Капли дождя падали мне на лицо. Мтквари подступала к Помпейскому мосту.

Грустные мысли овладели мной при виде этого моста. По нему шли когда-то римские легионы, орды сарацин, сельджуков, урумов и иранцев.

Безмолвный свидетель прошлого, вовсе не нужный настоящему, он не годен даже как музейный экспонат, и скоро Мтквари снесёт его, как ненужную химеру.

Роль подступа к нашей столице и её ключаря отнял у него мост Челюскинцев, так же как когда-то Тбилиси взял первенство у Мцхета.

Но я уже во Мцхета.

Небосвод, тиснённый облаками, опустился над островерхим куполом Светицховели.

Янтарная кайма облаков, освещённых закатными лучами, застыла на далёком горизонте. На мрачных вершинах гор изредка сверкала молния.

В лоне Светицховели начинается одиннадцатый по счёту век, со своими тёмными ночами и угрюмым покоем.

Я открыл ворота и ввёл коня в ограду.

Слева, перед хаткой, пристроенной к церковной ограде, сидела на камне сгорбленная тень старика. Увидев меня с конём, старик поднялся с места и приблизился ко мне.

— Вы кто?— спросил старик с удивлением.

По голосу я узнал Евфимия и назвал своё имя.

Обрадовался старик, поцеловал меня в правое плечо, по мегрельскому обычаю, взял у меня коня и направился к деревянной лестнице.

Ещё стал ниже ростом и без того невысокий старик.

Тридцать лет тому назад он обучал меня пению. Он собирал тогда древние ирмосы<sup>1</sup>, рукописи, образцы фольклора, заклинания, сказки и древние монеты.

---

<sup>1</sup> Ирмосы — церковные песнопения.

Евфимия я помнил светлым блондином, с блестящими, как кукурузная грива, усами. Теперь же его украшали седые волосы и длинная борода, совсем такая, какую рисуют богوماзы у библейских богов в деревенских церквах.

Евфимий один из тех людей, какие бывают нужны всюду, но когда они появляются, то всегда оказываются лишними. Всё новых и новых целей ищут они в жизни, но ни в чём себя не находят. На них сбывается сказание: «Много избранных, но одному лишь достаётся талант».

Есть люди, которые своей незначительностью становятся заметными. Так получилось и с Евфимием.

Он был учителем пения в Сенаки, кустодом<sup>1</sup> Зугдидского музея, затем заведывал первым кинотеатром в Кутаиси (если память мне не изменяет), был статистом в Кутаисском театре, блестяще представляя на сцене статую Нерона. Десять лет назад он сопровождал народные хоры. Одно время был букинистом в Тбилиси. У него всегда можно было найти самые редкие книги и гравюры.

В один прекрасный день, придя в его маленькую лавку, я застал в ней парикмахерскую. После этого Евфимий исчез с моего горизонта. Как-то раз, приехав во Мцхета в воскресенье, я узнал, что он сторож при храме Светицховели.

Долго я и Евфимий сидели на балконе. Иногда по небу пробегала странная судорога, сверкала молния, и тогда на небе вырисовывался силуэт Светицховели, выступал Крестовый монастырь на горе, чернели шетинистые гребни Зедзени и Саркинети, и снова наступал мрак.

Ветер усилился и погнал тучи к востоку. Осеннее небо прояснилось, и над Светицховели встала луна, такая чистая и ясная, какую можно видеть лишь в мае.

В последнем хороводе носились летучие мыши, и вокруг был такой покой, словно время остановило свой бег.

Молча глядел я на дремлющий во мраке храм и на теснившиеся вокруг него зубчатые башни.

Над храмом раскинулся тёмносиний небосвод, и очертания башен пищеровым и яшмовым ажуром рисовались на его краях.

Какое бы ни было перед тобой великое творение искусства, всё же человек, даже самый незначительный, требует к себе большего внимания.

Я стал спрашивать Евфимия об его жизни. Он сидел

---

<sup>1</sup> Кустод — смотритель, сторож.

в тени храма, маленький, сухой старик, и говорил о себе. Его жизнь была трагедией человека, который интересовался всем, расточал себя и потому ничего не смог удержать в руках, ибо всё ускользало от него.

Последние десять лет этот странный человек, по три раза в год менявший работу, провёл во Мцхета. Оказалось, что он увлекается нумизматикой.

Он встал, вошёл в комнату, вынес оттуда плоску и маленький мешочек с монетами.

— Эти деньги хочу перед смертью завещать музею Грузии.

Он показал мне древние колхидские медные деньги, монеты царицы Тамар, Русудан, Лаша Георгия, серебро Давида Нарини и царя Ираклия. Всё это он раскопал в хранилищах Дманиси, Уплисцихе и Гелати.

Зная беспокойную натуру Евфимия, я стал расспрашивать его, не собирается ли он уходить из Мцхета куда-нибудь в другое место.

— К кому и куда мне идти, сын мой? За эти двадцать лет я похоронил двух жён и нескольких детей. Да и возраст мой не тот. Единственное, что ещё немного привязывает меня к жизни, это неизменная любовь к этому храму. Вот и копаюсь я, сын мой, под сенью этого любимого творения. Слежу за этим замечательным храмом, и в моих глазах он — не божий дом, а непревзойденное произведение великого искусства, которое, как видишь, оказалось долговечнее самого бога. Так вот, сын мой, хожу я меж могилами и призраками наших предков. Нынче приступили к восстановлению храма. Вот видишь — леса вокруг; нужно в купол вставить ещё несколько стёкол, дикие голуби приютились в храме. Я хожу и счищаю помёт с могил Вахтанга Горгасала<sup>1</sup> и царя Ираклия<sup>2</sup>.

...Разве только такие, как я, приносили себя в жертву этому храму? На протяжении тринадцати веков бесчисленные вражеские орды сражались у его стен... Сарацин Абул-Касим атаковал его первым, разгромил и превратил в стойло верблюдов. Храм восстановили. Затем сельджуки Алп Арслан разорил его, но храм опять восстановили. Тимур-Ленг вновь разрушил храм. Шах Тамаз и шах Аббас неоднократно оскверняли его. Затем на протяжении

---

<sup>1</sup> Вахтанг Горгасал — царь Грузии (V в.), основатель Тбилиси.

<sup>2</sup> Ираклий II Багратион — царь Грузии, царствовал в XVIII в.

целого века дождь заливал его сквозь развалившуюся крышу. В новые времена никто не вспомнил о нём. Лишь советская власть — долгоденствовать ей! — распорядилась в нынешнем году обновить крышу и восстановить башни. С северного фасада ещё не сняли лесов. В оконные ниши купола будут вставлены стёкла, и цель моего пребывания здесь, а возможно, и всей моей жизни, будет завершена...

Последние слова он произнёс с горечью.

— Завтра с утра поднимемся наверх по лесам, и я покажу тебе нечто такое, что наполнит тебя вдохновением. Я так понимаю, сын мой, что писатель — лишь заступник преданных забвению героев. На северной стороне этого храма есть надпись и высечены две человеческие фигуры. Твой взор и десница твоя должны выведать тайну, хранимую камнем в течение девяти веков и не разгаданную ещё и поныне.

Эту ночь я провёл на балконе. До рассвета метался без сна, слышал, как Дардиманди фыркал, бил копытом и сладко пережёвывал корм. А я, лёжа ничком, ждал рассвета в надежде поскорее проникнуть в обещанную мне тайну.

Едва на горизонте блеснула утренняя звезда, как защебетали скворцы. А затем у самого моего изголовья возник храм Светицховели, весь облитый солнцем и окрашенный в линияло-зелёный цвет ящерицы. В то утро он был таким прекрасным, каким никогда до тех пор не случалось мне его видеть.

Я стал подниматься по лесам северного фасада. Незвестный мастер высек на стене изображение правой руки человека, держащей наугольник.

Подпись под ней гласила:

*«Рука раба Арсакидзе, во отпущение грехов».*

Около этой подписи были высечены две человеческие фигуры. Одна из них изображала одетого в грузинскую чоху безусого юношу, другая — старца. Старец в иранской одежде, с ехидным выражением лица.

Я спустился с лесов. Прищуренные глаза Евфимия встретили меня улыбкой.

— Вон тот безусый и есть Константин Арсакидзе, а старец с молотком в руках — его учитель Фарсман Перс. Покажу тебе изображение ещё одного человека.

Долго он копался у себя за пазухой и, наконец, достал древнюю грузинскую монету.

На ней был изображён всадник с ястребом на правом плече. Надпись на обороте монеты, сделанная заглавными буквами, гласила:

*«Царь царей Георгий — меч Мессии».*

Вот и всё.

Больше года волновало меня всё это. Подконец отстоялось, сгустилось в моём воображении. Слова вылились на бумагу, как светлый миф, дошедший до нас из глубины веков.

## I

В том году, когда по повелению царя Георгия<sup>1</sup> Фарсман Перс достроил третий храм в Самцхе, на Грузию налетели грачи.

Грозовой тучей покрыли они восток. От Ширвана<sup>1</sup> двинулась птица по Нижней Картли, пронеслась вверх по Мтквари<sup>2</sup> до Басиани, губя на своём пути посевы.

Царь вызвал Фарсмана Перса и повелел ему истребить вредителя.

Фарсман жил когда-то при дворе сарацинского амира, владевшего в ту пору Тбилиси. Отец Георгия, Баграт Куропалат<sup>3</sup>, привёз Перса пленным.

Стал Фарсман Перс главным зодчим у царя Георгия. Прорицатель, хорошо сведущий в арабской алхимии, неподражаемый звездочёт и чудесный лекарь, он был к тому же непревзойдённым знахарем.

Много тёмных историй связывали с его именем. И недаром суеверные говорили, — держит, мол, Фарсман змею на узде и верхом на ней носится по долинам Арагвы.

Двадцать семь дней изготавливали Перс и его ученики магическое зелье. Когда волшебная отвара была готова, роздали её старостам, и те, пропитав ею падаль, подвесили мясо к веткам деревьев. Ненасытная птица накинулась на падаль и вся погибла.

После этого до конца года в стране царило спокойствие.

---

<sup>1</sup> Георгий I Багратион — грузинский царь, царствовал с 1016 по 1027 г.

<sup>2</sup> Мтквари — грузинское название Куры.

<sup>3</sup> Баграт III Куропалат — царь Грузии (X в.). Куропалат — византийский титул — «величество», который давали грузинским и армянским царям.

С византийским кесарем, Василием Болгаробойцей<sup>1</sup>, был заключён мир, гянджинский амир Фадлон, неоднократно битый Багратам Куропалатом, платил дань царю; притих напуганный тбилисский амир; сарацины ещё держались в крепости Шури<sup>2</sup>.

Со спокойным сердцем разъезжал Георгий по Абхазии, Самцхе и Картли, строил крепости и замки. Во время краткого мира готовился царь к длительным войнам.

Первого сентября, в день Нового года, Георгий со свитой находился во Мцхета.

На рассвете первым посетил его католикос<sup>3</sup>. Он подошёл к спальным покоям царя с подносом, наполненным золотом, серебром и гранатами. Поднёс он царю драгоценную литую икону и крест древа животворящего, вывезенный из Кларджети. Крест покоился в высоком ларце, осыпанном драгоценными камнями.

С утра же прибыли к царю эриставы<sup>4</sup>, военачальник Звиад спасалар<sup>5</sup>, мсахуртухуцеси<sup>6</sup>, начальник иностранного приказа, верховный судья, царский духовник, казначей и главный виночерпий. Главный сокольничий поднёс в дар царю трёх кречетов стального цвета, семь соколов, вывезенных из Лазики<sup>7</sup>, и позолоченную голову дикого кабана.

Ясельничий и трое эриставов привели царю в дар по семи коней каждый.

Эриставы поднесли стрелы: бодзали — толстые — для крупного зверя; кейбуры — длинные — для хищников; томарки — с раздвоенными наконечниками; кибурджи — для птиц, и копьё для войны.

Выступил вперёд косматый эристав Мамамзе, прозванный львом за осанку свою и мужество. Взяв связку стрел и подняв их вверх, он устремил пронизательный взгляд своих серых глаз на царя, восседавшего на троне.

---

<sup>1</sup> Византийский император Василий II Болгаробойца, царствовавший в 975—1025 гг.

<sup>2</sup> Шури — крепость в Тбилиси.

<sup>3</sup> Католикос — глава грузинской церкви.

<sup>4</sup> Эристав — военачальник, представитель провинции или племени, приблизительно соответствует западноевропейскому герцогу. В старину Грузия делилась на несколько эриставств.

<sup>5</sup> Спасалар — военачальник в древней Грузии.

<sup>6</sup> Мсахуртухуцеси — главный церемониймейстер.

<sup>7</sup> Лазика (Лазиспан) — страна лазов. Греческие и римские историки называли западную Грузию — Лазикой, а восточную — Иберией. К лазскому племени относятся нынешние мингрелы (в западной Грузии).

— Да будет долговечно царствование твоё по воле творца, и да вонзятся стрелы эти в сердца двоедушных. Будь проклят всякий злобствующий и замышляющий измену против престола твоего.

Георгий не отличался красноречием, но был наблюдателен. Его взгляд, подобно удару меча, сразил Мамамзе. Заметались глаза Мамамзе под лохматыми бровями, как белки. Георгий перевёл взгляд на спасалара.

Склонив голову, стоял Звиад спасалар и, не дрогнув бровью, слушал речь Мамамзе. Пристально глядел он на кирпичный пол, уйдя в свои тайные мысли. Правая рука его крепко сжимала рукоять огромного меча.

Все были безоружны, лишь он один стоял во время приёма, опоясанный харалужным мечом.

Главный ловчий, соколничий и загонщик отвели коней, подаренных эриставами, в царский заповедник. Они саблями обезглавили их, раскидали туши и наглухо заперли все выходы.

До поздней ночи продолжалось пиршество. Светильщики внесли в палаты светильное сало, шёлковые фитили и зажгли огни.

Царь хотел веселиться в эту ночь, но мрачная молчаливость Звиада спасалара смушала его.

Поздно разошлись именитые гости. Впереди католикоса Мелхиседека шли с зажжёнными факелами двое светильщиков, впереди каждого эристава — один светильщик.

Царь, пожелав спокойной ночи гостям, знаком пригласил Звиада остаться и удалил слуг.

Полный покой наступил во дворце. Восковые свечи мигали в нишах. От вина порозовели щёки царя, но озабоченное выражение не сходило с его лица. Царь усадил спасалара перед собой. Некоторое время они оба молчали. Крик совы доносился из дворцового сада. Ночная стража перекликалась во мраке беззвёздной ночи.

Георгий взглянул в упор в чёрные глаза спасалара.

— Не хотел я докладывать царю в день Нового года о постыдных делах наших, — начал Звиад, — но полночь миновала, и теперь я могу говорить. Вчера лазутчики сообщили мне, что кветарский эристав, Талагва Колонкелидзе, вынудил к покорности пховцев<sup>1</sup>, дидойцев, а за ними

---

<sup>1</sup> П х о в и — древняя нагорная провинция Грузии, нынешняя Пшавети и Хевсурети.

последовали дзурдзуки и галгайцы<sup>1</sup>, а также племена, живущие по соседству с втефагами<sup>2</sup>. Объединённые дружины их вторглись в арагвское ущелье и внезапно окружили крепости. Без сопротивления сдались им гарнизонные начальники, — в крепостях оказались сообщники язычников. Чаабер, единственный сын эристава Мамамзе, вступил в битву с Колонкелидзе, но отступил без потерь и с небольшим отрядом заперся в крепости Корсатевела. В этой схватке легко ранены тринадцать пховцев и семь арагвинцев.

Вслед за тем Колонкелидзе совершил набег со своим войском на арагвское ущелье, разгромил церкви, повесил монахов и священников на колокольнях, а на холмах воздвиг капища.

Арагвинцы присоединились к пховцам. Они совершали ночные бдения перед идолами и, по обычаю древних, приносили в жертву юношей и девушек. Трое суток длились пляски вокруг капищ.

Так праздновали победу опоённые пивом мятежники.

Эристав Мамамзе знал об этой измене.

Низко опустил голову царь Георгий. Вспомнил он обманчивый блеск зеленеватых глаз Мамамзе. Не оборотень ли он? Не сатана ли вселился в Мамамзе? И кто же оказался изменником? Неразлучный друг Баграта Куропалата и верный соратник Георгия, перенесший вместе с ним так много лишений в войнах с сарацинским амиром Фадлоном и в ширимниской битве с греками. Не он ли был опорой Георгия, когда от него отступилась страна Эрети-Кахети и измена азнауров<sup>3</sup> заразила эриставов?

Вспомнил Георгий и первую ночь схватки с греками в Ниальской долине. Юный царь мечом рассек тогда греческого domestika<sup>4</sup> и только повернул лошадь, как греческий всадник убил царского латного жеребца и копьём ранил царя в правую голень.

Спрыгнув с коня, Мамамзе подхватил юного Георгия, как ребёнка, и усадил его на свою лошадь. А потом выхватил меч и рассеял врагов. Словно сокол налетел на

---

<sup>1</sup> Дзурдзуки и галгайцы — нехристианские племена Северного Кавказа.

<sup>2</sup> Втефаги — презрительное греческое название одного из кавказских племён.

<sup>3</sup> Азнаур — грузинский дворянин.

<sup>4</sup> Доместик — византийский наместник кесаря, а иногда военачальник.

воробьёв. И тот же Мамамзе бесстыдно лицемерил теперь перед царём в день Нового года и клялся в верности.

Царю давно было известно, что ни Мамамзе, ни сын его Чиабер не были искренними христианами. Для отвода глаз они убрали крепость Корсатевела и придворную церковь иконами и крестами и в то же время в недоступных горах и лесах строили свои капища и молились в них идолам.

Лазутчики сообщили спасалару о том, что кветарский эристав Колонкелидзе, Мамамзе и Чиабер были в заговоре против Георгия. Пока не удалось установить, кто стоял за ними: амир тбилисских сарацин<sup>1</sup> или византийский кесарь Василий<sup>2</sup>, у которого когда-то Георгий отнял земли, лежащие за Басиани.

Георгию доложили также и о том, что единственная дочь Колонкелидзе, прекрасная Шорэна, ещё с колыбели помолвлена с Чиабером.

Разрушая церкви, изменники лишь пробовали свои силы. А весной Мамамзе и Талагва породнятся и, соединившись, осадят Уплисцихе.

Георгий и сам был не твёрд в христианской вере. В ночных беседах с Фарсманом Персом он увлекался учением Платона<sup>3</sup> о переселении душ. Следил за звёздами: кто знает, быть может, на небе мерцали души людей, солнце жизни которых навсегда закатилось, и всё же Георгий считался заступником христианства, и на серебре, которое чеканилось в его монетном дворе, была надпись:

*«Царь царей Георгий — меч Мессии».*

Только сейчас понял Георгий причину посещения Мамамзе. Для разведки прислал Чиабер своего отца. Георгий мог ослепить Мамамзе на второй же день после Нового года и послать войска против Чиабера и Колонкелидзе, пока горы не успели покрыться снегом. Но Чиабер лишь недавно вернулся из Византиона<sup>4</sup>, где за поддержку в войнах против сарацин император наградил его золотым шлемом и званием «архегоса»<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Амир тбилисский. — До присоединения Тбилиси к Грузии Давидом Строителем (1121 г.) городом Тбилиси и его окрестностями с VIII века владели мусульманские амиры из рода Бану-Джафар.

<sup>2</sup> Византийский император Василий II Болгаробойца.

<sup>3</sup> Платон (427—347 до н. эры) — греческий философ; один из основоположников идеалистической философии.

<sup>4</sup> Византион — древнее название Константинополя, столицы Византии.

<sup>5</sup> Архегос — князь, повелитель.

По возвращении из Византиона Чиабер, окрылённый успехом, отравил аланского царя и подчинил себе аланов<sup>1</sup>. Громкая слава о нём шла по Кавкасиони<sup>2</sup>, он считался воином и наездником, равных которому не было.

Спасалар Звиад был вдумчивым советником, да и Георгию не свойственно было принимать скорые решения в важных делах. Они условились на другой день поговорить с Мамамзе. Царь и спасалар решили также послать перелетевших монахов в Пхови и выяснить, на кого опираются заговорщики: на арабского амира или на коварного кесаря.

## II

В ту ночь был страшный ливень. Наступило осеннее похолодание. У Георгия открылась рана, полученная в ширимской битве. Ныла нога. Он не спал всю ночь, но, не желая нарушать обычая предков, на рассвете потребовал себе коня.

Хранитель оружия вынес удила и взнуздal золотистого жеребца. Главный конюх подбежал и замундштучил коня. Тот же хранитель оружия оседлал его.

Царь сел на коня, хранитель оружия подал ему плеть. Вперёд выехали ачуччи<sup>3</sup> и конюший. Георгий стегнул коня и пустил его вскачь. Следом за ним мчались трое эриста-вов, главный загонщик, охотничий и сокольник.

Затрубили рога в заповедниках царя. Псаря и загонщики били в дап-дапи. Гиканьем и криками наполнился лес. В глухую чащу завлѣк зверь гончих; издали слышался непрерывный лай, треск и людские голоса.

Георгий и его свита хотели переменить место засады, но за ущельем были кручи и утѣсы, а в лощинах — болота и топи. Непроходимая пуша преграждала путь всадникам.

От верховой езды у царя разболелась раненая нога. Следовало спешиться, но он не решался. Мамамзе посоветовал ему ждать у правого ущелья, что за уступом скалы. Гончие обязательно погонят поднятую дичь из этого ущелья. К западу от ущелья — скалы и обрывы, и зверь не пойдѣт туда, так как он всегда спасается от гончих в ту сторону, где меньше препятствий.

Всем понравился совет Мамамзе. Охотники обогнули топи, проехали дубовое мелколесье. Они приблизились к

<sup>1</sup> Аланы — древнее название осетин.

<sup>2</sup> Кавкасиони — Кавказский хребет.

<sup>3</sup> Ачуччи — вестник в свите царя.

воротам ущелья и услышали лай гончих. Загонщики подняли бешеный рёв и гиканье. Не успели всадники проехать дубняк, как затрещали ветви и послышался топот. Из опушки выбежал волк, за ним по ущелью пронёсся другой. В зарослях сверкнули огненные глаза. Георгий натянул лук и первой же стрелой пронзил грудь хищника. Что-то залаяло по-собачьи, застонало, грохнулось за кустами бoryшника.

Мамамзе соскочил с коня и скрылся в лесной гуще. Он долго искал в зарослях и вдруг вынырнул перед самым конём Георгия с громадным волком, взваленным на плечи. Он был похож на лешего в своём меховом наряде, облепленном репейником.

Блеснув своими прекрасными белоснежными зубами, Мамамзе воскликнул: «Тысячами бить тебе зверя, царь царей!» — и бросил волка к ногам коня Георгия.

Раскаты охотничьего рога огласили лес. Совсем близко затрубил главный ловчий. Затрещала дубовая чаща. Олень пронёсся сквозь неё, ломая ветви, за ним промелькнули гончие. Они неслись по пятам зверя. Олень почуял чело-века и свернул в ущелье, к месту, где находился царь и его свита.

Вельможи не захотели преследовать зверя, так как ехать верхом дальше было невозможно. Георгий попробовал сойти с коня, но Мамамзе схватил его лошадь за узду:

— Не надо! Заклинаю тебя памятью Баграта Куропалата!

Царь спокойно сидел в седле из ланьей шкуры и глядел Мамамзе в глаза цвета незрелого винограда. В просьбе эристава было столько отцовской заботливости, что Георгий был поражен. Вспомнил он прежнего Мамамзе, соратника в битвах при Ширимни, Олтыси и Ниали, верного подданного Баграта Куропалата и друга его юности. Сомнение закралось в сердце царя: может, ошибаются лазутчики, и Мамамзе не виновен в мятеже, поднятом Колонкелидзе и Чиабером.

Георгий не сошёл с коня. Он решил поговорить с Мамамзе наедине, расспросить его о причинах отступничества Чиабера. Он мог бы тогда по выражению его лица, по оттенку голоса понять роль Мамамзе в этом деле. Быть может, Мамамзе приехал на Новый год к царю рассказать правду о своём сыне?

Царь отпустил эристава, приказал главному ловчему

преследовать оленя дальше вдоль болот, искать его следы в дубовом лесу.

— Я и Мамамзе останемся у входа в ущелье.

Оба всадника повернули лошадей.

Царь ехал шагом на своём жеребце, старательно обдумывая начало беседы. В голове кружились слова, то сладкие, как сотовый мёд, то горькие, как жало змеи. Испытуя поглядывая на всадника, едущего рядом, царь вновь вспоминал битвы в долине Ниали и окрестностях Басиани. Вспомнил он и то, как попали они — царь и Мамамзе — в засаду в замке Фанаскерти. Слова замирали на устах Георгия.

«Ведь Мамамзе мой гость, — думал он, — Баграт Куропалат скончался у него на руках. Разве не он с Звиадом сопровождали прах Баграта в Бедиа<sup>1</sup> для погребения? И эти же руки точат меч против меня? Те самые руки, которые обряжали тело Баграта в замке Фанаскерти?»

Как раз в это время вновь раздался звук большого рога и слышались крики приближающихся загонщиков. Лошадь Георгия шарахнулась в испуге. Ушедший в свои мысли, он едва успел натянуть поводья и вздыбил коня у самого края глубокого оврага. Оба всадника остановили коней у входа в ущелье и насторожились. Какой-то зверь медленно пробирался сквозь лесную чащу, под его лапами трещали сухие ветки.

Георгий пришпорил коня, отъехал в глубь ущелья, натянул лук и пустил стрелу.

Стрела попала в грудь бурого медведя, раздался яростный рёв, но раненый медведь увернулся от схватки со всадником. Он подбежал к краю утёса, остановился над пропастью, снова заревел и бросился вниз.

Георгий вмиг соскочил с коня, подбежал к краю оврага и опять натянул лук, но промахнулся. Медведь исчез в кустарнике. Царь с досадой глядел в пропасть: раненая нога мешала преследовать зверя.

Так же, как и в битве при Ширимни, вмиг соскочил с коня эристав Мамамзе. Он подогнул полы шубы, сел на них и с юношеской ловкостью соскользнул в овраг.

Георгий стоял на краю утёса и глядел вслед Мамамзе. Спина в меховой одежде скрылась в зарослях. Тишина воцарилась в лесу. Георгий затрубил в рог, сзывая загонщиков и псарей.

<sup>1</sup> Бедиа — древнейший монастырь в Мегрелии.

Сокольниковые, загонщики и псары издалика обогнули скалы и спустились в овраг. Наконец гончие напали на кровавый след медведя в тростниковых зарослях. Но зверь бесследно исчез. Тщетно продолжали они поиски по всем теснинам, оврагам, зарослям и кустарникам: точно земля проглотила и медведя и Мамамзе.

— Сбежал самый крупный зверь, — шепнул Георгий спасалару.

— Я не смел противиться тебе, — сказал Звиад, — но не следовало выпускать Мамамзе из замка. Замыслы его мне были ясны ещё вчера. Он хотел выведать о нашей боевой силе. Хорошо знал он, что при царском дворе не тронут гостя. Знал также, что на второй день Нового года будет приглашён на охоту и тогда нетрудно будет скрыться.

Георгий насторожился при этих словах Звиада, но промолчал, горько упрекая себя за свою неопытность и доверчивость.

Солнце склонялось к западу. Георгий успел убить трёх оленей, семь волков, пять шакалов и трёх ланей, но улыбка не озаряла лица удачливого охотника.

Оставалось последнее средство: спустить на поиски Мамамзе гончую царя Куршай. Куршай была ценная, но, заслышав лай псов во время сборов на охоту, она так жалобно заскулила, что Георгий приказал взять её с собой и в лесу водить на привязи.

Главный охотничий подвёл Куршай к ясеню, где терялся след медведя. Куршай свернула влево, долго обнюхивала место, два-три раза обошла вокруг ясеня и лишь потом взяла направление. Главный доезжачий отправил вслед за Куршай трёх псарей и семерых стрелков.

Охотники вышли за пределы заповедника, ограду которого прорвал раненый зверь, пересекли тростниковую поляну и вошли в дубняк. Вдруг Куршай остановилась. Под дубом валялся убитый медведь. Рядом со зверем в зарослях папоротника лежал ничком раненый Мамамзе.

В правой руке старик сжимал кинжал, его седая борода была забрызгана кровью. Капли крови темнели на утопанной траве и помятом папоротнике.

Георгий был подавлен.

— Лучше бы бежал Мамамзе, — признался он спасалару. — Трудно будет убедить Чнабера, что всё это лишь случай во время охоты.

Долго тёрли виски Мамамзе. Он пришёл в себя. Затем

двенадцать охотников с трудом донесли до дворца огромное тело старика.

Георгий приказал призвать Фарсмана Перса. Но этим не удовлетворился царь: из Фанаскертского замка был вызван лекарь Труманидзе.

— Где я? — спросил Мамамзе, придя в сознание.

Глубокий вздох вырвался из его груди, когда он узнал, что находится во дворце. Он провёл рукой по глазам и сказал:

— Шкуру того медведя хотел преподнести царю и потому не пощадил себя.

Раненый зверь заманил его в чашу. Когда в борьбе с ним он выпустил последнюю стрелу и попал медведю в живот, громадный зверь ринулся на него. Мамамзе отбросил лук и вступил с медведем в единоборство.

### III

Шесть месяцев около Мамамзе находился лекарь Труманидзе. Каждую субботу царь или католикос навещали эристава, осведомлялись об его здоровье. Монах-постельничий бодрствовал по ночам у его постели, царский духовник сидел у изголовья, читая ему псалтырь.

Мамамзе усердно слушал проповедь старца, охотно заучивал стихи псалмов, издаваясь в душе над их наивностью.

Вечером в страстную субботу царь и Звиад пришли к больному.

На этот раз посетители задержались. О прошлых войнах, о старинной охоте повёл беседу Георгий.

— Хорошо бы сейчас поохотиться на журавлей в долинах Арагвы! — сказал он.

В тот вечер царь был сердечней обычного. Но тревога всё же не покидала Мамамзе. Каждую минуту он ждал, что вот-вот царь прервёт беседу об охоте и заговорит о мятеже Колонкелидзе.

А дальше?

Дальше царь неожиданно глянет на него своими большими карими глазами и спросит: «Ну и как же поступил ты, соратник моего отца и мой верный раб?»

Что же ответит на это Мамамзе?

Он приготовился заранее. Он будет упорно отрицать. Находился, мол, в то время в пути и ни о чём не ведаю. Бросят ли его в темницу, привяжут ли к столбу, выжгут

ли глаза, — при всех испытаниях он полагался на твердость своей воли.

Царь нарушил молчание, в упор взглянул на него и сказал:

— А ведь какая ловкая собака — Куршай!

Мамамзе вздохнул свободно и просиял. Он оживлённо подтвердил слова царя.

Георгий опустил голову, уставился в кирпичный пол, словно что-то выронил и теперь ищет.

— Да, собака очень преданное животное...

Клинком вонзилось в сердце Мамамзе слово «преданное». Было ясно: от разговоров о преданности собаки легко перейти к предательству Мамамзе и Чиабера.

Мамамзе приподнялся, хотел что-то сказать, но Георгий перебил его:

— А вот мы, люди, несчастные создания, для спасения собственной жизни часто предаём верного нам человека, — растягивая слова, сказал он.

Потом замолк и снова уставился в пол.

Не оставалось сомнения, что он сейчас назовёт Мамамзе, Чиабера и Колонкелидзе, но вместо этого поражённый эристав услышал следующие слова:

— Помнишь, как греки заперли нас в Фанаскертской крепости, лишили воды и как на третьем месяце осады к нам стал подбираться голод. Мы зарезали тогда мою любимую гончую Кудай и съели её?

Облегчённо вздохнул обрадованный Мамамзе.

— О да, великолепная была собака Кудай, как же не помнить, она была даже лучше Куршай.

Царь неожиданно встал.

— Спокойной ночи, — небрежно сказал он и собрался уходить.

Мамамзе приподнялся на постели. Он попросил у царя разрешения уехать домой.

От взгляда Георгия не укрылось, что нижняя челюсть Мамамзе при этом чуть-чуть выдвинулась и задрожала.

— Не лихорадит ли тебя? — спросил он.

— Недомогаю всё ещё, но если будет на то воля царя, возможно, что верховая езда мне поможет.

— Ты ведь мой гость, не мог же я сам заговорить о твоём отъезде, — произнёс Георгий и обратился к спасалару: — Пусть конюший к утру оседлает коней, и пусть ещё арба сопровождает гостя. Раны могут открыться в пути, ехать верхом будет трудно.

Оставшись один, Мамамзе встал, прошёлся по покоям, разминая больные суставы, затем вышел на террасу башни и обвёл глазами спящий город.

Зубчатые чёрные стены крепости окаймляли бледносерый небосвод. В церквах ударили в било<sup>1</sup>, созывая к вечерне. Из дворцового храма доносилось хоровое пение. В ограде монастыря кишело чёрное воинство монахов. На башне Арагвских ворот<sup>2</sup> перекликались дозорные. Медленно спускалась ночь на изогнутую спину Саркинет<sup>3</sup>. Яблоневый и алычовый цвет лёгким снежным покрывалом раскинулся над садом католикоса. В кустах стонали соловьи.

Прислонившись к перилам террасы, стоял эристав Мамамзе. Радость завтрашнего отъезда прилиwała к сердцу.

Он взглянул на восток, — месяц поднялся над Крестовым монастырём. Вдруг на мосту Звездочётов заметил он огненное сияние. Через мост шли ратники, закованные в латы. Он вспомнил, что и третьего дня дружина ратников прошла в сторону Херкской крепости. Он взором следил за сиянием шлемов. Ратники скрылись за горой и вновь появились на подъёме.

Беззвучно проехали всадники. Только топот копыт, фырканье и ржанье коней нарушали тишину.

Вспомнил, да и не только вспомнил, а, вспомнив, затосковал Мамамзе по битвам и верховой езде. Всадники пересекли площадь Самтавро, и гарнизонная стража открыла им северные ворота.

Наступила полная тишина. Почернели островерхие купола церквей, на небе зажглись звёзды. Беспокойство овладело Мамамзе в обступившей его тишине. Лишь крик совы доносился из дворцового сада.

Шесть месяцев Мамамзе находился в Мцхета.

Ни царь, ни католикос, ни спасалар за это время ни словом не обмолвились о мятеже пховцев и арагвинцев. Гнев и угроза бушевали за этой внешней предупредительностью.

Прошлый месяц царь со свитой провёл в Уплисцихе<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> В те времена за неимением колоколов ударяли молотком по сосновой доске, которая называлась «било».

<sup>2</sup> Арагвские ворота — одна из крепостей древнего Мцхета.

<sup>3</sup> Саркинет — гора.

<sup>4</sup> Уплисцихе — средневековый город-крепость около Гори, который, по преданию, основан одним из родоначальников Грузии — Уплосом.

По ночам войска передвигались между Херки и Уплисцихе. Все ночи слышал Мамамзе топот копыт.

Во дворце царила необычная суматоха. Быть может, царь готовился к войне с кесарем или с тбилисским амиром?

Да... но что стало с Чиабером, и какая судьба постигла Колонкелидзе?

А что если им обоим выжгли глаза, а замки и крепости Корсатевела и Кветари сравняли с землёй?

Что станется тогда с Мамамзе?

Ему, повидимому, дадут оправиться от болезни... Постельничий монах подозрительно молчит. Возможно, что он соглядатай!

Нет, ясно, что дожидаются лишь выздоровления гостя, и, кто ведает, не последняя ли это ночь в жизни эристава Мамамзе?

«О ночь, как и душа моя, тёмная, поведай мне тайные помыслы твои!»

Куда направлялись те всадники, что проехали недавно через мост Звездочётов? Быть может, Чиабер и Талагва уже находятся в Мцхета, брошены в темницу, и в одну из ночей они все трое будут обезглавлены?

Разве не так поступил царь с цота-эриставами<sup>1</sup> из Цхратба? Сначала позвал отца в гости, заставил преклонить голову, потом по приказу отца доставили сына из крепости Цхвило. Три месяца держал он их обоих в Санатлойской темнице. На страстной неделе подослал к ним царского духовника, велел причастить их и затем, обезглавив отца и сына, бросил трупы в Арагву. Так покарал он эриставов за измену.

О, этот царский духовник, этот чернорясый ворон! Всегда ненавидел его Мамамзе. Воистину, он соглядатай и сквернослов!..

К нему, почётному узнику, прислал его царь Георгий. Его карканье — верный предвестник смерти. Первые месяцы, когда Мамамзе боролся со смертью, духовник каждое утро совался к нему в спальню, вглядываясь своими сощуренными глазами в Мамамзе, словно спрашивая, — разве всё ещё не вырвали у тебя душу?

Приговорённому к позорному столбу узнику поднесёт он причастие, расскажет ему о том, как Христос на свадьбе в Кане Галилейской обратил воду в вино.

---

<sup>1</sup> Цота-эриставы — младшие эриставы.

Встрепенулся погружённый в свои мысли Мамамзе. Два всадника неслись из крепости Мухнари. Огненные мечи держали они в руках. Проскакали через площадь Самтавро, миновали дворец и исчезли в направлении к мосту Звездочётов.

Что это — привидение или откровение неведомого?

«О ночь, как и душа моя, тёмная, поведай мне тайные помыслы твой!»

До слуха Мамамзе донёлся топот копыт.

Но почему дозорные неподвижно стоят на башнях? Может быть, зрение и слух изменили Мамамзе?

Нет, это не привидения, эти всадники с огненными мечами в руках! Мамамзе участвовал в битвах столько раз, сколько ему было лет, но страх перед смертью был неведом ему до сегодняшнего дня.

А сегодня вдруг смутился многоопытный эристав Мамамзе. Колени подкосились, и, беспомощно согнувшись, он ухватился за каменные перила.

Потом он набрался мужества, выпрямился и снова обвёл площадь глазами. Ещё трое всадников мчатся через площадь, за ними ещё трое, а за этими — целая дружина. Летят они со страшной быстротой, сверкая огненными мечами.

Молчали всадники, только топот коней стоял в воздухе. Всадники поровнялись с дворцом, огненный отблеск от мечей освещал их, и перед глазами Мамамзе промелькнули их суровые лица, сверкающие шлемы и кольчуги.

Что если те первые два всадника и есть Чиабера и его молочный брат Тохаисдзе? Возможно, что, победив войско, вечером выступившее из Мцхета, они проникли в город?

Если это верно, то почему бездействует стража? А разве не могли они заранее подкупить стражу?..

Но эти мечи, огненные мечи?.. Возможно, что Чиабера привёз из Византии тайнуковки этих мечей?

Да, но почему же, почему он тогда не открыл эту тайну отцу? Возможно, он хотел сначала сам испытать их?

Вспомнил Мамамзе рассказ Чиабера: византийский кесарь захватил в плен одного багдадского турка; тот был мастером по ковке мечей, рассекающих кость и железо. Бросили его в темницу, пытали, но и тогда узник не выдал своей тайны.

...Да, но как же сдались Чиабера без боя крепости Мухнари и Гартискари?

Если Чиабер и Тохаисдзе и вправду ворвались в город, то не так легко удастся им овладеть мцхетским дворцом; и лишь только начнётся осада крепости, Мамамзе будет обезглавлен.

«О ночь, как и душа моя, тёмная, поведай мне тайные помыслы твои!»

Быстро вернулся Мамамзе в свои покои. Монах-постельничий, выронив псалтырь, мирно спал, положив голову на руки.

Мамамзе надел латы и шлем, опоясался мечом и по потайной лестнице спустился в сад.

Две тени прошмыгнули мимо и молча скользнули в темноту.

Он прошёл Самтавройекую площадь, не встретив ни души.

Трое копыеносцов нагнали его. Всадники казались уставшими. Шлемы их сверкали в лунном свете, медленно шагали кони.

Они проехали.

Мамамзе обернулся; за ним шёл караван верблюдов. Он свернул в сторону. У дороги заметил часовню и подошёл к ней.

У порога часовни лежали странники. Он приблизился к ним, но не мог понять: не то нищие, не то паломники. Сладко спали странники. Лишь один старец сидел одиноко на камне и бормотал псалмы. Перед кивотом мигали восковые свечи. Мамамзе заметил странное перекошенное лицо спасителя. Ему стало неприятно.

— Добрый вечер! — приветствовал он старика.

Старец поблагодарил и ответил тоже приветствием. Взглядом указал на место рядом с собой и потеснился на камне.

— Почтенный старец, — обратился к нему Мамамзе, — не хочешь ли ты поменяться со мной одеждой?

Старик встал, подвёл незнакомца к кивоту, перед которым горели свечи, и оглядел его с ног до головы. Он понял, что перед ним вельможа, и с удивлением спросил:

— Какую же беду ниспослал на тебя господь, бедный брат мой во Христе, если ты возмечтал о лохмотьях странника?

— Я был язычником, брат, в Мцхета меня крестили, я переменял веру, — начал Мамамзе, — и отныне хочу следовать примеру спасителя. Хочу избавиться от благ и великолепия земной жизни и ходить по миру, как странник,

бездомный и бесприютный. Разве не так скитался в мире господь наш, спаситель наших душ.

Старик глянул в лицо неизвестного и на благородную его осанку. Слова показались убедительными.

Сняв свою изорванную одежду, он протянул её Мамамзе, потом присел на камень, разулся и отдал ему лапти.

Мамамзе снял с головы шлем, бросил его на землю, расстегнул латы и дорогое платье из аксамита и передал старцу. Присел и снял сафьяновые сапоги с загнутыми кверху, как у греческих галер, носками и положил перед странником.

— Откуда вы и куда держите путь? — спросил Мамамзе старца.

— Мы плотники и каменотёсы, идём из Квелисцихе. Католикос Мелхиседек посылает нас для восстановления придворной церкви в замке Корсатевела, которую, говорят, разрушили язычники.

У Мамамзе сжалось сердце при упоминании замка Корсатевела. Он хотел расспросить, что слышно ещё о замке, но сдержал себя.

Он переоделся и собрался идти дальше. Старик хотел расспросить его, кто он, откуда, но не успел и слова вымолвить, как неизвестный, пожелав ему доброго вечера, скрылся в темноте.

На тёмной улице Мтаварта Санатло<sup>1</sup> Мамамзе нагнал караван, который шёл из Джавахети и вёз провиант для гарнизона Херкской крепости.

— Можно бедному страннику присоединиться к вам? — скромно спросил Мамамзе караванного вожака. — Страшно ночью одному.

— Откуда ты?

— Паломник из Тао, иду пешком из Артануджской крепости в Гудамакари собирать даяние для церкви.

Беседуя таким образом, они миновали Мтаварта Санатло. В пригороде было тихо. Мамамзе время от времени оглядывался назад. Его никто не преследовал. Значит, во дворце не заметили его отсутствия. Он успокоился. Ещё немного — они пройдут крепость Мухнари, и тогда он спасён... Тёмная ночь, как крепость, защитит его.

«О ночь, как и душа моя, тёмная, поведай мне тайные помыслы твои».

---

<sup>1</sup> Мтаварта Санатло — дословно: место для крещения царевичей; квартал в древней Мцхета.

Ворота крепости Мухнари были заперты.

Караванный вожак пояснил, почему запирают крепость: эристав Чиабери и Талагва Колонкелидзе подняли мятеж аланов и дзурдзуков, царь опасается их нашествия с севера.

Караван приблизился к воротам. Дозорные выступили из темноты.

Караванный вожак приветствовал начальника крепости и попросил пропустить караван.

— На рассвете мы вышли из Уплисхихе, но дорогой пал верблюд, и пока перегружали выюки, нас застигла ночь, — извинялся вожак.

— Сколько всех погонщиков? — спросил начальник крепости.

— Нас всего двенадцать, но в пути к нам пристал странник, сборщик церковного даяния.

Во время переговоров караванного вожака с начальником крепости Мамамзе заметил, что две тени присбединились к каравану.

И когда, по приказу начальника, открыли ворота крепости Мухнари, один из неизвестных подошёл к Мамамзе, положил ему на плечо руку и громко произнёс.

— Этот странник — царский гость, мы не можем доверить его вам.

Во дворце Звиада спасалара поднялась суматоха. Обнаружили бегство Мамамзе. Светильщики выбежали и зажгли факелы. Спасалар не спал ещё, он замешкался в спальнях покоях.

Мамамзе стоял бледный, с закрученными назад руками, когда в комнату вошёл спасалар.

Звиад сел на стул. Его заросшее волосами лицо было нахмурено. Он смерил взглядом стоявшего перед ним в нищенских лохмотьях Мамамзе.

— Кто ты? — спросил он небрежно, словно не узнавая его.

— Я эристав Мамамзе, — ответил узник, низко опустив голову.

Тогда Звиад спасалар встал и придвинул ему кресло. Затем знаком приказал стоявшим за ним копьеносцам развязать руки Мамамзе.

Узник пробормотал что-то, выражая благодарность, и спасалар заметил: нижняя челюсть у эристава выступила вперёд и задрожала.

— Тебя, кажется, опять лихорадит, эристав эриставов<sup>1</sup>.

— Нет, теперь у меня жар, спасалар-батано<sup>2</sup>.

Горькая улыбка исказила полные губы Мамамзе.

— А всё же, почему ты так поторопился? Ведь царь повелел завтра с утра снарядить тебя в твои владения.

Эристав молчал. Затем, вскинув голову и взглянув на сросшиеся грозные брови Звиада, произнёс:

— Я и сам не знаю, почему всё это произошло со мною спасалар-батано. Быть может, большое воображение или странное видение смутило меня. После вашего ухода я вышел на террасу крепости. Смотрел на город. Какие-то всадники проскакали мимо меня. Сначала их было только двое, затем дважды по три, и за ними пронеслась целая дружина. В руках они держали пламенеющие мечи, отбрасывающие огненные искры. Много раз сопровождал я Баграта Куропалата в его битвах с сарацинами, плечом к плечу с царём Георгием бился с греками, но ничего подобного никогда не видел.

— А-а-а, ты, вероятно, имеешь в виду всадников с мечами? Тайна этих мечей известна лишь мне, да царю, да ещё мастерам нашим, но двоедушным тайна эта недоступна. Шествие это я устроил для того, чтобы испытать, другом или недругом явился ты к нам. Теперь нам всё ясно. Завтра же, по повелению царя, отправишься ты в своё эриставство. Убедишь Чиабера и Колонкелидзе вновь присягнуть на верность царю. Или мы сами придём туда, доберёмся и до крепости Корсатевела, и тогда вы узнаете, кто были те всадники и что за мечи были у них в руках,— закончил спасалар и пожелал гостю спокойной ночи.

Всю ночь работали санатлойские кузнецы; снимали пылающие мечи с наковален, передавали их в руки ожидающим тут же всадникам, и те с бешеной быстротой мчались на своих конях в лунную ночь, сверкая в воздухе индусской сталью, всё ещё дышавшей пламенем горна<sup>3</sup>.

До рассвета не отходил от окна башни Мамамзе в эту бессонную ночь. Когда небо заиграло сизо-голубыми красками и погасли последние лучи Марса, лишь тогда он немного вздремнул.

<sup>1</sup> Эристав эриставов — сильнейший из эриставов; так обращались к крупным эристам.

<sup>2</sup> Батано — сударь, господин.

<sup>3</sup> Особый способ для закалки мечей в старой Грузии (см. Генерал Потто, «История кавказских войн»).

Рано разбудил его амирчкар<sup>1</sup> и доложил, что лошади готовы. Два копыеносца проводили его через двор и усадили на коня. Главный конюший подал плеть.

Мамамзе просил передать благодарность царю и Звиаду спасалару.

Он просил также передать католикосу его просьбу посетить замок Корсатевела на пасху и прислать священников и иконы для эриставства.

Всадники проехали крепость Мухнари, и амирчкар<sup>1</sup> повернул коня к северу. Лишь тогда поверил Мамамзе, что его отправляют не на тот свет, а в собственное эриставство.

Весна подступила к горам. По берегам Арагвы зацвела алыча. Жаворонки возносили в небо радость обновлённой земли.

#### IV

Апрель был на исходе.

Георгий послал к католикосу Мелхиседеку начальника слуг и просил его пожаловать к нему в субботу после вечера. Католикос удивился, увидев посланца в приёмной. Раньше царь лично приходил к нему.

Католикос был недоволен царём, но никому не мог в этом признаться. Царь Георгий не был так предан делам веры и нравственности, как отец его, Баграт Куропалат. Слабость человеческая, присущая всем: восхвалять покойника, чтобы бросать тень на живых.

Усердно превозносил Мелхиседек Баграта Куропалата. Набожный был Баграт, и господь ниспослал ему милость свою: с его помощью завоевал Баграт Кавказ от Джикети до Каспийского моря.

Геorgia он порицал втайне ещё и за то, что по его повелению отсекали головы цота-эристам из Цхратба. Мелхиседек верил, как и весь грузинский народ, что каждый гость — от бога. Православный царь должен почитать гостя. Баграт Куропалат так бы не поступил.

Разумеется, Мелхиседек не мог даже и представить себе, что будущий летописец бесстрастно запишет:

«Баграт Куропалат пригласил к себе в гости кларджетских царевичей Сумбата и Гургена, сыновей Баграта Артануджского, сыновей сестры отца своего, в замок свой Фанаскерт<sup>1</sup> и вместо гостеприимства полонил их и стёр с лица земли владения их и укрепления, а самих заклю-

<sup>1</sup> Амирчкар<sup>1</sup> — начальник скороходов и вестовых.

чил в крепость Тмогви<sup>1</sup>. В этой крепости гости и простились с жизнью».

У католикоса Мелхиседека была хорошая память, но покойникам прощается то, что современники никогда не прощают живым.

Шесть месяцев не прекращалась тайная борьба между царём и престарелым католикосом.

Когда царь повелел ковать мечи и готовиться к войне, Мелхиседек простаивал ночи на молитве.

Звиад спасалар настойчиво требовал ослепить Мамамзе. Но этого ему было мало. Он хотел сам вести рать на мятежников, чтобы поднять на кол головы Чиабера, Тохаисдзе и Колонкелидзе и сравнять с землёй замки Корсатевела и Кветари.

Католикос же уверял Георгия: «Господь наш не велит поднимать меч, евангелием и святым крестом следует указывать отступникам путь истинный, ибо крест святой древа животворящего даёт живот вечный и сила его рассеет тьму в их сердцах».

Георгий не очень полагался на крест древа животворящего, но к советам католикоса он склонялся, ибо война с Чиабером могла осложнить отношения с Византией. И, кроме того, большие заслуги Мамамзе перед царским престолом, его самоотверженная схватка с медведем и, наконец, весь облик могучего эристава — всё это заставило царя отпустить Мамамзе невредимым в горы.

Звиад спасалар хоть и был верующим, но врагов, сражённых силою креста, не видел ни разу и поэтому настойчиво советовал царю: не будет мира в эриставствах до тех пор, пока живы Мамамзе, Чиабер и Колонкелидзе. А Тохаисдзе, правителю замка, достаточно будет только подсесть поджилки.

Католикос в ту субботу нарочно затянул вечерню, чтобы иметь отговорку перед царём: скопилось, мол, много поминок и затянулась вечерня, а в позднюю пору не хотел тебя обеспокоить.

## V

Служба в церкви утомила католикоса. Он страдал болезнью сердца. У него опухали ноги. В конце службы ему сделалось дурно, и, не поддержки его во время мцхетский архиепископ, он упал бы.

<sup>1</sup> Тмогви — крепость в южной Грузии.

После вечерни католикос в сопровождении друзей юности—монаха Гаюоза и настоятеля мужского монастыря Стефаноза — направился к монастырю.

Мелхиседек был убеждён, что доверие паствы можно заслужить, если питаться и одеваться, как паства, но что показывать себя народу следует как можно реже, чтобы не примелькаться.

Вот почему он избегал выходов на храмовых праздниках, не появлялся во дворце во время больших приёмов, когда присутствовали послы или государи иностранных держав или когда приезжали эриставы. Он никогда не посещал свадеб и пиров, устраиваемых владетельными азнаурами. Большинство из них он считал еретиками и свято-татцами.

Выходя из церкви, он надевал на себя простую монашескую рясу из грубой шерсти.

Ежедневную пищу он принимал в трапезной монаха Стефаноза, на виду у других монахов и послушников, и ел преимущественно овощи и только постные яства.

В тот вечер он сидел за столом между монахом Гаюозом и настоятелем Стефанозом и ел деревянной ложкой чечевичную похлёбку.

После дневного воздержания похлёбка показалась ему вкусной; он попросил ещё одну чашку. Католикос поднёс ложку ко рту, как вдруг совсем близко раздался чей-то голос:

— Здесь ли изволит быть католикос?

Католикос шепнул Гаюозу:

— Не говори, что я здесь.

Но не успел старец Гаюоз встать, как чернорясник, растолкав толпу монахов и послушников, очутился за спиной католикоса. Низко сгибаясь, подошёл царский духовник к Мелхиседеку и приник к его правой руке своими влажными, жирными губами. Затем, трепеща от подбострастия, отступил и доложил:

— Царь просит ваше святейшество пожаловать к нему в гости.

Вторично приглашает его царь. Не судьба ли Фарсмана Перса тревожит его? Не нравится Мелхиседеку этот сомнительный отступник при дворце, тем более, что никто не знает точно, кто он: перс, сарацин или грек. Фарсман Перс? Повидимому, это лишь прозвище. Никто не ведаёт, кто он и откуда. Он так хорошо знает языки и законы всех народов: грузин, арабов, турок, иранцев, греков.

Ещё Баграту Куропалату высказывал католикос своё недовольство этим «язычником», но затем царь крестил сорокапятилетнего Фарсмана.

Фарсман не обременял себя постами и молитвами, он не часто ходил в церковь.

Царский духовник не раз доносил католикосу, что Фарсман тайком посмеивается над религией Христа, вышучивает догмат о непорочном зачатии и часто, накурившись опиума, острит, что у богородицы было столько же детей, сколько ангелов может поместиться на острие иголки. Кошунственной была эта шутка. Ежели ему говорили, что на острие иголки уместятся десять тысяч ангелов, он отвечал: «Вы, видимо, не знаете, что ангел ростом с человека». Ежели кто отвечал, что ангел не может уместиться на острие иголки, он пояснял: «Вы, значит, не знаете, что ангелы бестелесны». И начинал так длинно рассказывать о бестелесности ангелов, что погружал собеседника в сон.

Как всякий авантюрист, он знал много ремёсел. В последнее время он занялся изготовлением солнечных часов, таскался по эриставствам, сооружал часы, составлял месяцеслов.

Иногда, как шута, его зазывали на пиршества. Он смешил старых азнауров, вышучивал все религии (чтобы скрыть свою), высмеивал людей всех национальностей (чтобы не выдать своей).

Долго подыскивал католикос всяческие поводы для того, чтобы потребовать у царя его изгнания.

И сейчас Мелхиседек торжествовал: царский духовник, опытный сплетник и ябедник, подсказал ему этот повод.

Оказывается, Фарсман Перс повадился в женский монастырь. Он подарками завлекал малолетних девиц в одну из тёмных улиц Санатлойского квартала, где жил сам за упразднённой базиликой<sup>1</sup>, и там их бесчестил.

Последней его жертвой была тринадцатилетняя девушка из рода Фанаскертели. Она оказалась родственницей царского духовника.

До сих пор Фарсман безнаказанно растлевал малолетних рабынь, вывезенных из Абхазии, Кларджетии, Пхови, но Фанаскертели была знатная дворянка, и на этот раз, без сомнения, найден был тот брод, в котором святотатец Фарсман должен был — по грузинской пословице — утонуть.

<sup>1</sup> Б а з и л и к а — христианская церковь, выстроенная в стиле древнегреческих храмов.

Следствие было закончено, но Фарсман достраивал храм в Схалтба, и потому католикос молчал.

Он избегал встречи с царём, боясь, как бы Георгий не заступился за Фарсмана.

Но Мелхиседек не мог уклониться от повторного приглашения царя, полученного через царского духовника. Он был несколько даже обижен этим приглашением, но решил сразу же отклонить заступничество царя и настойчиво требовать наказания поганого язычника.

## VI

Мелхиседек вступил в совещательную палату. Вокруг стола сидели царь Георгий, Звиад спасалар и Фарсман Перс.

Дойдя до середины зала, католикос почувствовал какой-то странный запах.

Он неприятно поморщился. «Должно быть, это исходит от язычника», — подумал он, приветствуя сидящих.

Все трое встали. Спасалар придвинул кресло. Царь попросил сесть, и все заняли свои места. Один Фарсман Перс остался стоять в ожидании, когда католикос предложит ему сесть.

Мелхиседек взглянул на стол. На нём лежала литая икона и крест древа животворящего.

Георгий расспросил католикоса о здоровье и выслушал от него благодарность.

— Ты изъявил желание, твое святейшество, — обратился к нему царь, — посетить после христового воскресенья владения Мамамзе. Эту икону (он взглядом указал на литую икону) поднесёшь от меня Мамамзе, а крест древа животворящего — Чиаберу.

Мелхиседек заметил, что крест вынут из ларца.

— Прикажи обоим от моего имени приложиться к моим дарам. Пусть порвут все связи с Колонкелидзе. Мы позаботимся о нём сами (сказав это, он переглянулся с спасаларом). Прикажи им вернуться к христовой вере. Пусть Мамамзе выдаст свою дочь Катай замуж за азнаура Таричисдзе из Тао<sup>1</sup>, а не за Тохайсдзе—этого хитрого начальника крепости. Чиабер же не смеет жениться на дочери Колонкелидзе Шорэне (при этом царь стукнул кулаком

---

<sup>1</sup> Тао — южная провинция древней Грузии, в настоящее время находится в пределах Турции.

по столу), а не то через месяц осаду крепость Корсатевела, и тогда не сносить головы ни Чиабери, ни Мамамзе.

Царь Георгий произнёс всё это твёрдо и взглядом дал понять католику, что если распоряжение не будет исполнено в точности, то отступников не спасут его молитвы и благословения.

Вспомнил католикос нащёптывания царского духовника: «Даже после отъезда Мамамзе собираются послать войско против крепости Корсатевела». Но, выслушав царя, обрадовался. «Значит, внял словам моим Георгий», — подумал Мелхиседек.

Болезнь одолевала его, но он решил поехать в эриставство, чтобы предотвратить кровопролитие.

Мелхиседек поднял голову. По его довольному лицу Георгий понял, что католикос с ним согласен. С нахмуренным лицом сидел Звиад спасалар. Фарсман Перс всё ещё продолжал стоять. Он устал. Горько перекошилось его сморщенное безбородое лицо.

## VII

На другой же день Мелхиседек отбыл с большой свитой в замок Корсатевела. Его сопровождали четыре епископа: Мровели, Мацкверели, Анчели и Мтбевари. Свыше двухсот священников и монахов ехали с ним; в числе их было двенадцать опытных лазутчиков в монашеских рясах, которых снарядил спасалар.

Они должны были подробно разузнать все тайны придворной жизни эриставства и ещё до возвращения католикоса доложить обо всём царю.

Впереди этой процессии шествовал крестоносец: он нёс литую икону и крест древа животворящего.

Вёрст за шесть от замка Корсатевела «наместника Христа» встретил эристав Мамамзе с большой свитой.

Ещё издали, завидя католикоса, Мамамзе соскочил с коня и, в сопровождении начальника крепости Тохансдзе, прошёл пешком расстояние полёта стрелы. Приблизившись к католику, он снял шлем и приложился к руке почётного гостя.

Католикос ехал на муле с золотыми бубенчиками. Дорога перед ним была устлана вербными ветками. Из деревень сбегались рабы с непокрытыми головами, женщины, дети и нищие. Они бежали за свитой с пением «осанны»; бия себя в грудь.

Мамамзе дал знак Шавлегу Тохаидзе; они оба вновь вскочили на коней и последовали за процессией.

Ехал верхом закованный в латы Мамамзе и, поглядывая сверху меж наострѣнных ушей своего громадного коня то на маленького старца, сгорбившегося на своём муле, то на следовавшую за ним толпу монахов и извивавшуюся впереди открытую дорогу, взволнованно ёрзал в седле.

Вдруг он нахмурился и, наклонившись к Шавлегу, спросил его:

— Не знаешь ли, почему опаздывает Чиабер?

— Не могу понять почему, эристав эриставов, Чиабер и его свита были готовы к отъезду.

— Беда, если Чиабер заупрямится и не выедет встречать католикоса, — шопотом произнёс Мамамзе и стегнул коня плетью.

Впереди на повороте поднялось облако пыли. Чёрной волосатой рукой затенил глаза Шавлег Тохаидзе.

Его острый взгляд сразу разглядел в облаках пыли далѣкое сверканье шлемов, кольчуг и лат.

— Едут, едут! — воскликнул Тохаидзе.

Мамамзе тоже притенил глаза рукой, но его усталые серые глаза не могли ничего рассмотреть: они ещё продолжали болеть после раны, полученной в единоборстве с медведем.

— Чиабер едет, эристав эриставов! — воскликнул Тохаидзе и прищипил коня навстречу своему молочному брату.

— Скажи ему, чтобы обязательно приложился к руке, — наказал Мамамзе.

Всадники в кольчугах и шлемах ехали рысью навстречу процессии. Когда они поровнялись со свитой католикоса, от них отделился юноша в золотом шлеме; он соскочил с коня и передал его оруженосцу. Потом снял шлем, и кудри цвета спелых колосьев покрыли высокий лоб. Большие голубые глаза его удивлѣнно глядели на худое, болезненное лицо католикоса, в маленькие блестящие, как пугачики, глазки. Он протянул гостью свою правую богатырскую руку и, с брезгливой дрожью склонив голову перед ним, холодно приложился к его иссохшим длинным пальцам.

В эту минуту Чиабер, стоявший перед католикосом Мелхиседеком, восседавшим на своём муле, казался выше его.

## VIII

Крутая тропинка вилась всё выше и выше. Мелхиседек еле держался на муле. Один подъём следовал за другим. Взбирались на вершину, сворачивали влево и снова ехали в гору.

Наконец показался замок Корсатевела, и сторожевые башни возникли на той вершине, где дотоле видны были лишь облака.

От долгого подъёма в гору сильно билось сердце у Мелхиседека. Под конец он перестал видеть облака и даже замок Корсатевела.

По одну его сторону ехал на муле монах Стефаноз, с другой стороны его поддерживал Мамамзе. Как покойник, покачивался Мелхиседек на муле, готовый упасть каждую минуту.

Подъехали к первой башне Корсатевела, и Мелхиседека, потерявшего сознание, сняли с седла четыре монаха.

Бордохан, супруга Мамамзе, была фанатически религиозна. Она преклонялась перед католиком Мелхиседеком как пастырем христианства и ревностным строителем церквей.

Она вышла со своими прислужницами и свитой к первой башне приветствовать католика и, как только его сняли с мула, бросилась к нему вместе с другими женщинами. С благоговением прикладывались они к рукам и стопам пастыря, иные целовали край его одежды. Католика внесли в палаты, убранные коврами, паласами и богато расшитыми кожаными подушками, и уложили на тахту.

Мамамзе был крайне озабочен. Он знал, что царь Георгий безусловно сочтёт Чиабера виновником, если католик умрёт, а это может усложнить и без того напряжённые отношения между ними.

Бордохан, супруга эристава, царапала себе щёки. Всю жизнь она мечтала узреть католика. Трижды ездила в Мцхета взглянуть на него, но все три раза напрасно: Мелхиседек был в отъезде то в Уплисцихе, то в Вардзиа<sup>1</sup> или Артануджи<sup>2</sup>, где строил и украшал церкви.

Неожиданное счастье выпало ей на долю. Католикос

---

<sup>1</sup> В а р д з и а — средневековый пещерный город (XII в.) в южной Грузии.

<sup>2</sup> А р т а н у д ж и — древний город в южной Грузии, в настоящее время находится в пределах Турции.

Мелхиседек сам посетил замок Корсатевела, но, увы, обречённый и умирающий.

Тринадцатилетняя Катай удивлённо смотрела на мать и не могла понять, почему её так тревожит болезнь этого иссохшего, как скелет, старца.

Бордохан, подобно многим знатым грузинкам, была сведуща во врачевании. Она вмиг сообразила, что нужно сделать, и послал рыбаков наловить в Арагве мальков форели.

Долго растирали Бордохан и её старшая сестра Русудан грудь католикошу мокрым полотенцем, пока не привели его в чувство. Мамамзе сам внёс на подносе живых мальков. Бордохан собственноручно оторвала у них плавники и, соблюдая правила, вычитанные ею в старинном лечебнике, дала проглотить Мелхиседеку один за другим двенадцать мальков. Через несколько минут в здравьи католикоса наступило улучшение.

Бордохан поверглась ниц к его стопам и в экстазе принялась целовать край его одежды.

Негодующий Чиабер не выдержал этого зрелища и, шепнув отцу, что идёт поторопить с обедом, решительным шагом вышел из комнаты.

Католикос приподнялся, осмотрелся, но нигде на стенах не обнаружил икон и крестов. Вспомнил он сообщения монахов-лазутчиков о том, что замок Корсатевела ограбили язычники-пховцы, а кресты и иконы переплавили на украшения кинжалов и мечей.

Он приказал крестоносцу открыть сумку и попросил Мамамзе позвать сына. Вошёл Чиабер и шепнул отцу:

— Приготовьтесь к обеду.

Маленькая Катай вошла со служанками с перекинутым через плечо полотенцем.

Склонив голову, она поцеловала руку католикоса и, взяв кувшин у служанки, дала омыть ему руки, а затем подошла с кувшином по очереди к четырём епископам.

После омовения рук католикос взял икону и, передавая её склонившемуся перед ним Мамамзе, произнёс:

— Царь дарует тебе это на память.

Мамамзе преклонил перед ним колени, приложился сначала к коленям, затем к рукам католикоса, поцеловал икону, с лицемерным упованием прижав её к груди. Вновь поднял её к лицу и приложился.

Затем католикос обратился к молчаливо стоявшему поодаль Чиаберу. И когда приблизился к нему этот златокуд-

рый богатырь, Мелхиседек перекрестил его в воздухе, достал из ларца крест древа животворящего, пристально поглядел на склонённую перед ним голову и отдельно произнёс:

— Царь царей Георгий, повелитель абхазов, грузин, ранов и кахов, приказал тебе, эристав эриставов Чиабер, — при этом он вдохновенно поднял руку, — царь царей Георгий приказал, — повторил он твёрдо, и голос его задрожал, — отрекись от дьявола, вновь обратись к вере христовой и приложись смиренно к сему кресту древа животворящего! — И он поднёс крест к губам распростёртого у его ног юноши.

Почтительно слушали католикоса пожилые азнауры.

Бордохан, стоя в углу на коленях, рыдала, как ребёнок. Мелхиседек советовал всем причастным к мятежу пховцам покаяться в своей вине. Он угрожал им карой креста древа животворящего.

Шавлег Тохаисдзе одиноко сутулился в тёмном углу. Гневно скрежетал он острыми хищными зубами.

Чиабер с трепетом отращения приложился сначала к кресту, а затем к руке католикоса. И когда он встал, Мелхиседек взглянул в его красивые голубые глаза и уловил в них следы затаённого гнева.

## IX

За обедом справа от католикоса сидели епископы Мровели, Мацкверели, Анчели и Мтбевари, слева — Мамамзе, рядом с ним Бордохан и Чиабер.

Шавлег Тохаисдзе и двенадцать азнауров арагвских, засучив рукава, прислуживали почётным гостям.

Мамамзе лично потчевал католикоса то осетриной, то сазаном, то снетком, так как Мелхиседек даже после разговения не ел ничего, кроме рыбы.

Встал Мамамзе и предложил гостю свежезажаренных форелей.

Чиабер наклонился к отцу и шепнул:

— Вино мне кажется горьким, пойду прикажу заменить его! — И вышел из столовой палаты.

Мамамзе вновь подал гостю на подносе арагвских форелей и стал их расхваливать.

— Чем выше по реке идёт форель, — говорил он, — тем она вкуснее. Форель скоро начнёт метать икру, и если ваше святейшество задержится в замке Корсатевела, буду

иметь честь ежедневно угощать вас свежей икрой и форелью.

Затем вдруг он перевёл разговор на крест древа животворящего:

— Слышал я, что крест этот творил много чудес в Кларджети. Когда землетрясением был повержен храм в Имерхеви<sup>1</sup> и всё было разрушено в его алтаре, лишь крест древа животворящего в драгоценном ларце сохранился невредимым.

Католикос ел форель и молча слушал Мамамзе. И лишь когда Мамамзе закончил рассказ о чуде, сотворённом крестом, Мелхиседек наклоном головы подтвердил его слова.

Мамамзе не стал продолжать, хотя он слышал от царского духовника историю о вторичном перенесении этого креста в Мцхета. Почти шопотом он стал говорить Мелхиседеку:

— В моё отсутствие, ваше святейшество, проклятые пховцы разорили моё эриставство, подожгли церкви. Сын мой Чиабер и правитель замка Тохаисдзе встретили их с дружиной, бились с ними в жестокой схватке, но у пховцев оказалось превосходство сил. Наши отступили в страхе перед численностью врага и заперлись в Корсатевела. Но неверные лишили их воды, заняли крепость, ограбили замок, не оставив нам ни икон фамильных, ни крестов.

Мелхиседек надкусил голову форели, некоторое время прожёвывал её беззубым ртом, затем дрожащей рукой вынул изо рта рыбью кость, положил её на край тарелки и повернулся к Мамамзе:

— Царю Георгию всё это было подробно доложено в своё время, — сказал он. — А затем тебя ранил медведь. Царь пощадил тебя как почётного гостя и бсльного человека, и потому не говорил тебе об этом...

Снова взял Мелхиседек себе на тарелку крупную форель и надкусил ей головку.

Мамамзе двоедушничал перед католикосом, многократно клаясь «солнцем царя» и спасением души Баграта Куропалата.

— На руках у меня испустил дух Баграт Куропалат в замке Фанаскертти. Мне и Звиаду поручил он малолетнего Георгия и судьбу всей Грузии. Он заставил меня произнести клятву перед ним, и я по сей день верен этой клятве.

<sup>1</sup> Имерхеви — провинция древней Грузии; сейчас находится в пределах Турции.

Я и Бордохан, супруга моя, дни и ночи проводим в молитвах. И все мы, сын мой Чиабер и дочь Катай, — прах у ног вашего святейшества.

Не успел закончить свой рассказ Мамамзе, как католикос взглянул на поднос с форелью, стоявший перед Мамамзе: Анчели и Мацкверели опустошили поднос.

Мамамзе прервал беседу на полуслове, и когда он подавал католикосу форели на новом подносе, глаза Мелхиседека, маленькие и чёрные, встретились с глазами Мамамзе, которые беспокойно бегали под лохматыми бровями.

Бордохан заметила, что вино не переменили после ухода Чиабера, она удивлялась, что сын так долго задержался. Извинившись громко, чтобы её услышал Мелхиседек, она вышла из столовой палаты.

Католикос взял крупную форель и, надкусив ей голову, обратился к хозяину:

— Царь царей Георгий великодушен. Он прислушивается к моим советам. Спаситель наш не велит нам брать в руки меч. Царям православным и пастырям церковным надлежит евангелием и святым крестом указывать своим подданным путь истины, ведущий к жизни вечной, дабы сила креста животворящего рассеяла тьму в сердцах, идущих по греховным путям.

Вдруг в палату ворвалась Бордохан.

— Чиабер умирает! — дико закричала она и убежала обратно.

Гости вскочили. Анчели и Мацкверели довели католикоса до спальных покоев Чиабера.

Тохаисдзе стоял над остывающим телом молодого эристава.

— А-вай! — заревел Мамамзе, и его громадное тело рухнуло на пол.

Потрясённый Мелхиседек смотрел на мёртвое лицо Чиабера, на его погасшие прекрасные голубые глаза.

Во время зауспокойной молитвы католикос достал выцветший свой молитвенник и высохшими устами бормотал:

— «Ты распят, спаситель, на кресте вместе с разбойниками и казнён древом живстворящим, ты, бессмертный, смертью поправил смерть и, пребывая три дня во прахе, рассеял светом тьму».

Бордохан раздирала себе щёки, проливая горячие слёзы над сыном, целовала его ввалившиеся глаза. Она бросалась в ноги католикосу и, обнимая его колени, умоляла:

— Воскреси сына моего, как Христос воскресил Лазаря.

Обезумевший Мамамзе бил себя по голове, слёзы высохли в его глазах.

Лишь Шавлег Тохаидзе стоял, скрестив руки, и покрасневшим от гнева глазами пристально глядел на католикоса. Как горящий уголь, облитый водой, шипел в его сердце стих из молитвы католикоса над прахом Чиабера: «...казнён крестом древа животворящего...»

Кого имел в виду католикос — Чиабера или Христа?

Домочадцы эристава и гости уверовали, что кларджетский крест древа животворящего явил новое чудо, убив Чиабера.

Сам Мамамзе поверил в это чудо. Теперь очередь была за Тохаидзе, Колонкелидзе и за ним самим. Смерть казалась желанной старику, потерявшему доблестного сына.

Мамамзе сразу надломился. Теперь уже покорно склонился он перед католикосом и его свитой. В ту же ночь он попросил Мелхиседека исповедать его и покаяться в том, что он и Чиабера участвовали в мятеже пховцев.

## Х

Прибытие католикоса или, вернее, прибытие креста животворящего в замок Корсатевела и гибель Чиабера нагнали страх на язычников всего Кавкасиони.

Христиане вновь воспряли духом, освободили из темниц священников и псаломщиков, брошенных туда во время мятежа пховцев и таким путём избежавших народного гнева.

В народе говорили, что крест древа животворящего шествует в сопровождении католикоса и при его приближении рассыпаются в прах капища, а сами язычники погибают мгновенно, прикладываясь к кресту.

Католикос Мелхиседек не слыл жестоким. Он славился в Грузии как ревностный строитель церквей и строгий аскет.

О кресте древа животворящего горцы знали: Вахтанг Горгасали владел им как «боевым крестом». Когда он покорял Кавкасиони и «великие горы склонялись перед ним», перед войсками царя несли этот крест.

Аланы, цанары и галгайцы создали много легенд о чудесах, творимых этим крестом.

Девять фунтов весил крест с ларцом. Три с половиной локтя был он в высоту и полтора локтя в ширину. По

преданию, он был сделан из мцхетского столпа животворящего ещё в ту эпоху, когда христианство вбирало в себя языческий культ древа.

Крест этот в разные века побывал по всей Грузии «от Никопсии до Дербента».

По свидетельству одного летописца, крест первый раз пропал в день взятия Тбилиси хазарами.

Ашот Куропалат носил его против сарацин, а затем, бежав в Грецию, взял его с собой. В Византии он украсил драгоценными камнями ларец, в котором покоился крест.

В восемьсот пятьдесят третьем году, когда сарацины взяли Тбилиси и убили Тархуджи и Кахая, крестом этим завладел Буга Турк<sup>1</sup>.

Судьба была благосклонна к кресту: когда цари и эриставы били врага, летописцы приписывали эти победы кресту, но поражение всегда объясняли малочисленностью войск или стратегической ошибкой и винули в этом царя и полководцев. Известно, что божеству легче прощаются промахи, чем сынам Адама. Вот почему был так прославлен этот чудотворный крест.

В битве с арабами погибло в Тбилиси пятьдесят тысяч грузин, и крест животворящий «был полонён», но летописец не ставит этого ему в вину.

Буга Турку, идущему в поход на горцев, снежные обвалы и горцы отрезали путь; погибло «сарацин без числа, многих из них живыми похоронили обвалы».

На берегу Арагвы охотник-горец среди трупов сарацин нашёл богатую добычу. Среди этой добычи находился ларец, а в ларце — крест древа животворящего. Горец отнёс его Баграту Куропалату в Уплисцихе.

Гибель сарацин приписали не храбрым горцам и не снежным обвалам, а кресту животворящему.

Баграт Куропалат велел мастерам снова обить ларец серебром и украсить его драгоценными камнями.

Мало сведений дошло до нас о той тёмной эпохе, но в одной приписке к Месхетскому псалтырю говорится о том, что Давид Куропалат выиграл ещё одну битву «с представлением креста животворящего».

---

<sup>1</sup> Буга Турк — предводитель сарацин (IX в.); он сжёг Тбилиси, полонил эриставов Кахая и Тархуджи и казнил их.

При победе над Бардасом Склярсом<sup>1</sup> крест животворящий несли перед войском эристава Торнике.

После того летописцы долго хранили молчание о кресте. И только когда Баграт III и Гагик, царь Армении, при Зоракерте разбили гянджинского амира Фадлона, победу эту приписали не союзу братских народов, а «всемогуществу прославленного креста».

В войнах с византийским кесарем Василием войска Георгия I шли за этим крестом, но при битве у Васяни царь отступил от креста и по пути сжёг Олтиси.

Передовой отряд греческого войска полонил в лесу крестonosца. Спустя два года у Таос-Кари какой-то монах нашёл крест и доставил его Мацкверели, а этот преподнёс его католикосу. И, наконец, католикос Мелхиседек преподнёс его в дар царю на Новый год. На этот раз крест предотвратил войну с Византией, укоротив жизнь Чиабера, и навлёк гнев на язычников Кавкасиони, и потому сердце Георгия снова обратилось к нему.

Не только цанарских и арагвских азнауров, но и пховских хевисбери<sup>2</sup> объял ужас.

Бесчисленное множество любопытных пришло на оплакивание Чиабера. Но большинство из них явилось взглянуть на чудотворный крест.

## XI

На следующий же день после смерти Чиабера Мамамзе разослал ко всем своим друзьям и родственникам одетых в траур вестников.

Первый скороход полетел в Кветари, взяв с собой щит и кольчугу Чиабера.

Бия себя в голову и уныло припевая, приблизился он к замку Кветари.

Прекрасноликая Шорэна, распустив косы, царапала себе щёки, белые, как сердцевина миндаля. Прижимаясь к груди отца, она жалобно рыдала.

В Осетии, в семье азнаура Такая, вскормили и воспитали Чиабера. У Такая было двенадцать сыновей. Увидев

---

<sup>1</sup> Бардас Склярос — известный византийский феодал (IX в.), поднявший мятеж против императора. Царь Грузии Давид Куропалат послал кесарю свои войска во главе с эриставом Торнике. Войска Куропалата разбили мятежников.

<sup>2</sup> Хевисбери — предводитель племени и священнослужитель. В горных провинциях Грузии хевисбери избирался народом.

саблю Чиабера, молочные братья с горестным стоном бросились к матери.

Обнимая её колени, они оплакивали своего молочного брата.

Такой был слепым. Он попросил подать ему саблю Чиабера, гладил её, целовал и горько плакал.

Триста всадников сопровождали Талагву Колонкелидзе, его супругу и дочь Шорэну, одетую в глубокий траур.

Когда они приблизились к замку Корсатевела, Шорэна распустила волосы, и её прекрасные уста исторгли раздирающий душу крик. Плакальщики в чёрных одеяниях окружили её и затянули скорбную мелодию, на низких басах, вторя её звонкому голосу.

Услышав крики Шорэны, невесты Чиабера, старые и малые высыпали на плоские кровли замка Корсатевела. Гости, служанки, рабыни — все кинулись к оконным амбразурам. Всадники в чёрных одеждах тянули монотонную мелодию плакальщиков, и крик Шорэны, вырываясь из этого хора, возносился к небесам. Всадники спешили, помогли сойти с лошади Гурандухт, супруге Талагвы, а затем Шорэне и её свите.

С воплями вступила Шорэна в замок, поддерживаемая с одной стороны отцом, а с другой — Константином Арсакидзе, её молочным братом.

Царь Георгий и его свита подъехали в это время к первой башне замка. Мамамзе и Шавлег Тохаисдзе вышли им навстречу.

Никто не ждал прибытия царя Георгия. Взоры всех были прикованы к Шорэне, к её исцарапанным прекрасным щекам.

Царя сопровождали: справа — царица Мариам, слева — Звиад спасалар.

Мамамзе стремительно подошёл к царю, приложился к его правому плечу и, как ребёнок, заплакал в его объятиях.

Георгий растрогался. В эту минуту ему и в самом деле было жаль Чиабера. Вспомнил он прежнего Мамамзе, друга юности своего отца.

Георгий увидел Шорэну и подумал:

«Как странно, слёзы не красят даже ребёнка, а красоту женщины делают ещё прекраснее».

Переведя взгляд на Константина Арсакидзе, одетого в пховскую чоху и латы цвета ржавчины, царь нашёл, что юноша похож лицом на Шорэну. Не брат ли он Шорэны?

Но вспомнил, что у эристава не было детей, кроме Шорэны.

Талагва Колонкелидзе приблизился к царю и царице, низко склонив голову, затем почтительно отступил и поклонился обоим.

Но все отвлеклись от убитой горем невесты, когда услышали плач старика Такая, воспитателя Чиабера. Он шёл с непокрытой головой. Усы были сбриты, подбородок исцарапан, одежда на груди изодрана.

— Вахву месербун! Вахву месербун!<sup>1</sup> — кричал он.

Горе закипело в груди Мамамзе при виде слепого Такая. Он обнял его и подвёл к покойнику, одетому в латы и шлем. За ними шли кормилица Чиабера и его молочные братья.

Такой трогал остывший труп воспитанника, целовал его с ног до головы и снова бил себя кулаком в грудь и в голову.

Кормилица рвала волосы и не переставая кричала. Все двенадцать молочных братьев причитали на аланском языке. И от этих непонятных для окружающих причитаний становилось жутко.

Сердце Георгия сжалось, когда он услышал рыдания слепого Такая. Он обнял Мамамзе и искренно заплакал.

Даже жестокий спасалар прослезился, слушая горькие вопли слепого старца и плач дряхлой кормилицы. На миг смерть примирила кровных врагов.

Слепой старик-воспитатель сидел и плакал. Он перебирал в своей памяти детство и юность Чиабера, хвалил его стройность, голубые очи и львиное сердце.

— Вахву месербун! Вахву месербун! Туром буйным был ты, душа моя, и как же шакалы одолели тебя!.. Волком горным был ты, и как же лисицы посмели коснуться тебя! Коршуном бесстрашным был ты, и как же вороны заклевали тебя! Вахву месербун! Вахву месербун! Подведите меня к тому кресту! — кричал слепой Такай. — Зачем он не сразил меня? Как смела коснуться смерть тебя, о мой Чиабер! Вахву месербун! Вахву месербун!

Причитал Такай, бил себя по голове и смотрел невидящими глазами в наступающую темноту.

Католикос не знал аланского языка и потому не понимал причитаний Такая. Но царь Георгий и Звиад спасалар, воспитанные в стране аланов, насторожились при

---

<sup>1</sup> «Горе дням моим» (на аланском языке).

упоминании о кресте. Им нравилось, что смерть Чиабера связывается с чудом, будто бы сотворённым крестом.

Три тысячи человек собрались на похороны Чиабера. Со всего нагорного Кавкасиони стекался народ. Все четыре башни, их плоские кровли, двор замка, терраса крепости и гостинные палаты, дворцовая церковь и ограда — всё было заполнено народом.

Дети влезали на высокие тополя, лепились на них, как воробьи. Суетились нищие, монахи и юродивые и не находили себе места.

Среди прибывших на похороны были такие, которые никогда не видели царя абхазов и грузин Георгия I и католикоса всея Грузии Мелхиседека. Не видели они и такой красивой невесты, как Шорэна, горячо оплакивающей своего жениха. Но ни царь, ни католикос, ни Шорэна не вызывали к себе такого любопытства, как чудотворный крест, водружённый у изголовья покойника.

Становились на цыпочки, вытягивали шеи, давили друг друга. Тревожные, удивлённые глаза искали крест, сравнивший этого славного рыцаря с львиным сердцем.

Боялись приблизиться к нему, обходили его со страхом.

Один спасалар стоял возле креста, скрестив на груди руки, свободно и бесстрашно, как заклинатель стоит около змеи. Он бесстрашно поглядывал на Мамамзе и слепого Такая.

Мамамзе был в вывернутой наизнанку островерхой шапке и в такой же мохнатой меховой одежде. Он напоминал того бежавшего из Мцхета Мамамзе, который ещё так недавно стоял перед Звиадом, переодетый в нищенское платье. Но неизмеримое горе высушило его цветущее лицо, стерев с него присущее ему юношеское выражение.

## XII

Чиабера похоронили в фамильной усыпальнице. Лишь на третий день разъехались гости, плакальщики и дальние родственники.

Католикос со свитой переехал в Гудاماкари. Все четыре епископа сопровождали его.

Бесчисленные толпы народа встречали Мелхиседека по дорогам и перекрёсткам, по тропинкам и просёлкам. Полу-

голые рабы, голодные женщины и золотушные дети преграждали ему путь.

Тысячи снов и откровений рассказывали прокажённые и припадочные, юродивые и кликуши шествующему с триумфом наместнику Христа.

На холмы, на деревья и ограды взбирались челобитчики. Католикос останавливался и выслушивал их. Он открывал закрытые церкви, назначал церковных служителей, крестил детей, вкушал хлеб-соль и снова продолжал свой путь вверх по крутым тропам.

Лиственный лес кончился, коричневые вершины гор упёрлись в небесную лазурь. Вспугнутые топотом людей орлы, расправив крылья, взмывали к облакам.

За горами, покрытыми дремучей чащей елей и пихт, высились голые скалы. Турьи стада спокойно спускались к соляным источникам, не страшась чёрного воинства.

В прохладных и безлюдных горах мало было поживы для упитанных монахов.

Недавно отпраздновали пасху. В деревнях в это время питались бараниной и хинкали<sup>1</sup>. Епископы и «братья из князей» не ели мясного. Католикос питался чёрствым хлебом. Послушникам и служкам было трудно соблюдать столь строгий пост, и когда их посылали в деревню за съестными припасами, они, заполучив окорок или сушёное мясо, лакомились им тайком.

В селениях, лепившихся по расселинам скал, католикос и «братья из князей» стали питаться лишь черемшой и щавелём.

Всё выше в горы подымались они. Всё тяжелее становилось Мелхиседеку. Его изголодавшийся и обессиленный организм изнемогал от приступов сердечной болезни, ему нехватало воздуха. Но фанатичный католикос не боялся смерти.

Два раза падали под ним мулы, но их сменяли. Третий тоже изнемог и едва передвигал слабые ноги по тропинкам, узеньким, как спина ослика.

У трёх епископов пали лошади. Трое послушников уступили своих мулов епископам и продолжали пешими свой горестный путь.

Мелхиседек то и дело падал в обморок. Монахи Гаиоз и Стефаноз подхватывали его, снимали с мула, тёрли грудь

---

<sup>1</sup> Хинкали — пельмени, начинённые жирной рубленой и остро приправленной бараниной.

мокрым полотенцем. Затем у первого ручья закидывали сети, вылавливали мальков, давали их католикосу живыми и, приведя его в чувство, продолжали путь.

Шествие достигло Кветарского эриставства. Народ приветствовал католикоса, падая перед ним ниц.

Колонкелидзе успел вернуться в Кветари. Он выслал своих послов навстречу Мелхиседеку к самому ущелью Боконца. Они привезли католикосу убоины, бочки с мёдом и просили его пожаловать в Кветарский замок.

Испуганными глазами смотрели пховцы на крест животворящий в руках крестоносца. Обнажали головы, крестились и целовали край одежды католикоса.

В конце первого тысячелетия в христианских странах ждали второго всемирного потопа. Как осиноый лист, трепетали Византия, Италия и Франция. Монахи в Грузии клялись Эфутом<sup>1</sup> и грозили народу вторым пришествием.

Как раз в день прибытия Мелхиседека в замок Корсатевела в Нокорнском монастыре заговорил схимник Эвдемон. Он объяснял опоздание второго пришествия тем, что католикос Грузии занят объездом страны. «Он едет в Пхови и везёт туда крест древа животворящего, чтобы окрестить пховцев до судного дня и послать кару божью на осквернителей святой церкви», — так говорил схимник.

Обстоятельства смерти Чиабера смутили Талагву Колонкелидзе, и потому предсказания Эвдемона поколебали его. Он поспешил в Кветари, чтобы достойно встретить Мелхиседека.

Когда свита католикоса приблизилась к замку, в дворцовой церкви ударили в било.

Колонкелидзе со свитой выехал встречать католикоса за двенадцать вёрст.

Рыцари в панцях, сняв шлемы, стояли на кленях вдоль шоссе. Колонкелидзе накинул на шею верёвку покорности. Он поцеловал край одежды католикоса, затем руку его и приложился к ларцу с крестом древа животворящего.

Всю неделю метались, как оглашённые, люди во дворце Колонкелидзе. Напуганные смертью Чиабера, они со дня на день ждали смерти эристава. Домочадцы бодрствовали

---

<sup>1</sup> Эфут — книга теософского содержания, весьма распространенная в старой Грузии и Армении.

все ночи, служители церкви читали ему молитвы, а сам эристав, осеняя себя крестным знаменем, каждое утро возносил благодарность богу за дарованный ему ещё один день жизни.

Виски и борода Колонкелидзе поседела от страха. Он достал дедовские молитвенники, утром и вечером слушал чтение часослова, заучивал псалмы, убрал дворцовую церковь иконами и водрузил крест на башне Кветарского замка.

А Мелхиседек тем временем восстанавливал храмы и монастыри, назначал служителей церкви. Окрестив свыше двух тысяч детей и старцев, он возвратился в замок Корсатевела.

Талагва Колонкелидзе поехал в Нокорнский монастырь. Он принёс благодарственную жертву за избавление от кары креста животворящего.

Пховцы дивились спасению Колонкелидзе.

Сам же эристав был уверен, что ему помогла накинутая на шею верёвка покорности.

### XIII

В глубочайший траур ржавого цвета оделись Бордохан и Мамамзе. Они переселились в землянку без света. Лишь спустя две недели они надели чёрные с белыми полосами сандалии. День и ночь лежали они на голой цыновке, не прикасаясь к пище.

С трудом удалось Русудан, Катай и Шавлегу Тохаисдзе уговорить их подстелить сено и отведать сырых овощей.

В продолжение сорока дней перед закатом солнца собирались в ограде замка близкие и с похоронным пением и плачем шли к фамильной усыпальнице.

Горе и чудо, явленное крестом, обратили Мамамзе к вере христовой. Крестами и иконами убрал он замок Корсатевела и фамильную дворцовую церковь. Ежедневно служили панихиды и читали псалмы вновь назначенные священники и псаломщики. Над могилой Чиабера поставили крест.

Тохаисдзе ходил насторожённый, но не решался противоречить одержимому горем эриставу.

Наконец из Пхови вернулся Мелхиседек, привёз с собой крест животворящий и оставил его в замке Корсатевела.

Бордохан и Мамамзе, преклонив колени перед крестом, молились о спасении души Чиабера. Домочадцы, девушки

и слуги не смели от страха входить в ту палату, где находилась эта святыня.

На сороковой день вновь собрались плакальщики. Пятьдесят быков, свыше ста овец закололи в замке в этот день. В ограде горели костры. Жарилась и варилась убоина.

Шорэна снова прибыла оплакивать жениха. Двенадцать плакальщиков и Талагва Колонкелидзе сопровождали её.

Царь Георгий приехал с большой свитой. Но так как царица и Звиад спасалар отбыли в Уплисцихе, царя сопровождали троё эриставов, царский духовник, начальник слуг и манглийский епископ взамен католикоса, ибо Мелхиседек заболел после возвращения из Пхови.

Такой со своей женой и двенадцатью сыновьями приехал в сопровождении тридцати плакальщиков.

От замка Корсатевела до шатров в два ряда стояли плакальщики и низкими грудными голосами тянули скорбную мелодию. Ужасом преисполнялась душа от их монотонного пения, похожего на рёв напуганной отары овец.

От ступеней башни до шатров шли плачущие, царапая себе лица и причитая.

Во дворе замка стояли три длинных шатра.

В одном из них покоилась одежда Чиабера, его золотой шлем — подарок византийского кесаря, панцырь, лук и стрелы, щиты и сабля.

Во втором шатре находился покрытый траурной попоной конь, подаренный Чиабери в Византии за участие в боях с сарацинами.

В третьем — его охотничьи псы, гончие, борзые, речеты и соколы.

У входа в первый шатёр сидела обезумевшая от горя несчастная Бордохан. Рядом с ней жена Такая, кормилица Чиабера — с одной стороны и прекрасная Шорэна — с другой.

Голова Шорэны лежала на колёнях Бордохан.

Голосила Бордохан и ласково гладила белокурые локоны Шорэны.

Когда царь Георгий приблизился к женщинам, Шорэна подняла голову. Неземная красота её, как молния, поразила сердце Георгия. Траур и горе сделали её лицо ещё прекраснее.

Царь приложился к плечу Бордохан, выразил сочувствие её горю. Затем подошёл к кормилице и к невесте покой-

ного. Злобный взгляд метнула Шорэна в царя, и лицо его вспыхнуло от этого взгляда.

Плакальщики тянули свою щемяще-жуткую, однообразную песню. Слышались заглушённые рыдания «слепого Такая, его «ваху месербун».

Сердце сжалось у Георгия, и слёзы навернулись на глаза. Он прошёл в следующий шатёр, посмотрел на насторожившегося коня Чиабера. На коне ещё не зажили следы двойной сабельной раңы, полученной в битве с сарацинами.

Плакальщики и сыновья ввели в шатёр под руки слепого Такая. Старик раскрыл широкие объятия и обнял коня.

— Нет у тебя всадника! — восклицал он. — Ушёл он в царство теней без тебя, но как же он преодолет темноту один, как замахнётся он саблей без тебя, как нагрянет на врага без тебя! Горе тебе, конь! Нет у тебя хозяина, нет твоего рыцаря Чиабера...

Он бросился к ногам коня, обнимал их, целовал копыта.

Дрожь охватила Георгия при виде этого зрелища. Он поспешно вышел из шатра.

Плачущий, сгорбленный Мамамзе следовал за царём. Они вошли в шатёр, где находились доспехи Чиабера, и когда царь увидел золотой шлем покойника, подарок византийского кесаря, прежняя ненависть к Чиабери вспыхнула в нём.

Мамамзе стоял поодаль. Он опирался на кривую кизиловую палку и в этот миг в самом деле походил на нищего. Георгию стало жаль его. Он подошёл ближе, положил ему руку на плечо, но не нашёл в себе слов утешения.

Слёзы блеснули на глазах царя. Мамамзе увидел их. Его сутулые плечи затряслись. Он обнял царя, как отец, поцеловал его в глаза, — ведь царь забыл вражду к Чиабери и простил ему всё.

Царь прошёл в третий шатёр.

Угрюмо нахохлившись, сидели на шестах беркуты, ястребы и кречеты Чиабера. Перепуганные причитанием и криком плакальщиков, они таращили глаза.

В сторонке лежали борзые и гончие покойника. Согласно обычаю, царь и тут вымолвил слова соболезнования. Чёрная старая борзая, любимица Чиабера, лежала поодаль от других псов, приоткрывая слезящиеся глаза и равнодушно обмахиваясь хвостом.

Проходя мимо первого шатра, Георгий вновь взглянул на Шорэну. Теперь она была несравненно красивее, чем три года назад, когда царь видел её впервые в Мцхета на престольном празднике. Как амазонка, джигитовала она тогда в своём пховском платье, соревнуясь с рыцарями.

#### XIV

До осени следующего года Мамамзе и Бордохан просидели в темноте. К концу двенадцатого месяца со дня смерти Чиабера они собрались разослать вестников для приглашения близких и дальних на годовщину смерти сына.

В эту ночь Мамамзе приснился недобрый сон.

В фамильной усыпальнице на могильной плите Чиабера сидели будто бы он и Тохаисдзе и озабоченно смотрели на надгробный крест.

Но то не был простой каменный крест, что по заказу Бордохан был поставлен над могилой Чиабера. То был кларджетский крест древа животворящего.

Крест пустил корни в землю и стал высотой в человеческий рост. Виноградная лоза, толщиной в запястье, вилась вокруг его ствола. Лоза дала побеги.

Удивился Мамамзе. Кто же поставил чудотворный крест на могиле сына?

Заколыхалась лоза с побегами.

И вдруг не стало ни лозы, ни побегов.

Дрогнула огромная змея, сбвилась вокруг креста и так сильно вытянула шею, что своим расщепленным жалом впилась в облачное небо.

Тохаисдзе выхватил саблю, подаренную ему Чиаберам, и отрубил змее голову.

Голова скатилась на землю и, открыв зев, злорадно расхохоталась ему в лицо.

Мамамзе проснулся, встал и подошёл к окну.

Утренняя зоря глядела в их тёмную обитель.

Большая Бордохан металась на соломенном ложе.

Мамамзе позвал Шавлега Тохаисдзе. Рассказал ему сон. Попросил проводить его до могилы Чиабера.

Пересекли двор замка.

От долгого сидения в темноте лицо старика изменилось.

Как шерсть, покрытая копотью, стали волосы и борода Мамамзе. Опираясь на кизилковую палку, он едва плёлся, поддерживаемый Тохаисдзе.

Большая печаль лежала у него на сердце. В семейной усыпальнице царила тишина. Мох покрывал могилы предков. Покачнулись каменные кресты. Хмель, боровник и выющиеся травы скрывали надгробные камни, грустно падали на землю листья тополей.

Свежая могила исчезла. Вокруг виднелись лишь замшелые камни, покрывающие могилы эриставов и их жён.

Наконец он разыскал могилу сына. Палкой соскрёб с неё сухие листья.

Беспокойство овладело Мамамзе.

— Кто мог украсть надгробный крест?

— Я снял его, — признался Тохаидзе.

Поражённый Мамамзе смотрел на Тохаидзе, и ему казалось, что он видит недавний сон.

— Ведь это надгробный крест с могилы моего деда Гварама, Шавлег.

— Да, этот крест с могилы Гварама, деда твоего, эристав эриставов.

— Куда же девался крест с могилы Чиабера?

— Я спрятал его, эристав эриставов.

— Почему ты это сделал?

— Нашёл нужным.

— Как же так?

— Мы не знаем, что сулит нам завтрашний день.

— Ты бредишь, несчастный Шавлег!

— Осторожность — мать мудрости, эристав эриставов.

— Говори яснее.

— Мне нужно говорить о многом, но ещё рано.

— А всё же?

— Тебе известно, какое жестокое сердце у царя Георгия. Он будет мстить даже покойникам.

У Мамамзе подкосились ноги. Он присел на край надгробного камня. Облокотясь, устался на землю.

— Разве ты забыл, эристав эриставов, как царь отобрал замок у Хурси Абулели, когда тот бежал к сарацинам, и как велел вырыть останки сыновей Абулели и бросить их свиньям и псам на поругание?

— Да, но царь помирился с нами, он присутствовал на погребении Чиабера, был и на поминках в сороковой день.

— На то у него была своя причина, эристав эриставов.

— Какая же?

— Другое его интересовало на похоронах Чиабера.

— Кого ты имеешь в виду?

— Шорэну, дочь Колонкелидзе.

— Неужели он такой вероломный? Трудно поверить тебе, Шавлег. Он так искренно оплакивал Чиабера.

— Оплакивал? Почему это тебя удивляет? Убийцы и пьяницы, упившись вином и кровью, охотно проливают слёзы.

— О чём ты говоришь, Шавлег? Убийцы? Разве царь Георгий повинен в смерти Чиабера? Крест животворящий покарал моего сына.

— Ты веришь в эту сказку? Монахи-лазутчики распространили её в замке Корсатевела. Если бы крест этот мог карать, он прежде всего покарал бы Талагву Колонкелидзе, зачинщика пховского мятежа.

Мамамзе молчал, глядя на могилу сына.

— Говори понятнее, Шавлег.

— Царь Георгий и Звиад спасалар убили Чиабера. Вот всё, что я хотел сказать тебе, эристав эриставов.

— Не гневи бога, Шавлег.

— У меня есть доказательства.

— Какие?

— Проведи меня к кресту, пока Бордохан, супруга твоя, сидит в темноте, и я открою тебе глаза.

Мамамзе был поражён. О каком ужасном, неслыханном коварстве хотел рассказать ему Шавлег?

Мамамзе знал о жестокости царя, но он не допускал мысли, чтобы царь мог проливать лицемерные слёзы.

На его глазах рос Георгий. Груб он и пылок, но лицемерие не свойственно ему.

Русудан и Катай ещё спали в замке, когда Мамамзе и Тохаидзе, минуя большую залу, прошли в спальню Чиабера и заперлись в ней.

Как родного сына, воспитал Мамамзе в своём доме Шавлега, и когда тот приблизился бесстрашно к «чудотворному кларджетскому кресту», беспокойство овладело Мамамзе. Он хотел крикнуть, остановить Шавлега, запретить подходить ближе, но им самим овладело желание поскорее узнать правду, и он сдержал себя.

Тохаидзе снял с полки ларец с крестом, поставил на стол, достал крест, наклонился над ним и, понюхав его, положил обратно на стол.

— Подойди, эристав эриставов, и понюхай.

Мамамзе подошёл, шатаясь.

— Да, странный запах. Но это ничего не значит. Слишком много народу прикладывалось к нему раньше, цело-

вало его, брало в руки. Быть может, это запах человеческого пота?

— Этот крест отравлен, эристав эриставов.

— Ты бредишь, Шавлег, опомнись, несчастный.

— Я повтсряю тебе, что крест отравлен.

— Но ведь католикос Мелхиседек не допустил бы такого преступления. Он не дал бы Чиабери приложиться к отравленному кресту.

— Возможно, что Мелхиседек об этом и не знал. Он только слепое орудие в руках царя и спасалара.

— Но Колонкелидзе тоже прикладывался к кресту и остался невредимым.

— Я думал об этом. Поэтому и просил на прошлой неделе отпустить меня в замок Кветари. Подробно расспросил обо всём Талагву Колонкелидзе. Он, оказывается, целовал лишь край ларца. А Чиабери... Ведь ты помнишь, как в главной палате на наших глазах Мелхиседек приказал крестоносцам раскрыть ларец, собственноручно достал оттуда крест и поднёс его к губам Чиабери.

Мамамзе вскочил, как ужаленный.

— Твои слова похожи на правду, Шавлег. Но как это проверить?

— Для этого нам не нужно звать мудрецов, эристав эриставов. Чёрный пёс Чиабери поможет нам. Собака эта преданно служила Чиабери при жизни. Она стара и скоро должна околоть. Пусть принесёт последнюю жертву своему хозяину, — закончил Шавлег и вышел из спальни.

Страшно стало Мамамзе одному. Он стал рассматривать крест, который слинял местами от постоянного лобызания на протяжении веков. Слиняло и то место, где его целовал Чиабери.

— Подойду и приложусь к нему. Это положит конец тому страшному сну, который называется жизнью.

Но он отошёл прочь. Ему хотелось убедиться в вероломстве бога и людей.

А затем... затем появится новый смысл в его жизни — он будет мстить за своего сына Чиабери.

Он тяжело дышал, нехватало воздуха. Подошёл к окну. Оттуда видна была усыпальница предков и развалины старого храма.

«Тохаидзе поторопился, — думал он. — Никто не посмеет осквернить могилу Чиабери, пока жив Мамамзе».

Он отошёл от окна и долго глядел на аксамитовый каф-

тан Чиабера, на панцырь его и шлем и висящие на стене стрелы и сабли.

— Почему проклятый крест сразил не меня, сын мой? — простонал он. — Ты бы мстил за меня. О, почему не случилось так!

Тохаисдзе всё не шёл. Бесконечными казались минуты.

Дверь приоткрылась. Шавлег вёл на привязи тощую чёрную борзую. Она шла, извиваясь, как змея, которую Мамамзе видел во сне.

Тохаисдзе достал из кармана кусок сала, провёл им по тому месту креста, где были следы бесчисленных лобызаний, а затем поднёс крест к самому носу собаки. Она сначала обнюхала его, потом лизнула древо красным языком.

Шавлег Тохаисдзе уложил крест обратно в ларец и поставил его на стол.

— Христов крест был исконной причиной наших бедствий. И начало зла в Византионе, эристав эриставов, — начал он. — Гнилой город Византион. О многом узнали я и Чиабер во дворце кесаря Василия. Там выжигают глаза, заживо хоронят людей, вздёргивают на дыбу, отравляют, отсекают руки, подсылают убийц, и всему этому наши цари научились в Византии. Тридцать тысяч болгар ослепил кесарь Василий на следующий же день после битвы при Цетиниуме. А теперь у них находится заложником царевич Баграт. Они обучат его своим страшным тайнам. Его возвращение сулит нам ещё неведомые бедствия. Царь Георгий проявил в Олтиси жестокость. Свыше тысячи греческих рабов были ослеплены тогда по его приказу, обезглавлены две тысячи стратиотов<sup>1</sup> и заживо похоронены триста пленных.

...Гнилой город Византион, очаг разврата и вероломства. Три месяца готовился кесарь Василий к походу против сарацин. Я и Чиабер жили тогда во дворце. Армянин из Аниси подружился с нами, он подробно рассказывал нам о жизни дворца. Тогда же происходили церковные соборы. Слабоумный патриарх константинопольский, епископы, учёные мужи церкви и монахи два месяца состязались неистово, чтобы установить, сколько ангелов могут уместиться на булавочной головке. Двор кесаря готовился к войне, и всё же и старые и молодые посещали эти соборы. Опасность нашествия сарацин угрожала уже вплотную. «Возлежит или восседает бог отец? Может ли бог создать

---

<sup>1</sup> Стратиот — греческий воин, солдат.

сына без отца, гору без долин или обратить блудницу в девственницу?» Вот о чём они спорили с жаром, и вот...

Но слова замерли на устах Шавлега Тохаисдзе. Чёрный пёс вдруг упал и судорожно скорчился. Потом привстал на передние лапы, опять повалился на пол и завертелся волчком. Из рта пошла жёлтая пена. Он жалобно скулил.

Внимательно следили за ним Мамамзе и Тохаисдзе.

Пёс царапал пол когтями передних лап, затем стал сучить задними ногами, весь затрясся, взвизгнул ещё раз, вытянул шею и побелевшими зрачками уставился на Мамамзе. И затем покорился смерти.

— Веришь теперь, эристав эриставов, что Христова вера выдумана попами для обмана женщин и малых ребят?

— А-вай! — громко застонал Мамамзе, ударив себя по лбу руками. Сгорбившись, он опустился на стул.

Тохаисдзе унёс из комнаты труп собаки. Вскоре он вернулся.

Мамамзе поднял голову.

— Ты прав, Шавлег, прав до небес. В Христа никто не верит, кроме выжившего из ума католикоса Мелхиседека да ещё двух-трёх монахов в Мцхета... И возможно ещё...

Некоторое время оба молчали. Мамамзе нарушил молчание.

— Нет, сам царь Георгий не верит в Христа и в его крест. Во время битвы у Басиани кесарь просил о мире. Георгий скрепил мир на веки веков грамотой, но, не доверяя коварному Василию, направил туда Звиада. Звиад походом прошёл весь Басиани, разорил его и обратил в бегство греческое войско.

...Кесарь Василий был застигнут врасплох вероломством грузин. Он повелел прикрепить мирный договор к острию копья и, подняв его высоко над головой, воскликнул: «Воззри, господи, на грамоту сию и на дела, содеянные ими!» Потом воткнул в землю перед собой чудотворный крест и воззвал к нему: «Если ты предашь меня в руки врага, да не поклонюсь я тебе веки».

...А затем наши азнауры передрались из-за первенства, и мы отступили. По пути сожгли Олтиси. Мы не успели ещё выступить из города, как доложили царю, что горит божий храм. Георгий лишь окинул взглядом объятый пламенем храм и, повелев Звиаду потушить пожар, тронул коня...

...Я скакал с ним стремя в стремя. Он наклонился ко

мне и сказал: «О, кто ведаёт, что хранится в том храме и чему поклоняемся мы!» И он последний раз обернулся на горящий храм.

Мамамзе встал, взял шлем и саблю Чиабера, положил их на стол — сказал Тохаидзе:

— Клянись, Шавлег, мстить вместе со мною за кровь Чиабера. Ты молочный брат Чиабери и вкушал с ним пидеверцхли<sup>1</sup>.

— Я поклялся над его могилой ещё тогда, когда ставил надгробный крест его предка. Не надо нам ни креста Христова, ни царя Георгия, ни спасалара Звиада, ни католикоса Мелхиседека. Мцхета и Уплисцихе — очаги лицемерия и двоедушия так же, как и Византион. Греки хотят принудить нас отречься от наших капищ и молиться в их церквах. Они разорили молельни наших предков, всунули нам в руки свои иконы и кресты. Греки хотят заставить нас забыть родной язык и говорить на их языке, забыть наше прошлое и изучать их историю, снять с нас наши одежды и надеть их платье. Стоит лишь перестать молиться их богу и заговорить о наших богах, как они бранят нас еретиками, язычниками и соглядатаями.

...Вот почему Колонкелидзе и я — мы хотели свергнуть царя Георгия и посадить на престол Чиабера. Мы заняли бы тогда Мцхета, осадили Уплисцихе, взяли бы крепости Тмогви и Фанаскerti. Царицу мы заточили бы в монастырь Бедиа, амира изгнали бы из Тбилиси, восстановили бы Армаз и Зедазени<sup>2</sup>, католикоса Мелхиседека и всех черноризных лазутчиков принесли бы в жертву над могилой Картлоса<sup>3</sup>. Но ты находился в плену в Мцхета. Не одобрял я твоей поездки в Мцхета на Новый год.

— Горе нам, — повторял Мамамзе и бил себя рукой по голове. — Ах, если бы вы осуществили свой план, царь Георгий обезглавил бы меня. Если бы не схватка с проклятым медведем, я сумел бы сбежать с охоты.

— Георгий — враг Византии, но он не всегда твёрд, колеблется между католикосом и Фарсманом Персом. Некоторые думают, что Георгий заботится о судьбе икон, поверженных Колонкелидзе. Нет, не это, а возможность же-

---

<sup>1</sup> По обычаю грузинских горцев в знак побратимства соскабливают с оружия серебро в чашу и пьют из неё.

<sup>2</sup> На горах Армаз и Зедазени были устроены в старину капища того же названия.

<sup>3</sup> Картлос — согласно древнейшим преданиям, считался родоначальником грузин.

нитьбы Чиабера на Шорэне бесила его. Три года назад он впервые увидел Шорэну на престольном празднике в Мцхета. Он забыл свой сан, бросил царицу и католикоса со свитой и, как мальчишка, бегал за нею и Чиабером. Когда мы собирались уезжать, он бросился к Шорэне, посадил её на коня и, скрываясь за конём, приподнял ей подол платья и поцеловал ногу. Чиабер не видел этого, так как в это время тоже садился на коня. На похоронах Чиабера я следил за царём. Он только и глядел что на скорбную Шорэну. А на сороковой день приехал на поминки, чтобы снова увидеть её.

Эристав Мамамзе встал и взял в руки саблю Чиабера. Он вонзил её остриём в стол, покрытый ковром, и обратился к Тохайдзе:

— Клянись мне, Шавлег, отныне жить для того только, чтобы мстить царю Георгию за кровь Чиабера.

— Клянусь святыней моих предков отрубить, как змее, голову Георгию, — произнёс Шавлег Тохайдзе и поднял вверх свою косматую чёрную десницу.

Мамамзе вспомнил свой сон.

На другой же день он послал Шавлега Тохайдзе к Колонкелидзе сообщить ему подробно обо всём. Условились, что Колонкелидзе разрушит церковь и иконы, затем спустится в долину Арагвы, и они соединёнными силами осадят Уплисцихе и Мцхета.

В тот же день Мамамзе вывел Бордохан из тёмной землянки, снял с себя траур и сказал жене, что выдаёт дочь Катарь замуж за Шавлега Тохайдзе.

Взволновалась Бордохан, вспомнила она про желание царя, переданное ей Мелхиседеком, и осмелилась возразить мужу:

— А что же скажет царь?

— Царю отвечу я сам.

## XV.

В лунную сентябрьскую ночь из бойницы крепости Мухвари дозорный заметил всадника, беспощадно гнавшего коня по направлению к Мцхета.

Дозорный поднялся на вышку и тихо свистнул.

Три тени с копьями в руках выступили из ворот крепости навстречу всаднику.

Неизвестный на взмыленном латном коне потребовал начальника крепости. Его ввели в помещение; он поразил

всех своим видом: в монашеской одежде, облепленный репьем, — репей был у него даже на шапке, в волосах, усах и бороде, — он походил на лешего.

Он хотел говорить наедине с начальником крепости.

Когда начальник удалил караульную охрану, неизвестный снял папаху, и на голове его блеснул шлем. Он обнажил голову, вытер пот со лба. Под его монашеской рясой поблёскивал панцырь.

Начальник крепости удивился монаху в рыцарских латах.

Неизвестный требовал, чтобы его немедленно провели в город и сегодня же допустили к Звиаду спасалару.

Звиад поздно вернулся из Уплисхихе. Но его разбудили, так как монах отказывался говорить с другими.

Это был лазутчик спасалара, настоятель Цхракарского монастыря, Серапион.

— Талагва Колонкелидзе вьюшь повёл дружины дидойцев и галгайцев на Пхови, — сообщил он, — сжёг иконы и кресты, разрушил церкви, а священников и монахов кого повесил на колокольнях, кого побросал со скал. Ночью он поджёг храм в Цхракари.

Серапион по верёвочной лестнице спустился с утёса и бежал лесом под покровом ночи. В Херки ему дали коня, и вот он прискакал в Мцхета. С большой дружиной собирается Колонкелидзе спуститься в Арагвское ущелье. Силы кветарского эристава в этом году вдвое превосходят прошлогодние.

Лазутчик не мог ничего сообщить о намерениях Мамамзе. Знал он лишь о том, что Мамамзе выдаёт свою дочь Катай за Тохансдзе.

Георгий со своим двором пребывал в Уплисхихе, и поэтому Звиад на другой же день направился туда.

Царь созвал коронный совет.

Во все эриставства были разсланы гонцы и скороходы. К девятому октября должны быть стянуты готовые к походу войска.

До глубокой ночи заседал совет. Было решено немедленно выступить Звиаду спасалару на Пхови, а через шесть дней сам царь поведёт остальные войска.

Звиаду было предписано выслать передовой отряд, который, обойдя Кветари с севера, закроет ворота в ущельях пховских гор и дойдёт до крепости Торгвай.

Ему же было приказано по возможности избегать кровопролития, от крепостей брать заложников, не разрешать

грабить даже передовым отрядам, брать добычу только доспехами и оружием и отпускать на волю захваченных в плен священнослужителей и монахов. Войско Звиада должно следовать за передовым отрядом и не начинать осады Кветарской крепости до прибытия царя.

Царь знал, что Звиад спасалар не пощадит целой дружины для взятия неприступной Кветарской крепости.

Георгий учитывал и то обстоятельство, что если не выманить Колонкелидзе из крепости, то он запрётся в ней, и тогда зимой в горах войска без провианта не смогут длительно, до весны, осаждать крепость.

Звиад был доволен, что предположения, высказанные им царю и Мелхиседеку, сбылись, — нет, никогда не выпрямить собачьего хвоста. План Звиада был такой: немедленно по вступлении в Пхови разрушить несколько крепостей, сжечь сёла, повесить хевисбери, нагнать на жителей страх и только после этого взять у запуганного населения заложников. И если Колонкелидзе выйдет ему навстречу, Звиад легко может запереть его в каком-либо ущелье и уморить голодом всех до одного мятежников.

Царь Георгий, трое эриставов и Мелхиседек не одобрили плана Звиада. Не стоило обострять отношения с населением — ожесточившись, народ ревностнее будет защищать Колонкелидзе.

Девятого октября к Уплисцихе были стянуты царские войска, дружины из Тао и Кларджети, ратники из Самцхе и Нижней Картли. «И поднял царь знамя, победоносно носимое Вахтангом Горгасалом» и передал его Звиаду спасалару. Он проверил «готовность войск к битвам и добротность их коней»<sup>1</sup>.

На следующий день до рассвета войска выступили из Уплисцихе и двинулись от Мцхета вверх по Арагве к Гудамакари.

Замок Корсатевела остался слева. У крепости Ларгвиса Звиад разделил войска на две части: начальником передового отряда, направляемого к северу, назначил Кахая — военачальника самцхийских дружин.

Кахай шёл справа от Цроли с целью занять перевалы пховских гор. Дружины Звиада должны были обогнуть крепость Очани. Если начальник крепости Очани даст за-

---

<sup>1</sup> Из летописи «Житие Грузин».

ложников, Звиад легко нагонит дружины Кахая, и тогда они, соединившись, пойдут дальше вместе до крепости Торгвай и, таким образом, сумеют отрезать от Пхови дидойцев.

## XVI

Ласково горело в ущелье осеннее солнце. Токование куропаток раздавалось на горных склонах. Стадами шли птицы вверх по склонам, шуршали в кустах полыни. Заберётся стадо куропаток на холм и застынет в ожидании, но закричит вожак — и взлетает вся стая, за ней другая, третья, и по всему глубокому ущелью разносится непрерывное кудахтанье.

Едет верхом по узенькой тропинке юноша в латах. Его стройную фигуру облегает пховская одежда, на голове — пховская шапка, за спиной висит щит, на левой руке сокол, свыше двадцати перепелов нанизаны головками вниз на ремень его, серебряного пояса.

Лошадь вяло мотает головой. Устало трусит по тропинке. Сокол водит хищными глазами по сторонам, прислушивается к кудахтанью куропаток.

Беззаботно напевает юноша в латах, подымаясь в гору.

Х'арало, Хариаралуу.  
Х'арало, Хариаралуу...  
Нет, не смирить до конца  
Волка, орла, хабреца...  
Х'арало, Хариаралуу...

За ущельем по тропинке, идущей в гору, едет верхом по самому краю скалы женщина в пховском платье. Она резко осаживает лошадь.

— Константинэ! Х'ау. Константинэ! — кричит женщина.

Притеняя глаза ладонью, она оглядывает плоскогорье, раскинувшееся на западе, снова поворачивается к ущелью и зовёт во весь голос:

— Константинэ! Х'ау. Константинэ-э-э...

Х'арало, Хариаралуу,  
Волк не оставит в покое овец.  
Удаль проявит хабреца.  
Х'арало, Хариаралуу...

Юноша пел, неторопливо поднимаясь по тропинке. Шумела река на дне ущелья, кричали куропатки, а юноша всё напевал:

Х'арало, Хариаралуу.  
Удаль проявит храбрец,  
Будет орёл наповал  
Бить свои жертвы меж скал.

Испугавшись крика женщины, стадо куропаток, повернувшись обратно, метнулось под гору и, озабоченно клохча, исчезло с гребня горы.

Стая ворон с карканьем поднялась с развалин ближайшей молельни и закружилась в воздухе, покрыв чернильными пятнами небо.

Юноша перестал петь и прислушался к зову женщины.

— Торопись, гони лошадей!.. — кричала она и махала ему рукой.

Юноша погнался за лошадью, но на руке у него сидел сокол, и он не мог пуститься вскачь. Женщина стала звать его ещё настойчивее, и он пришпорил лошадь, придерживая правой рукой сокола.

Женщина подъехала к самому краю утёса и стала наверху над головой едущего по подъёму юноши.

— Гони лошадь, сообщи в крепость Очани, что идёт царское войско. Потом скачи на Кветари и извести эристава, чтобы поспешил на помощь крепости Очани! — пронзительно прокричала она.

Юноша передал ей сокола, ласково погладил его от шеи до хвоста, поправил ему перья, показал, как усадить его на левую руку. Снял с пояса ремень с перепёлками и передал женщине.

Сокол нахохлился и метнул янтарными глазами на своего нового хозяина.

— Я не могу поспеть за тобой, сынок, кувшины побьются у меня в хурджини<sup>1</sup>. Путь держи покороче, через Воронью балку.

Юноша приподнялся в седле, встал на круп лошади. По той стороне ущелья, вдоль гребня, двигалось войско. Шлемы сверкали на солнце. Он бросился в седло и погнался за лошадью.

Женщина сняла с головы платок, осторожно завернула в него сокола, оставив открытой лишь голову, сунула его за пазуху, ремень с дичью подвязала к поясу и тронула загнанную клячу.

---

<sup>1</sup> Хурджини — перемётная сума.

## ХVII

Как только показалась крепость Очани, Звиад снова разделил своё войско на два отряда; предводителем одного он поставил Фанаскертели, дворянина из Тао, командование другим отрядом взял на себя. Фанаскертели должен был обойти крепость с севера, со стороны священной рощи.

Звиад знал заранее, что пховцы никогда по собственной воле не вступят в священную рощу. Он с войском двинулся по ущелью и, поровнявшись с Очанской крепостью, начал быстро подниматься вверх.

Если им дадут заложников, они пойдут дальше, если же нет, они клещами зажмут врага.

С севера к Очанской крепости подступали холмы, с запада и востока — неприступные скалы, с юга — чуть покато́е плоскогорье, которое замыкалось руслом высохшей горной речки. Вдоль русла рос редкий лес, местами заросший шиповником и колючим кустарником.

Ущелье было столь глубокое, что всадник легко мог в нём скрыться. Ратники, поднимаясь вверх по ущелью к плоскогорью, могли ехать лишь тропинками, протоптанными скотом.

Звиад неоднократно бился с сарацинами и по опыту знал, что если в тылу конницы, атакующей врага, находится овраг, то это удерживает её от отступления. Сарацины даже искусственно рыли такие овраги. На этот раз сама природа помогала полководцу.

Звиад приказал каждому второму всаднику оставить коня в овраге и пешим следовать за конным товарищем — одним с копьями, другим с арканами и третьим с пиками.

Спасалар учитывал преимущество горцев; он знал, что пховцы и дидойцы сидели на крепконогих горских конях.

У него было правило: при сражениях с конницей поражать прежде всего коней врага копьями или ловить их арканами.

Раньше чем Константин успел доскакать до Очани, начальник крепости узнал уже от бирючей о приближении войска спасалара. Едва дозорные заметили вступивших в ущелье врагов, как в крепости Очани ударили в набат. На террасах башен развели костры. Дружина выступила на встречу врагу.

С севера через священную рощу хрались ратники Фанаскертели. Войско Звиادا не могло остаться незамеченным в редком вязовом лесу.

В одно мгновение плоскогорье заполнилось всадниками пховцев и дидойцев. Дидойцы первыми встретили грудью вражеских всадников. Они перебили коней у передового отряда. Вязовый лес и заросли мешали развернуться битве, и ратники Звиада не могли пустить в ход шашек.

Узкое ущелье заполнилось всадниками Звиада.

Тропинок, ведущих на взгорье, было мало, и всадники наскакивали друг на друга. Дидойцы встречали их на подъёмах и беспощадно били людей и коней.

Пронзённые стрелами и копьями, падали всадники, скатываясь в пропасть. Напуганные кони становились на дыбы и со ржанием бросались с утёсов.

Откуда-то налетело вороньё, заполнило всё ущелье и с зловещим карканьем расселось на деревьях.

Ржали кони без всадников, неслись стоны раненых, дико кричали пховцы и дидойцы.

Под спасаларом ранили коня. Едущий позади его оруженосец очутился рядом с полководцем. Он копьём ударил дидойского стрелка, Звиад сбросил его с уступа.

Дрогнул фланг идущей в гору джаваховской дружины, всадники повернули коней к ущелью.

Тогда разгневался Звиад спасалар, «крикнул ратникам, затрубили царские дружины и ринулись, яко звери, вперёд»<sup>1</sup>.

Пешие дружины из Самцхе прошли подъём, поднялись на плоскогорье и снова сели на коней. Джаваховцы обнажили шашки и атаковали врага. Пховцев и дидойцев погибло без числа, полегли рядами вокруг крепости Очани братья, обречённые своими же братьями на смерть.

Вновь затрубили трубы царского войска. Правый фланг ринулся вперёд и занял высоту, ведущую к крепости.

Пховцами командовал хевисбери Гудушаури. Он стоял на одном из холмов, когда ему сообщили, что ратники Фанаскертели идут священной рощей.

Зная, что пховцы не вступят в священную рощу, он направил туда большой отряд дидойцев. Ратники Фанаскертели не прибегали ни к пикам, ни к копьям. Выйдя из леса, они мгновенно бросились с саблями на вражеских всадников, встретивших их на просеке.

Дидойцы были поражены, увидев, что их сабли ломались, как ледяные сосульки, от харалужных мечей дружины Фанаскертели.

---

<sup>1</sup> Цитата из летописи «Житие Грузин».

Гудушаури хотел было итти со своей дружиной на помощь дидойцам, но те дрогнули и повернули вспять своих коней. Дружина Фанаскертели направилась прямо к первой башне крепости.

Гудушаури понял, что, если он будет медлить, войска Звиада окажутся у него в тылу, и потому, обнажив саблю, с пятьюстами всадников ринулся прямо на войско Звиада.

Отряд из Тао вступил в бой с хевисбери.

Тогда пришпорил Звиад спасалар своего громадного жеребца и бросил его грудью прямо на малорослого черкесского коня хевисбери. Но Гудушаури уклонился и замахнулся саблей на спасалара. Звиад мечом отбил удар его сабли, и в руках хевисбери остался лишь её черенок. Не успели подать хевисбери новую саблю, как Звиад рассек его по пояс вместе со всеми доспехами.

Ринулся на спасалара сын хевисбери Торгвай, но изменил ему горячий его конь. Торгвай промахнулся и отсек у жеребца Звиада лишь ухо.

Пховцы, увидав, что мечи царских ратников рассекают кость и сталь, повернули вспять и поскакали к священной роще.

Царские войска выбили ворота крепости. Начальник крепости попросил перемирия. Он обещал Звиаду заложников.

В ту же ночь обезглавили начальника крепости и труп его повесили на крепостной башне.

Звиад взял добычу — доспехи и оружие и разрушил до основания крепость Очани.

С рассветом двинулся он дальше вдоль ущелья, на Кветари, не встречая сопротивления.

По пути его встречали пховцы хлебом-солью, а хевисбери являлись с покаянной верёвкой на шее и просили мира.

Разъярённый спасалар приказал вешать их на колокольнях на тех же верёвках, которые надевали они на себя в знак покорности. По пути он брал пленных и добычу — доспехи и оружие и принимал заложников от хевистави<sup>1</sup>.

Казалось, что войска Звиада шли к Кветарскому замку. Он нарочно не сходил с дороги, ведущей прямо на Кветари, чтобы нагнать страх на эристава.

Ещё до прибытия Константина Арсакидзе Колонкелидзе

---

<sup>1</sup> Хевистави — дословно: главарь ущелья, начальник войска.

узнал от лазутчиков о вступлении царского войска в Пхови. За три дня до этого Мамамзе и Тохаисдзе известили его, что царь и Звиад идут на него с войском. Встреча эристава с Звиадом намечалась в Гудамакари. Но тут произошло следующее: Мамамзе и Тохаисдзе условились присоединиться к повстанцам лишь в том случае, если Колонкелидзе успеет вступить в Арагвское ущелье.

А теперь, когда спасалар опередил Колонкелидзе, они отказались от поддержки мятежников, ибо знали: Звиад сравняет с землёй замок Корсатевела, следуя мимо него со своим войском.

Колонкелидзе предполагал так: войска Звиада подойдут к Кветари уже обессиленные упорными схватками с дружинами хевистави и хевисбери и сопротивлением крепостей, стороживших ворота в ущелье. Тогда он выступит из замка и даст решительный бой в его окрестностях.

Если успех будет на стороне врага, он снова запрётся в Кветарском замке. Зима станет его союзницей, и царские войска, оставшиеся без продовольствия, не смогут продержаться под стенами крепости до весны.

Но падение Очанской крепости, поражение дидойцев, появление передового отряда Кахая, закрывшего доступ в горы, и, наконец, появление у врага мечей, режущих кость и сталь. — всё это нагнало ужас на Колонкелидзе.

Он собрался было уже выслать к Звиаду заложников, но в это время из Уплисцихе прибыли к нему скороходы и известили, что царь со свитой и большой ратью направляется к Кветари. Царь требует выдачи заложников и заключения мира для того, чтобы затем сообща пойти против кахетинского хорепископа<sup>1</sup>.

Талагва знал, что «бесстрашен Георгий, словно дух бес-телесный», в борьбе с внешними врагами, но избегает кровопролития в эриставствах. Правда, Звиад всегда настаивал на жестокостях, но зато царя поддерживал своими добрыми советами католикос.

Вот почему Колонкелидзе предполагал, что если Звиад покорил Пхови, обратил в бегство дидойцев, то царь не захочет продолжать кровопролитие и помирится с ним.

Ведь простил же он однажды мятеж обоим эристам и наказал их лишь карой креста животворящего.

---

<sup>1</sup> Хорепископами, или корикосами, назывались епископы-феодалы, владевшие землями в Кахетии.

## XVIII

Совсем другим путём шло войско царя. Царь переночевал в крепости Ларгвиси и утром подошёл к замку Корсатевела. Мамамзе и Тохаисдзе вышли ему навстречу с большой свитой.

Мамамзе по-отцовски обнял Георгия и, по обычаю, приложился к его правому плечу.

Бордохан попросила царя переночевать в замке. Он любезно отклонил её просьбу и пообещал остановиться у них на обратном пути из Пхови.

— Дочь выдаёте замуж, Бордохан-батано? Мне передавали, что скоро свадьба.

Бордохан смутилась и отказалась наотрез:

— Государь мой, рано девочке замуж, всего лишь двенадцать лет моей Катай.

После завтрака царь с войском двинулся дальше. Перепуганное население бежало в неприступные горы. В опустевших сёлах оставались лишь старики, больные и собаки.

На колокольнях продолжали висеть хевисбери. Церкви были опустошены, священники и монахи, оставшиеся в живых после мятежа, бежали в Мцхета.

У входа в ущелье валялись трупы царских бирючей. Беркуты клевали их обезображенные тела, наполовину уже съеденные хищниками.

Скорород, посланный Звиадом, нагнал царя у Гоимзварэ. Спасалар извещал, что Колонкелидзе выдал заложников, что дидойские и галгайские мятежники оттеснены за пховские горы, что ратники Кахая обложили крепость Торгвай и что в Цхракари он будет ждать распоряжений царя.

Георгий послал скорохода Ушишараисдзе передать Звиаду, что, когда он получит царский приказ: «Иди на Панкиси», это будет означать, что царь его ждёт в Кветарском замке, куда Звиад должен поспешить во главе своей дружины.

Когда царские войска миновали Гоимзварэ, Георгий приказал выслать вперёд знаменосца. Двенадцать латных рыцарей сопровождали знамя. За царём ехали триста стрелков. Свыше двух тысяч ратников следовали за его свитой, но они ещё не успели вступить в Гоимзварэ.

Аробная дорога шла под гору и терялась в глубине ущелья. Начались густые каштановые леса, через дорогу то и дело перебегали лисицы.

Царь заметил, что из глубины ущелья выехали всадники в латах и, поровнявшись с знаменосцем, быстро спешили и приветствовали его по рыцарскому обычаю; затем они вновь сели на коней и направились к свите Георгия.

Георгий узнал Колонкелидзе. Горная тропа была так узка, что не видно было, сколько ратников сопровождает эристава.

На расстоянии полёта стрелы Колонкелидзе и его свита вновь спешили и с большой почтительностью приветствовали Георгия и его свиту.

Когда Колонкелидзе со склонённой головой подошёл к царю и приложился к его руке, тот нехотя улыбнулся.

Колонкелидзе стал смелее, заметив рядом с царём Мамамзе и начальника его замка — Тохансдзе.

Он обвёл взглядом свиту царя и пожалел, что выехал навстречу Георгию с такой небольшой свитой, — ему показалось, что царя сопровождают всего лишь триста всадников. Каштановый лес мог служить хорошим прикрытием, чтоб устроить засаду против царской дружины.

Дорога пошла в гору. За это время их догнали передовые отряды царских войск. Тут Колонкелидзе огорчился, ему стало не по себе. Сколько же тысяч ратников идут за царём?

Беседа царя не внушала тревоги.

Был тихий, солнечный вечер. Дружное фыркание коней, однотонный шум горной реки, синева высоких гор, подпирающих небо цвета медного купороса, — всё это располагало к мирной беседе. Георгий, Колонкелидзе, Мамамзе и их свита вели такой непринуждённый разговор, словно они забыли, что сошлись в этом ущелье для того, чтобы сразиться друг с другом.

Колонкелидзе был приятным собеседником. Невысокого роста, худой, но мужественный с виду, с лёгкой проседью в бороде, он выглядел молодожавым; юношески светились его медовые глаза.

Царь несколько раз окинул его взглядом. Он припомнил вечер престольного праздника в Мцхета, когда Колонкелидзе соревновался с Шорэной в верховой езде, — они больше ходили на брата с сестрой, чем на отца и дочь.

Падали каштаны с ветвей, нависших над дорогой, где-то в горах трубил самец-олень. Белки метались по сучьям высоких пихт.

Царь умышленно пришпорил коня. Колонкелидзе последовал за ним, и когда они опередили свиту, эристава осто-

рожно завёл беседу о «печальном недоразумении»; он всё сваливал на «чернь» — дидойцев и галгайцев и, говоря это, не сводил с царя ласковых глаз.

С великой благодарностью говорил он о спасаларе, о том, как тот прогнал эту «чернь» за пховские горы, и тут же, как бы мимоходом, пожаловался, что хотя спасалар и взял заложников, забрал добычу доспехами и оружием, но всё же повесил хевисбери.

Георгий молча посмотрел ещё раз на него, потом остановил лошадь, подозвал скорохода и велел срочно передать Звиаду отныне не трогать хевисбери, немедленно покинуть Цхракари и ждать его в Панкиси.

Упоминание о Панкиси ещё больше утвердило эристава в надежде, что царь через Панкиси хочет идти войной на кахетинского хорепископа.

Утешало Колонкелидзе ещё одно обстоятельство: он знал, что царь влюблён в Шорэну.

Знал он и о том, что царь не ладил с царицей.

Вспомнил о том, что рассказывала ему Гурандухт: прислужницы видели, как на поминках Чиабера царь тайком засматривался на Шорэну.

Рассказ Тохаисдзе совпадал с его расчётами. Георгий заставил Фарсмана отравить крест, чтобы убить этим крестом Чиабера. А затем он разведётся с царицей и женится на Шорэне.

В эту минуту Колонкелидзе твёрдо поверил, что царь приехал к нему, чтобы сватать Шорэну. А если всё это правда, то приезд Мамамзе и Тохаисдзе мог ему только помешать.

Если Георгий в самом деле разведётся с царицей и женится на Шорэне, Колонкелидзе готов помочь ему в борьбе с кахетинским хорепископом. Родство с царём открывало честолюбивому эриставу новые возможности. Всё это казалось ему естественным и понятным, и он с радостным сердцем ехал впереди гостей.

Колонкелидзе послал скорохода в Кветарский замок с приказом приготовиться к встрече царя и его свиты.

Навстречу гостям вышли начальник крепости, семь хевистави и тринадцать хевисбери. Супруга эристава Гурандухт и дочь Шорэна с приближёнными и слугами встретили гостей у ворот замка.

Двести пятьдесят волов, семь оленей и свыше трёхсот овец закололи в тот вечер в замке эристава.

До начала пиршества царь и эристав некоторое время бе-

седовали наедине, после чего совещались в присутствии пяти гаиских азнауров, начальника крепости и трёх хевистави.

Решили, что царь и эристав на следующий же день выступят на Панкиси и оттуда пойдут осаждать кахетинские крепости.

Царь надел эриставу на большой палец кольцо с рубином. Он подарил ему серьги, рыцарский византийский пояс, шлем и кольчугу, трёх латных коней, знамя и копье. Обещал мир, на веки веков нерушимый, и полную неприкосновенность Кветарского эриставства.

Колонкелидзе пригласил царя во двор посмотреть на стадо оленей, которое он держал в загоне во дворе замка.

— Мы их режем во время осады крепости, а в мирное время размножаем, — весело рассказывал хозяин гостю.

Сверкающими глазами смотрел царь на прекрасных животных. Самки и самцы, вытянув шеи, закинули головы, чтобы посмотреть на пришедших; над стадом заколыхался целый лес рогов. Оленята, сохранившие ещё природную пугливость, робко прятались меж ног покорных матерей. Лишь одна, самая красивая, самка, львиного цвета, стояла в стороне под калиной, гордо закинув голову. Георгий приблизился к ней. Не трогаясь с места, она взглянула на него своими прекрасными гишеровыми глазами.

Георгий протянул ладонь.

— Тпучи, тпучи, — позвал он.

Олениха подошла ближе, посмотрела на протянутую руку и лизнула её своим шершавым языком.

— Это любимица Шорэны, Небиера, она сирота. Шорэна сама воспитала её, — рассказывал Колонкелидзе.

Георгий перевёл взор на рослого красивого оленя.

— Семьдесят дойных самок у меня. Двенадцать пар завтра же пошлю тебе в Мцхета, — сказал эристав царю.

Никогда не завидовал Георгий чужому добру и не желал ничего чужого, но никогда ещё ему так сильно не хотелось иметь это стадо оленей, стадо оленей и Шорэну...

«Шорэна не будет принадлежать другому. Чиабера нет больше в живых. А олень стадо? Олень стадо... Посмотрим, что произойдёт сегодня ночью...»

Царь в упор глянул в медовые глаза Колонкелидзе. Ни тени хитрости не уловил он в них. Повидимому, и в самом деле эристав хочет послать в Мцхета двенадцать пар оленей.

Приступили к ужину. Слуги внесли шёлковые фитили, жир и зажгли светильники. Георгием овладело беспокойство, ему хотелось, чтобы Звиад подоспел до начала пиршества.

Что если скорохода Ушишараисдзе перехватил в пути какой-нибудь хевисбери?

Ушишараисдзе был испытан в боях. Он не выдаст тайны, даже если его вздёрнут на дыбу, но планы Георгия и Звиада могут не осуществиться.

«Если Ушишараисдзе не доберётся до Цхракари или если Звиад примет всерьёз условный приказ Георгия и пойдёт с войсками на Панхиси, что тогда? Если же гонец благополучно добрался до Цхракари, то почему опаздывает Звиад?»

Георгий не знает, что готовит ему и его свите этот хитрый эристава. Ведь он может отравить вино или оленину.

Беспокоился он ещё и потому, что не хотел вкушать хлеб-соль в доме врага.

Вслед за ужином последовало пиршество. Когда выпили за здоровье Георгия, Шорэна подала царю турий рог с вином для ответного слова.

Нравилась царю дочь эристава.

Созрела Шорэна, её девичью стройность не портила женственная округлость и зрелость форм. Лёгкая бледность ещё покрывала её щёки. Траур она сменила на бледно-жёлтое платье из иранского шёлка.

Она стала немного выше ростом, полнота груди и бёдер напоминала ту округлость, какая бывает к концу виноградного сбора у перепёлки, мелкокостной и пухлой птички.

Царь украдкой глядел на сидевшую рядом с ним девушку и соколиным мужским взглядом видел, что скорбная молодая невеста дошла до той грани, когда женская природа преодолевает скорбь и даже траурным одеянием кокетливо подчёркивает свою красоту.

Ещё раз взглянул он на Шорэну. Невозможно было совместить какое-либо вероломство со взглядом её прекрасных, невинных синих глаз. Он поймал в них лишь ту же природную пугливость, которую видел в глазах оленей.

Взял рог и взглянул на её руки, белые, как сердцевина миндаля.

«Из таких рук сладко выпить даже отраву», — подумал он и опорочил рог.

И вспомнил вдруг, как Чиабер в замке Корсатевела отравил царя аланов.

Внезапный страх сковал Георгия.

Но он быстро овладел собой. Радость охватила его от ощущения собственного тела, от возможности двигаться. Ему захотелось слышать свой голос.

— Талагва показал мне твою олениху Небиеру, — обратился он к Шорэне.

Шорэне было приятно, что её олениха понравилась царю. Удивилась она, что он запомнил кличку. Хотела что-то ответить, но звук застрял в горле, и она стыдливо потупилась.

Царь давно не слышал её голоса и снова заговорил с ней:

— Талагва говорил, что твоя олениха сирота, где же её мать?

— Мать сбежала в этом году осенью, в трубную пору. Самка легче самца переносит плен, особенно после того, как отелится. Но мать Небиеры была не похожа на других оленей. Дидоец привёл её к отцу три года назад. Мы старались приручить её и не могли. Я кормила её из своих рук, давала ей соль, но она всё стремилась в лес. Невыносимым призывным мычанием трубят они осенью; я не сплю тогда все ночи. Мать Небиеры трубила днём и ночью. Она не прикасалась к пище, а под конец даже и пить перестала. Мы испугались, как бы она не умерла от горя. Отец приказал охотникам взять её на привязи в лес и дать ей испить из солёного родника. Душераздирающим криком встретила она родные горы. Приникла к источнику и, утолив жажду, ещё раз протрубила, наострила уши и бросилась с утёса.

— А как же охотники? — спросил Георгий.

— Один успел отпустить верёвку, другой же, дидоец, свалился за ней в пропасть.

— Вот как тяжело терять свободу, — сказал Георгий и посмотрел прямо в глаза девушке.

— А ты охотишься? — спросил он снова.

— Да, конечно.

— На кого?

— На серну, козулю.

— Оленя когда-нибудь стреляла?

— Оленя пока не стреляла.

— Одна ходишь в горы?

— Нет, с отцом, а когда он занят — с Арсакидзе.

— А кто такой Арсакидзе?

— Мой молочный брат.

От вина порозовели щёки царя. Утомлённый верховой ездой, он с аппетитом ел оленьи вымя (он любил шашлык из оленьего вымени). Шорэна вся сияла. Георгий испытывал величайшее счастье от её близости, и в этот миг ему хотелось быть простым азнауром, и он предпочёл бы, чтобы скорохода Ушишараисдзе в самом деле перехватил какой-нибудь хевистави и чтобы Звиад с войском ушёл в Панкиси.

В эту минуту вошёл скороход Ушишараисдзе. Низко склонившись, он приблизился к царю и доложил: «Сейчас прибудет Звиад».

Царь вспыхнул, но вмиг овладел собою.

Колонкелидзе сидел в конце стола. Упоминание о Звиаде неприятно поразило его слух. Он удивился: ведь Звиад должен был идти на Панкиси.

В залу вошёл Звиад в сопровождении тридцати копьеносцев.

Это поразило Колонкелидзе: Звиад обязан перед царём предстать с мечом, но неслыханно, чтобы в палату, где находился царь, входили вооружённые воины.

Дальше произошло нечто неожиданное.

Латники стали в дверях, а Звиад направился прямо к хозяину замка и, не приветствуя его, твёрдым голосом объявил:

— Именем царя царей грузин и абхазов Георгия приказываю тебе сдать мне ключи от крепости.

Георгий опустил голову.

Колонкелидзе взглянул на сидящего против него царя, побледнел сначала, затем покраснел, хотел встать, но косматая рука Звиада сдавила его плечо с такой силой, что Колонкелидзе не мог даже пошевелиться.

Безоружные пховские витязи повскакали и бросились к дверям, но воины Звиада преградили им путь.

Шорэна громко вскрикнула и бросилась к царю, который поднялся с места.

— Помилуй отца, прости его ради меня.

Но, не видя ни малейшего знака сочувствия на нахмуренном лице царя, она с рыданьем бросилась к его ногам.

Царь наклонился, поднял её, как ребёнка, и уже бесчувственную уложил на тахту, покрытую подушками.

Он повернулся и хотел выйти из зала. К нему кинулась Гурандухт и обняла его колени.

— Не губи семью мою. Прости в последний раз Талаг-

ву! — умоляла она. — Я, и мой несчастный супруг, моя единственная дочь будем вечными твоими слугами.

Она целовала полы его одежды.

Царь помог встать супруге эристава. Мягко отстранил её и сухо сказал:

— На войне распоряжается спасалар, он не спрашивает меня.

Воины Звиада связали Колонкелидзе, начальника крепости, трёх хевистави и семерых хевисбери.

А в это время в коридорах дворца, в главной крепости, на кровлях башен шла рукопашная схватка.

С крепости во двор летели трупы воинов, ревело оленьё стадо, трещали ворота и двери, металась отара, стонали раненые воины, кричали латники, ржали кони.

В коридорах сновали светильщики, за ними велась настоящая охота, — все хотели завладеть светильниками, чтобы отличить своих от чужих.

До утра длилась суматоха. Никто не знал, кто будет к утру хозяином Кветарской крепости и её башен.

Ещё не погас на небе Марс, а светильщики были уже все перебиты, не стало светильников и факелов. Воины в темноте жались к стенкам, рукопашная схватка прекратилась.

С рассветом в Кветарском замке забили в набат. В войсках, осаждающих крепость, заиграли трубы.

Войска Звиада и тысяча царских ратников к полудню овладели всеми четырьмя башнями.

Начальника крепости сбросили со стены.

Во дворе крепости вбили четыре кола и развели костёр.

Трое ратников вывели из темницы избитого эристава и привязали его к кольям.

Затем появился одноглазый тбилисский палач Сагира. Борода его была всклокочена. Лицо иссечено кинжальными ранами.

Сагира достал из кармана две железные круглые пластинки, чуть побольше человеческого глаза, надел их на два стержня, положил в пылающий костёр и стал спокойно ждать, пока пластинки накалятся докрасна. Затем захватил их щипцами и так же спокойно приложил к обоим глазам Колонкелидзе, связанного по рукам и ногам.

Удивительное мужество проявил кветарский эристав: он только один раз кашлянул.

Шипели выжженные глаза, чёрная кровавая жижа сте-

кала по пылающим щекам и седеющей бороде Колонкелидзе.

Когда высохли обе глазницы, Сагира отнял от них пластинки, дал им остыть. Заботливо завернул их в тряпки и положил обратно в карман.

Страшно опухло и изменилось лицо Колонкелидзе. Он не походил уже на медовоглазого кветарского эристава.

По приказу Звиада, были разрушены все четыре башни.

Царь исполнил лишь одну-единственную просьбу Гурандухт: не тронул главную крепость, чтобы ослеплённый Колонкелидзе и его супруга могли окончить в ней свои дни.

Шорэну решили забрать в плен, чтобы Колонкелидзе, выдав её замуж, не стал мстить через зятя. Десять прислужниц во главе с Вардихар должны были, по приказу матери, сопровождать Шорэну.

Константина Арсакидзе, молочного брата Шорэны, который известил о наступлении царских ратников, связали по рукам. В плен взяли около трёхсот рабов. Вместе с Шорэной забрали все ценности из Кветарского замка, а также стадо оленей. Одну дойную олениху оставили Гурандухт.

Не оправдались надежды Тохансдзе. Он рассчитывал, что Колонкелидзе будет дальновиднее и, заманив царя и Звиада в замок, ослепит их обоих, а затем, объединившись с Мамамзе, разобьёт царское войско.

Он упрекал себя за то, что не отравил царя во время завтрака в замке Корсатевела. У него было приготовлено отравленное вино, но решимость изменила ему, — он предпочёл чужими руками загрести жар.

На крутом подъёме у лошади Мамамзе лопнула подпруга, и он отстал от войска.

Пока меняли подпругу, Тохансдзе успел шепнуть Мамамзе: — Пригласи в гости в замок Корсатевела царя и Звиада. Затем они оба галопом догнали царскую свиту.

Мамамзе попросил царя и Звиада провести эту ночь у него в замке. Спасалар был сильно утомлён. Он сначала согласился, но не успели они доехать до развалин крепости Очани, как у гостей изменилось настроение, они поблагодарили любезного хозяина и направились прямо в Уплисцихе.

Оленьё стадо поместили в Мцхета, в загоне царского дворца, Шорэну со свитой заперли в крепость Гартискари.

Константину Арсакидзе отвели келью на Санатлойской улице за развалинами древней базилики, где проживал Фарсман Перс.

## XIX

Георгию I было двенадцать лет, когда его короновали. Взамен ипрушек ему вручили государственный скипетр.

С византийским кесарем, Василием, он впервые столкнулся ещё в ранней юности.

Вернувшись невредимым с базианской войны, он послал католикоса к кесарю с предложением мира, — «наступил ногой на ковёр его», как говорили в тогдашнем Византионе.

Заложником в Византию он отдал сына своего Баграта. Византийский кесарь, так же как и царь Георгий, враждовал с именитыми феодалами. Патриций Ксифе восстал против Василия и вступил в союз с Никифором Кривошеем, сыном Фоки Барда<sup>1</sup>.

Георгий воспользовался этим и повёл переговоры с мятежниками. Он обещал им поддержку в борьбе с кесарем.

Фока и Ксифе посорились. Ксифе убил Фоку и, помирившись с кесарем, преподнёс ему голову врага. А Василий прислал голову изменника царю Георгию: «Не верю, дескать, тебе, клятвoprеступнику».

После этого Георгий жестоко поразил кесаря при Ухтике<sup>2</sup>. Выдающихся стратигов<sup>3</sup> и катепанов<sup>4</sup> оставили византийцы на поле брани и сверх того потеряли несколько тысяч стратиотов.

Неисчислимая добыча — доспехи, фаранги<sup>5</sup>, верблюды, ослы, камнемёты и тараны — досталась грузинским войскам.

Побеждённый кесарь бежал.

Комнен, правитель провинции Веспуракана, накануне битвы с сарацинами принял присягу от своих стратиотов в том, что они победят врага или умрут вместе со своим стратигом.

Лазутчики донесли на стратига Комнена, будто он нахо-

---

<sup>1</sup> Никифор Кривошей, Фока Барда и патриций Ксифе — византийские феодалы того времени.

<sup>2</sup> Ухтике (по-грузински) — нынешние Олты.

<sup>3</sup> Стратиг — византийский военачальник.

<sup>4</sup> Катепан — военный чин в Византийской империи, военачальник.

<sup>5</sup> Фаранга — полевой шатёр.

дится в заговоре с Георгием, царём грузин и абхазов, и добивается императорства.

Басилий схватил Комнена и ослепил его. Вместе с ним он выжег глаза у семи патрициев.

Лазутчики сообщили царю Георгию, что кесарь готовится к новой войне, собираются итти сушей и морем, что он спешно строит военные корабли.

Увлечённый борьбой с кесарем и желанием вернуть отнятые у Грузии провинции, Георгий забыл об единстве веры с Византией и начал переписку с сарацинским халифом Ал-Хакимом.

Ал-Хаким взошёл на халифский престол одиннадцатилетним мальчиком. Он прославился неслыханной жестокостью и беспощадным истреблением христиан.

Бешеного, неукротимого нрава был халиф Ал-Хаким. Он то гарцовал с блестящей свитой по заполненным народом площадям, то в ожидании божественных откровений бродил по пустынным горам Муккатамы, одержимый мистическими видениями. То его палачи рубили головы десяткам тысяч людей, то он щедро раздавал дары из царской казны. Он ждал, что подданные признают его божественность, и успокоился лишь тогда, когда секта друзей<sup>1</sup> объявила его «богом».

Династия Фатимидов<sup>2</sup> крепла. Возрождённый ислам захлёстывал границы Византии. Ал-Хаким бешено истреблял христиан и иудеев, неутомимо боролся с «собакой» — кесарем Василием.

В 988 году кесарь послал против него Давида Куропалата с войском и затем отправил domestика в Антиохию.

Ал-Хаким объявил «священную войну» против христиан. За этим последовало разрушение иерусалимского храма, сожжение монастырей и церквей на Синайской горе, в Антиохии и Египте.

Католикос Мелхиседек не одобрял союза царя Георгия с сарацинским халифом, так же как и враждебную Византии политику. Мелхиседек внешне подчинялся Георгию, но, будучи «наместником Христа» на земле, он верил нерушимо, что царь повелевает лишь землёй, тогда как Христос — повелитель земли, неба и преисподней.

Он ежегодно напоминал царю о сожжении олтисского храма царскими воинами и объяснял это святотатство царя «душегубительным влиянием» Ал-Хакима.

<sup>1</sup> Народность и одновременно религиозная секта в Сирии.

<sup>2</sup> Сарацинская династия.

Католикос вынудил царя взамен олтисской церкви построить в Самцхе три храма, но один из них был разрушен ударом молнии, а два других — землетрясением.

В том же году в день воскресения христового землетрясением был разрушен храм Светицховели, ранее того разорённый Абул-Касимом.

Мелхиседек настаивал, чтобы Георгий отпустил средства на постройку Светицховели. И, наконец, он добился согласия царя. Главный зодчий Фарсман Перс представил три проекта будущего храма.

По плану Фарсмана, новый Светицховели представлял собой храм-базилику с одним нефом<sup>1</sup>, фасад которого был перегружен иранскими барельефами: крылатыми конями, собаками, страусами, грифонами<sup>2</sup>. В стенных изображениях сказывалось влияние грузинского язычества: быки с закинутыми мордами и задранными хвостами и тотемским тавром на боках. Для отвода глаз меж рогами этих животных было нарисовано изображение креста.

Фризы вокруг купола и над главными воротами были украшены фигурами обнажённых юношей, возбуждённо-пламенных, как Пан, держащих в руках роги, полные вина; наготу этих юношей едва прикрывали виноградные гроздья.

В розетки и орнаменты окон были вплетены контуры спаренных змей.

Храм предполагалось расписать фресками, изображающими царей, первосвященников и ангелов.

Все три проекта были почти одинаковы. Мелхиседек отверг их и призвал греков-мастеров из Византии.

Опытный глаз Георгия заметил, что представленные ими чертежи храма обозначали возвращение к тем канонам, которые грузинское зодчество преодолело уже два века тому назад.

Дыханием пустыни веяло от фигур первосвященников, предназначенных украшать собою приделы храма. Страшная угроза всем человеческим страстям сквозила в фресках Страшного суда. Из пролёта купола бесстрастно взирал на мир Назарянин с иссохшим, израненным телом.

Больше всего возмутила царя Георгия фреска, где кесарь Василий, увенчанный нимбом<sup>3</sup>, передавал ключи святым

<sup>1</sup> Неф — в прямом смысле: корабль, лодка; здесь подразумевается одна из частей храма.

<sup>2</sup> Грифон — сказочное животное с головой и крыльями орла и телом льва.

<sup>3</sup> Нимб — ореол, сияние вокруг головы.

отцам церкви, направляемым для обращения Востока, тот самый Василий, который был прозван «собакой» не только сарацинами, но и грузинами, армянами и булгарами.

Георгий скрыл от католикоса свой гнев при виде этой фрески и молча вышел из зала.

Католикос стал подыскивать других мастеров, но в это время вспыхнул мятеж пховцев.

Чудо, явленное крестом древа животворящего, смутило царя Георгия и навело его на размышления. На глазах у него Фарсман Перс отравил крест, Чиабер был отравлен этим крестом, но Колонкелидзе остался невредимым.

Что если в этом случае действовал не яд Фарсмана, а кара самого креста?

Не мог он признаться католикосу в том, что крест был отравлен, и потому не стал расспрашивать его, куда именно прикладывались Чиабер и Колонкелидзе.

Смущало его также и ещё одно странное обстоятельство: в Мцхетском дворце у царя Георгия находилась серебряная литая икона святого Георгия, принадлежавшая некогда Давиду Куропалату. Икона была прикована цепью к стене в его опочивальне, так как истари в семье абхазских царей жило предание, что если эту икону не держать на цепи, то она снимется и исчезнет. Держал её на привязи Давид Куропалат в Уплисцихе и Баграт III в Кутаисском дворце.

Ещё задолго до пховского мятежа Мелхиседек и царский духовник были озабочены тем обстоятельством, что царь Георгий изо дня в день всё более остывал к делам веры. Во всём винили Фарсмана. История с девушкой Фанаскертели окончательно убедила католикоса в необходимости изгнания Фарсмана из дворца. Но для этого следовало раньше укрепить Георгия в делах веры.

Как раз в день возвращения больного католикоса из Пхови царица уехала в Абхазию, а царь с войском отбыл в Кветарский замок. Тёмной ночью царский духовник проник в опочивальню Георгия, сбил замок и снял цепь с иконы святого Георгия. Он украл её и отнёс в Нокорнский монастырь к схимнику Евдемону. При этом наказал: лишь месяц спустя возвестить о том, что икона сама прибыла в Нокорнский монастырь.

Царский духовник не ошибся в расчётах: вернувшись

из Кветари, царь был как громом поражён «бегством» святой иконы из дворца.

Призвали царского духовника. Царь заперся в опочивальне и всю ночь слушал чтение псалмов.

Вскоре католикос поправился. Заметив, что царь снова возревновал к вере, он приказал царскому духовнику читать царю библию и особенно книгу пророка Даниила, главу четвёртую, где говорится о том, как наказал господь Навуходоносора, царя Вавилонского, за разрушение иерусалимского храма.

Затем Мелхиседек сам занялся поучением царя. Он уверял его, что если царь выстроит Светицховели, то господь простит ему святотатство, содеянное им в Олтиси. Всё внимание Георгия в то время было поглощено постройкой крепостей. Тмогвская крепость была разрушена землетрясением. Надо было восстановить Клдекари, Кандацихе, Берцихе, крепость Бодоки, крепость Кабери, Колотквири и Ацквери, укреплённый город Одзрахо и Мгелцихе.

Нужно было торопиться с восстановлением крепостей Анакети, Фанаскерти, Болоцице, Кумурлуси и Тухариси, так как кесарь Василий мог подойти к крепостям Самцхе и Тао.

Помимо того, Фарсман обязался исправить отбитые у врага камнеёты и тараны и по их образцу построить новые. На всё это царю требовалось много средств.

И всё же его уговорили, и он, напуганный к тому же видением сожжённого храма в Олтиси, обещал католикосу выдать средства и рабов для постройки храма.

## XX

Тяжело легли кровавые кошмары войн и восстаний на юношеские плечи Георгия.

Известно, у кого не было радостного детства, чью юность отягощали заботы зрелого мужчины, тот всегда грустит об ушедшей молодости. Он легко теряет равновесие и старается возместить утраченное.

Георгий заболел меланхолией, человеконенавистничеством вкралось в его сердце. Рано наскучили ему длинные церемониалы царских приёмов и строгий этикет дворцового распорядка. Назойливо жужжали в ушах сначала нудные

наставления воспитателя, а затем царицы Мариам и католика Мелхиседека:

— Ты царь и должен...

— Ты царь и обязан...

— Ты царь и помни...

В такие минуты он не хотел быть царём.

Во время приступов меланхолии он, в сопровождении скорохода Ушишарансдзе и царского конюха Кохричидзе, уезжал из Мцхета за Сапурцле и, бросив коня под каким-либо дубом на понечение слуг, кружил по полям; оставаясь наедине с природой, он искал успокоения сердцу.

Два раза в году, в октябре, когда призывный крик оленя оглашает окрестности, и в пору перелёта журавлей, Георгий красил бороду хной, надевал льняную одежду и высокие сапоги, брал с собой друзей детства: сапожника Друисдзе Китесу, конюха Габриэля Кохричидзе, псаря Эстате Ломансдзе и, назвавшись Глахуной Авшанидзе, на целую неделю исчезал с ними из Мцхета. Они охотились в лесах Нареквави и в долинах Арагвы.

Ночь, проведённую с пастухами, предпочитал он тогда покою своей опочивальни, наспех зажаренные в лесу шашлыки — оленьему вымени, приготовленному для него дворцовым поваром.

В эти дни Георгий понимал, что мир создан не только для войны.

Густая чаща начиналась в те времена у крепости Гартискари, непроходимые дебри покрывали окрестности Сапурцле и Мисакциери.

По обе стороны Нареквавской балки тянулись необозримые болота, богатые дикими гусями и журавлями.

Как только утомлённые охотники располагались где-нибудь под холмом на отдых, Китеса доставал бурдюк с вином, наполнял бычий рог. Георгий пил из него спокойно, и мысль, владеющая им с детства, — не отравлено ли вино, — не приходила ему в голову.

В этих лесах не досаждали ему своим наглым лицемерием придворные, не подстерегал убийца и не карабкался на дерево, заметив царя, челобитчик со своей жалобой.

Три ночи подряд провели они на этот раз у костра под большим буком. Журавлиный лёт ещё не начинался, и лишь иногда на рассвете гоготали болотные гуси. Дикие индейки бродили по жнивью, галки призывали запоздавшую в горах зиму.

Охотники встали до зари. Журавлиный крик взбудоражил

их сердце. Большая стая журавлей опустилась на прогалину и стала щипать траву. Каждый из охотников подстрелил по три журавля. Солнце стояло ещё высоко, когда захотелось есть.

— Глахуна, сегодня твоя очередь, — сбегай подстрели гуся. Мы с Китесой приготовим вертелы, соберём хворост, а Эстате разведёт огонь, — сказал Георгию конюх Габриэль. — Только не уходи далеко, мы будем ждать тебя под этим деревом.

Георгий подчинился приказу старого охотника. Он пошёл по левой стороне болота.

Грустные мысли снова овладели им, когда он остался один. Стая гусей поднялась в воздух. Георгий выстрелил и промахнулся.

Птицы заманили его в чащу. С гоготом поднимались они над болотом. Галдели утки. Они словно смеялись над незадачливым охотником.

Он хотел повернуть обратно, но раздумал: было неловко возвращаться без добычи.

Навстречу шёл пастух, весь в грязи. Георгий спросил, как пройти дальше.

Он миновал топи, хотел повернуть к условленному дереву, но под самым его носом взлетел журавль чудесной расцветки. Крылья его отливали цветом турача, грудь алела, как цветок гвоздики, а шея была расписана полосами перепелиного цвета.

Георгий выстрелил. Тяжело поднялся журавль, пролетел несколько шагов и опустился в трясину. Георгий опять выстрелил. Журавль снова поднялся, но тут же упал. Охотник приблизился, готовясь снова пустить стрелу, но журавль, подпрыгивая на одной ноге, скрылся в зарослях. Затем он снова поднялся и перелетел большое расстояние.

Георгий погнался за ним. Это был редкий экземпляр. Не задумываясь, шагал Георгий по болоту, раздирая заросли, доходящие ему до пояса. Насторожённая птица перелетела на новое место. Наконец Георгию удалось убить журавля. Он повесил его к ремню и огляделся. Место показалось ему незнакомым. Вокруг простирались необозримые заросли тростника и кустарника.

У него не осталось стрел. Дикие кабаны шныряли мимо, продираясь сквозь чащу.

Перед глазами промелькнула перепуганная лань и, перескочив болотный родник, пронеслась мимо Георгия со страшной быстротой.

Георгий стоял на холме и следил за ней. Лань бежала в зарослях, закрывающих её всю. Лишь ушки её мелькали, точно птица, над морем рагозы.

Георгий пошёл дальше и набрёл на пруд, сплошь покрытый пеликанами, гусями и журавлями. С гомоном взлетели дикие птицы и грозовой тучей затуманили небо.

Георгий стал следить за полётом журавлиной стаи и вдруг на одной из остроконечных вершин Кавкасиони увидел храм, объятый пламенем. Пламя лизало купол церкви.

Георгий был потрясён, у него подкосились ноги, на висках выступили холодные капли.

Он протёр глаза и снова посмотрел на вершину: извивается над горой пламя, горит «божий дом», как тогда в Олтиси.

Он перекрестился и закрыл глаза. Потом повернул к югу, но не знал, куда идти. Местность была ему совершенно незнакома.

— А-у-у-у! — закричал он.

Никто не отозвался.

Смущённый, пошёл он вдоль болот и зарослей.

Ему казалось, что он превратился в вавилонского царя Навуходоносора, который разгромил Иерусалим и за это был изгнан людьми и, как корова, питался травой. Тело его покрывлось корой, волосы стали длинными, как львиная грива.

Только к закату солнца добрался Георгий до условленного ясеня, весь грязный и оборванный. Волосы и борода были облеплены репьем, щеки исцарапаны шиповником.

Охотники удивились: с детства не видели они Георгия таким бледным и взволнованным.

— Что с тобой, Глахуна? — спросил Эстате. — Уж не с лучшим ли ты повстречался?

Георгий отрицательно покачал головой. Указывая на север, он спросил:

— Вы видели, как вон на той вершине горела церковь?

— Церковь? — удивился Эстате. — Ты плохо спал вчера, Глахуна. Тебе померещилось. Там нет никакой церкви.

Охотники закусили и двинулись в путь.

Георгий предложил перейти на другую сторону дороги и поохотиться в Сапурцле. Все другие стояли за то, чтобы спуститься в Арагвскую долину.

После ночи, проведенной в лесу, и от хождения по болотам у Георгия разболелась раненая нога. В долине Арагвы ему придётся бродить по воде; подбитая птица мо-

жет ведь упасть и на другой берег реки. Но всё же он согласился с товарищами.

Был тихий осенний вечер. Вершины Кавкасиони кутались в облака. Горная цепь подпирала небесный свод.

Лёгкий туман поднимался от Арагвы и расстилался по фиолетовым лугам.

Охотники перевязали журавлей шейками и пустились в путь. Друзья заметили, что царь не в духе.

Первым вышел из леса Китеса, посмотрел на долину Арагвы и сказал:

— Помнишь, Глахуна, когда мы ещё были мальчиками, ты подстрелил журавля, а он поднялся и упал прямо на середину Арагвы?

— Как же не помнить, Китеса. Помню, — печально ответил Георгий и обвёл глазами долину, словно искал там свою молодость.

— Ты не послушался нас, Глахуна, и полез в реку за птицей. На плече у тебя висели два журавля. Пока ты плыл за новой добычей, река отняла у тебя убитых журавлей. Я и Габо бросились тебе на помощь, едва нагнали тебя вон за той дубовой рощей и за уши вытащили из воды. Журавлей унесла река. В Мцхета тебя привезли на арбе, а твой наставник сердился на нас и угрожал: «Не сносить вам, бесенята, головы, если бы царевич утонул».

— Ты позабыл, Китеса, что журавлей я всё-таки тогда поймал, — заметил Габриэль.

— Ты ошибаешься, — вмешался в беседу Эстате, — журавлей выловили плотовщики в Мцхета.

— Не стоит ссориться из-за журавлей, унесённых водой, — сказал Габриэль, улыбаясь.

— Да, умчала Арагва нашу молодость, как тех журавлей, — вздохнул Эстате.

— Арагва или время умчало её? — спросил Георгий.

Эстате посмотрел на Арагву.

— Смотри, — обратился он к Георгию, — там на двугорбой горе какой-то юноша карабкается на дерево.

Георгий ещё раньше него заметил юношу.

Он испугался. Неужели его узнали? Наверно, это какой-нибудь челобитчик.

Юноша поймал на клёне какую-то птицу, сунул её за пазуху, спрыгнул с дерева и вдруг исчез.

— Кто первым его заметил? — спросил Георгий.

— Я, — ответил Эстате.

— Откуда он мог здесь появиться и куда исчез?

— И я, по правде говоря, удивляюсь этому, — ответил Эстате.

Было ещё так светло, что если бы неизвестный юноша в красно-жёлтой чохе спустился в долину, охотники не могли бы его не заметить.

— Ты тоже его видел? — спросил Георгий у Габриэля.

— Видел.

— Китеса, и ты видел?

— Видел.

Они были встревожены; куда мог скрыться юноша у них на глазах?

Георгий не раз слышал от Фарсмана Перса про лесного беса, который показывается в долинах охотникам, заколдовывает у них стрелы и делает охотников беспомощными.

Эстате усердно уверял:

— Я видал, как он поймал птицу, дошёл до холма и там провалился сквозь землю.

Габриэль отличался храбростью, но бесов он боялся.

— Бесплезно искать сатану, осеним себя крестным знаменем и повернём к Сапурцле, — предложил он. И тут же рассказал странную историю.

— Помнишь, Глахуна, в прошлую субботу ты послал меня в крепость Херки?

— Как же, помню.

— Я вернулся оттуда не в духе, ты встретил меня в конюшне и спросил, что со мной.

— И это помню, Габриэль.

— Я не сказал тебе, в чём дело? Нет?

— Нет, не сказал.

— Так вот, если не сочтёшь меня трусом, я расскажу обо всём подробно. Под вечер ехал я из Херки. На расстоянии трёх стадий от Гартискари начинается редкая буковая роща. На опушке этой рощи стоит огромный дуб. Ты его помнишь, Глахуна?

— Как же, помню, Габриэль.

— Наверно, помнишь и то, что к тому дубу дорога идёт под гору по краю утёса, и с этой дороги ещё издали виден тот дуб. Так вот, доехал я до этого места. И вдруг вижу, появился юноша в красно-жёлтой чохе, а подмышкой у него красный петух. Трижды обошёл он тот дуб и поцеловал его три раза. Потом оторвал голову у петуха, окропил кровью землю вокруг дуба и вдруг исчез в лесу.

Охотников удивил этот рассказ. Они направились было к Сапурцле, но Георгий заупрямился.

— Ведь нас четверо мужчин, что с нами может сделать один дьявол? — говорил он, подбадривая других, но и сам всё же побаивался.

Журавлей сняли с плеч и подвесили к деревьям. Взяли в руки лук и стрелы. Обошли холм со всех сторон.

Раньше всех поднялся на холм Георгий. Он заметил, что на голой вершине холма навалена охапка срезанного папоротника. Затаив дыхание, вглядывался Георгий, но под папоротником никого не было. Его намётанный охотничий глаз уловил только, что торчащая из земли палка чуть дрожала и привязанный к ней щегол время от времени трепыхался.

Задрожит палка, и щегол подпрыгнет, забьётся, затрепещет в воздухе и снова усядется на шест; снова задрожит шест, и снова забьётся привязанная к нему птичка.

Георгий забрался на вершину холма и увидел: в яме глубиной в человеческий рост сидит, притаившись, юноша в красно-жёлтой хохе. Волосы у него всклокочены, подбородок и скулы покрыты юношеским, словно птичьим, пухом. Юноша, сидевший в яме, смутился, когда над его головой появились четыре охотника.

— Эй, кто ты, парень? — спросил Георгий, обрадованный, что перед ним человек, а не дьявол. Он всмотрелся в незнакомца. Лицо и одежда юноши показались ему знакомыми. Парень, повидимому, недавно перенёс оспу; его лицо ещё не совсем очистилось от струпьев, и это помешало Георгию узнать его.

— Я такой же охотник, как и вы, — ответил человек из ямы.

— Если ты и впрямь охотник, а не бес, то зачем же прячешься в яме? — спросил Эстате.

— Одни охотятся в яме, другие в лесу, кому как вздумается.

Эстате внимательно следил то за юношей, то за птичкой.

«Если этот человек охотится за птичкой, зачем он привязал её верёвкой?»

Эстате всё ещё не верилось, что перед ним охотник, а не бес.

Юноша, как зачарованный, глядел на Георгия. Ему тоже показалось знакомым это лицо, но рыжая борода и простая одежда вызывали сомнение.

Эстате шепнул Георгию:

— Не верь ему, Глахуна. Это либо бес, либо вор, сбежавший из тюрьмы.

Юноша услышал имя «Глахуна».

«Наверно, я ошибаюсь», — подумал он и снова взглянул на Георгия.

— А на кого ты охотишься?

— На сокола, сударь, — ответил юноша.

— На сокола. Каким же способом?

— Вот, сударь, видите эту птичку, а это сеть... — сказал он и приподнял одной рукой палку. Палка задрожала. Другой рукой он поднял сачок с карманчиком на конце. — Теперь как раз такое время, когда соколы вылетают на охоту. Сокол заметит сверху птичку, подумает, что она запуталась в сети, налетит и вопьётся в неё. А я из ямы под папоротником накрою его сачком.

Охотники удивились: ничего подобного они раньше не слышали.

Царские сокольник-иранцы ловили соколов иным способом.

— Ты откуда? — спросил Георгий.

— Я лаз, сударь.

— А как же ты, лаз, очутился здесь?

— Я пленник царя Георгия, сударь.

Георгий ещё более удивился. Лазов никогда не брали в плен его воины. В Ухтике было взято в плен много греков, в Анатолике — армян. Греков он определил в каменщики, армян освободил. А про лазов он не помнил.

— Тебя из Лазики привезли сюда? — переспросил Георгий.

— Нет, из Пхови, сударь.

— Как тебя звать?

— Арсакидзе, сударь.

— Как же ты очутился в Пхови, несчастный лаз?

— Отец мой был зодчим у кветарского эристава.

— А где теперь твой отец?

— Его убили царские воины при взятии Кветари.

Георгий вспомнил фамилию, которую упоминала Шорэна в Кветарском замке в тот злополучный вечер.

— Разве Колонкелидзе строил церкви? — снова обратился он к юноше.

— Одно время я и отец строили церкви, но эристав вдруг переменял веру, стал разрушать церкви и строить крепости.

Георгий умолял.

— А кого же ты поймал там на дереве? — обратился Эстате к Арсакидзе.

— У меня улетел дрессированный сокол, вот я и поймал его, — ответил лаз, подняв со дна ямы сокола с перевязанными крыльями, и показал охотникам.

— А для чего тебе теперь сокол, ведь перепелиный лёт уже кончился? — спросил Георгий.

— Я буду с соколом охотиться на журавлей.

— Где ты этому выучился, юноша?

— В Лазике, сударь, там на журавлей охотятся с соколами.

Георгий удивился.

Арсакидзе вылез из ямы. Эстате обрадовался, подошёл поближе к юноше и стал разглядывать его с ног до головы.

— Да не тот ли это юноша, что зарезал петуха под деревом? — спросил царь Ломаисдзе.

Эстате кивнул головой.

— Тот самый, Глахуна.

— Скажи мне, юноша, зачем ты зарезал петуха под дубом? — обратился Георгий к Арсакидзе.

— На прошлой неделе я выздоровел от оспы и потому принёс в жертву красного петуха.

— Где такой обычай?

— У нас в Лазике.

Арсакидзе развязал крылья соколу, надел на большой палец левой руки кожаную рукавичку и посадил на неё птицу. Затем погладил сокола правой рукой от головы до хвоста, приласкал, понежил хищника.

Сокол злыми глазами озирался на незнакомых.

Арсакидзе шёл впереди, за ним следовали четыре охотника. Они развеселились в ожидании новых происшествий.

Не успели охотники дойти до каменистого берега Арагвы, как из ключевины взлетел журавль. С юношеским вострогом стал следить Георгий за тем, как Арсакидзе на травливал сокола на летящую птицу.

Журавль, взлетев в небо и расправив крылья, поплыл по воздуху. Сокол взмыл ввысь и вмиг очутился над журавлём. Журавль отклонился от хищника и полетел к западу. Сокол отстал немного, но затем быстро нагнал журавля, всадил в него когти и быстрее тени кинул его вниз.

С криком побежали охотники к тому месту, где упал журавль. Георгий забыл про боль в ноге и первым очутился у цели. В высохшем русле реки бился журавль. Сокол сидел на нём с расправленными крыльями и клевал свою жертву, водя кругом зрачками цвета проса.

Арсакидзе посвистел соколу, подкрался, приласкал его,

погладил по голове. Сперва высвободил его средний коготь, а затем по очереди и остальные, достал из кармана кусок мяса и, отобрав у сокола журавля, дал ему взамен мясо.

Кровь бежала из запрокинутой, как тонкое горло лекифа<sup>1</sup>, шеи журавля. Он захлопал крыльями и судорожно вытянул их. Странный беспомощный звук вырвался из его горла. Затем зрачки у журавля побелели, и он покорно отдался смерти.

Георгий шёл рядом с Арсакидзе, не сводя глаз с сокола.

— Где ты поймал эту птицу, юноша?

— В Сапурцле, сударь.

— А хороши ли чёрные соколы на охоте?

— Чёрный сокол хороший ловчий, но его трудно приручить. Дурной нрав у него, упрямя, строптив и залетает далеко.

— А что скажешь о соколе ржавого цвета?

— Такой сокол — разиня.

— А рыжий?

— Рыжий лучше и чёрного и ржавого, сударь, но лучше всех сокол стального цвета: он крупный, быстро приручается и покладистый.

Георгий шёл молча. Он думал о Шорэне, вспомнил о взятии Кветарской крепости, вспомнил о том, как выжгли глаза Колонжелидзе, и горькой показалась ему жизнь. Царь и Звиад нагнали тогда пленных в пути. С исцарапанными щеками ехала верхом Шорэна, рядом с ней Арсакидзе с закрученными назад руками.

«Каким приятным юношей был он тогда и каким стал несчастным в плену, бедняга», — подумал о нём Георгий и вновь обратился к Арсакидзе:

— Чем ты занимаешься теперь в Мцхета?

— Я работаю подмастерьем у Фарсмана Перса, сударь.

— Фарсман хороший мастер? — спросил царь.

— Замечательный мастер Фарсман, но очень своенравный, ни с чьим советом не считается, трудно с ним работать.

— А ты можешь работать самостоятельно?

— А как же, сударь, ведь я выстроил церковь в Цхракари два года тому назад.

Георгий видел эту церковь.

— А у нас ты строил что-нибудь?

— Я закончил в этом году итвалисскую церковь.

Царь знал и эту церковь, она ему нравилась.

---

<sup>1</sup> Лекиф — кувшин с узким горлышком.

— Говорят, что католикос и царь Георгий собираются строить Светицховели. Если ты пригодишься, царь мог бы тебе поручить это дело.

— А кто меня до царя допустит?

— Завтра приходи во дворец, я представлю тебя царю.

Охотники улыбнулись.

Арсакидзе заметил это и тоже улыбнулся. Он посмотрел на того, кого охотники звали Глахуной, оглядел его убогую одежду и подумал: «Обманывает меня этот рыжебородый человек».

Наступил вечер.

Сумерки спустились на берега Арагвы, в лесу всё затихло, по небу неслись к югу караваны журавлей. Кричали отставшие одинокие журавли. Одна-единственная звёздочка мерцала в небе.

Красные и жёлтые стога облаков пылали над далёкими ледниками Кавкасиони.

Когда караульная стража открыла охотникам ворота Мухнарской крепости, Георгий обернулся назад: на белоснежной вершине стоял храм, объятый пламенем.

Георгий тревожно перекрестился и молча вошёл в ворота.

## XXI

Неподвижно сидит Фарсман Перс в грузинском кресле, украшенном орнаментами, и смотрит на санатлойскую окраину, разрушенную землетрясением.

Бледный свет скупно проникает в окно, кладёт блики на изогнутый, как клюв коршуна, нос и пергаментно-жёлтое безбородое лицо Фарсмана.

Дымит в наргиле опиум, мерцает луч, зеленоватый, как бенгальский огонь. Синий дым разбухает, словно хлопья шерсти, и, лениво извиваясь, тянется к высоким сводам каменной палаты.

Судя по бойницам и амбразурам, можно догадаться, что палата эта некогда была крепостью или древним капищем.

На полках валяются в беспорядке фолианты, пергаментные свитки, ступки и пиалы.

На стенах ещё видны следы выцветших фресок. Крылатые львы сцепились в схватке вокруг венца; у гриффона с задранными вверх хвостом застряла в горле нога человека; всадник с нимбом пронзает копьём глотку дракона.

Мцхетский эриван с диадемой на голове, опоясанный позолоченным мечом, держит в руках изображение храма.

Там же висят чертежи и планы церквей, крепостей, топорики и резцы для тесания камней, треугольники и наугольники.

Из окна на фоне горшелового цвета видны санатлойские развалины. Обнажённые, разрушенные дворцы, колокольни с обвалившимся куполом, одиноко торчащие дымоходы пещей возвышаются над разрушенными стенами.

Слева виден сосновый лес, занесенный снегом.

Глядит Фарсман на отягощённые снегом ветки, похожие издали на лапы какого-то зверя. Слышит, как они ломаются, как падают ледяные сосульки с карнизов разрушенного купола колокольни.

Из леса выходит горбатая женщина. Снег хрустит на утоптанной тропинке. Идёт по ней рабыня Теброния и тащит на согбенной спине вязанку дров.

Справа дорога на крепость Мухнари. По ней лениво тянется караван, звенят бубенцы, фыркают мулы, слышно, как погонщик резко покрикивает на них, как свистит его плеть.

Снова наступает тишина. Фарсман слышит, как Теброния топает ногами по коридору, отряхивает снег со своей одежды. Рабыня приоткрыла дверь. Неприязненно взглянул Фарсман на её лицо, покрытое уродливым и большим родимым пятном. От холода ещё больше покраснело и без того красное, как варёный рак, пятно на лице Тебронии.

Лениво зашевелились её толстые, негритянские губы, что-то буркнула она про себя, потом подошла к камину, раскидала в нём головни и подбросила дров.

Фарсман отвёл от неё глаза и снова посмотрел на колокольню. Вороны облепили её, зловеще каркая.

В комнату крадёт темнота. Теброния шарит в нишах, в руках держит зажжённую лучину, зажигает восковые свечи.

Мерцают свечи. Слышно карканье ворон, перезвон бубенцов.

Дверь быстро открылась. Фарсман всматривается в темноту коридора. Вошедший отряхнул снег с ног и направился прямо к креслу.

Исподлобья взглянув на хозяина, низко поклонился ему.

— Добрый вечер, мастер.

Фарсман узнал Константина Арсакидзе и глазами указал ему на треногий стул.

Гость поблагодарил. Он достал из-под одежды огромный свиток и неуверенно заговорил:

— Я закончил план Светицховели. Вчера был вызван к царю Георгию. Он одобрил мои чертежи, но повелел, чтобы ты посмотрел их, мастер. Завтра утром я передам их католикосу.

Неприятно перекопилось лицо Фарсмана. Он разложил свиток на столе, придвинулся к нему вместе с креслом и, придавив обеими руками чертёж, долго и молча рассматривал его. Затем приказал Тебронии подать светильник.

Теброния принесла светильник. Фарсман поднял голову и принялся вычислять: помножил высоту храма на ширину, определил высоту стен, объём нефов и площадь, высоту купола, количество и размер окон и дверей.

— Всё же Мелхиседек настаивает, чтобы храм был трёхнефный? — спрашивает Фарсман Арсакидзе. — Какая высота помечена у тебя?

— Вдвое больше ширины. Католикос желает, чтобы новый Светицховели мог вместить в себе объём трёх церквей — олтисской, которую нечаянно сожгли грузинские войска, и двух самцисхских, построенных тобой, мастер.

Фарсман нахмурился.

— А что об этом говорит царь?

— Царь дал вчера согласие, мастер.

— Мелхиседек полагает, что трёхсот пленных пховцев будет достаточно, чтобы построить такой храм?

— Нет, царь предполагает пригнать ещё две тысячи рабов из Тао-Кларджети и приставить к ним полсотни опытных греков-каменотёсов.

— На какой материал вы рассчитываете?

— Облицовка храма будет из алгетского и голубого сланца.

— А старый материал?

— Старый материал пойдёт только на притворы. Так приказал католикос.

— Откуда возьмёте строителей?

— Сто двенадцать человек вызваны из Болниси.

— А крыша?

— Из сланца.

— Вы увидите, как трудно будет разрушить старую стройку. Абул-Касим разрушил только северный её фасад.

— Нам приказано разобратить всю постройку по камешку, чтобы не повредить усыпальницы царей и католикосов.

— Но тогда, по-моему, и трёх месяцев нехватит на разборку старого храма.

— Его святейшество изволит говорить, что, в случае необ-

ходимости, он велит привезти из Абхазии ещё тысячу рабов и пятьдесят лазов-каменщиков.

Фарсман умолк. Снова склонился он над планом, развёрнутым на столе, и, облокотившись, стал пристально рассматривать чертёж, затем, подняв голову, пробормотал что-то про себя.

Наконец он выпрямился, уставился на стену, точно видел на ней план храма и рассматривал его. Взглянул в рябое лицо Койстантина Арсакидзе и произнёс:

— Доложи, юноша, царю от моего имени, что нам и в десять лет не построить такого огромного храма. Мы на все эти годы должны будем приостановить строительство крепостей, каменётов и таранов.

Он сложил свиток и вручил его Арсакидзе.

Константин Арсакидзе пожелал мастеру спокойной ночи. Взгляд его скользнул по разгоревшемуся в камине огню.

Перед камином стояли раскалённые мангалы, и на них были установлены медные горшки; крышки на горшках подскакивали и гремели. Из горшков шёл смрадный воздух.

«Фарсман, наверное, варит какой-нибудь яд», — подумал Арсакидзе и стремительно направился к выходу. Впереди него шла Теброния, освещая светильником тёмный коридор и лестницы.

Фарсман снова взялся за наргиле, большим пальцем набил в него опиум и зажёг. Опять поднялся зелёный дым, лохматый, как клочья шерсти, повис в воздухе и лениво потянулся по тёмным сводам комнаты.

Застыв на месте, сидел Фарсман, жадно тянул опиум и глядел в давящую на него темноту.

Неровно мерцали восковые свечи, за окнами в темноте звякали бубенцы.

Волоча ноги, вошла Теброния, дпринесла в миске пшеницу, заправленную мёдом, но уставший Фарсман был так пьян, что не заметил её.

У него кружилась голова, перед глазами прыгали жёлтые шарики, словно подбрасываемые скоморохами. Он ощущал покачивание всего тела, как человек, впервые сидящий на верблюде или в открытой лодке, выходящей в бурное море.

На висках выступил пот. Он протёр глаза руками. Медленный покой нисходил на него, суставы тела расслабили, он задремал, но как раз в это время кто-то резко постучал в дверь.

Фарсман неприятно поморщился.

Дремавшая у камина Теброния схватила светильник, распахнула дверь: перед ней стоял какой-то верзила. Фарсман посмотрел пристально на незнакомца и сразу же узнал в нём посылного главного судьи.

Пришедший не захотел переступить порога и, всучив Тебронии какой-то свиток, не прощаясь, зашагал по тёмному коридору.

Фарсман развернул свиток и прочёл обращение главного судьи:

«Обвиняется перед владыкой абхазов, грузин, ранов, хаков и армян царём царей Георгием,

Главный зодчий Фарсман Перс.

Пострадавшая — Фанаскертели Русудан.

Обвинитель — царский духовник Амбросий...»

Сразу прошло опьянение у Фарсмана Перса. Он швырнул свиток на стол и, придвинув кресло к камину, стал греть над огнём озябшие руки. По телу прошла дрожь. Он вытянулся в кресле, сцепил пальцы рук и потянулся, как в лихорадке.

Затем он разнял руки, приподнялся на локотниках кресла, вытянув ноги, упёрся ими в самый край камина и устоялся на догорающие поленья, на которых ещё оставались те тонкие прожилки, какие бывают видны на свежесрубленных пнях.

Фарсман следил, как оседала головня, поблескивая золотыми искрами. Он привстал и подбавил несколько поленьев. Затрещали, зашипели дрова. Густая, липкая пена выступила на них, и там, где были следы срезанных веток, шипенье постепенно переходило в свист.

Оцепенелый, сидел у камина Фарсман и глядел в огонь. Перед ним возникало то пергаментно-сухое грозное лицо католикоса Мелхиседека, то прищуренные, пронзительно-серые глаза царского духовника.

Какая странная и бессмысленная жизнь!

Сколько сабельных ударов, сколько храбрых рыцарей — прославленных стратигов и гульямов<sup>1</sup> — бесстрашно отражал Фарсман! Сколько грузин и греков, сарацин и армян сразил он мечом!

А теперь этот высохший, тощий старик Мелхиседек, католикос, хочет сократить срок его жизни — его, Фарсмана, многоопытного воина и путешественника.

В этом году, в день рождества Христова, стоял Мелхи-

<sup>1</sup> Гульям — сарацинский воин, молодой рыцарь.

седек перед алтарём и говорил проповедь пастве. От возбуждения он словно стал выше ростом, на бледном его лице зловеще пылали маленькие пронзительные глазки.

Точно одержимый, изрекал католикос свою проповедь. Он пугал паству огненной геенной судного дня, призывал христиан обуздывать земные страсти и, касаясь грехов Содома, сказал:

«Всякому человеку, великому и малому, богатому и бедному, царю и вазиру, знатному и незнатному, священнослужителю и монаху, мирянину и отшельнику, старцу и отроку, всякому чину и всякому возрасту заповедаем мы воздержаться от этой страсти».

Затем католикос рассказал, как от содомского греха погибли Афины и Рим, Фивы и Вавилон, страна ассуров и фарсов.

Фарсман встал, взял со стола извещение главного судьи, снова подсел к камину и внимательно перечитал его.

Да, католикос обвинял его в грехе, которому нет искупления и прощения. Фарсман отлично знал законы церкви. Три вида наказания, как в Грузии, так и в Византии, были установлены за грехи содомские: подымали на дыбу, отрубали голову и ослепляли.

Больше всего боялся он, что ему выжгут глаза.

Что он, главный зодчий, будет делать, если его ослепят?

Обвинение было тяжкое: растление невинной девочки.

Всё это осложнялось ещё положением самого Фарсмана. По законам государства, «грехи людей просвещённых и учёных тяжелее грехов людей незнающих и неведающих».

Ещё раз перечитал Фарсман обвинение и, свернув свиток, забросил его на полку камина.

Фарсман упёрся локтями в колени и, подперев кулаками скулы, стал молча смотреть на огонь.

Теброния храпела на лежанке.

Тишина и мрак вступили в обитель Фарсмана. Лишь с дороги иногда слышался свист бича погонщика мулов да звон бубенцов. Щемяще однообразно посвистывало полено в камине, булькали кипящие медные горшки, распространяя вокруг адский смрад.

Догорало последнее полено. Пока ещё сохранялись на нём неясные узоры прожилок. Ещё немного — и оно тоже свалится и рассыплется.

Полено не будет больше походить на себя. Что же останется от него? Немного угля и пепла. Ничего, кроме угля и пепла.

Пройдёт ещё несколько дней, и возможно, что его тело вот так же будет разлагаться и разрушаться, как это объётое пламенем полено.

Смотрит Фарсман на пылающий камин и вспоминает своё сладкое детство.

Восковые свечи трещат в нишах. Сгорбившись, сидит он в своём кресле. Огромная тень его легла на стену, концы чалмы, обмотанной вокруг головы, вырисовываются на стене, как рога сатаны.

Сидит он у огня, между тенью своей старости и видениями своей юности.

Вот бежит семилетний мальчуган и держит в руках лук и стрелы. В воображении Фарсмана возникает силуэт замка Тухариси. На кровлях этого замка гонялся Фарсман за голубями, в потайных ходах и подвалах охотился он, несравненный стрелок, за крысами.

Вспоминает он дремучие леса Шавшети<sup>1</sup>, замки и храмы на вершинах гор, стремящиеся со скал водопады, мутные воды Чороха, силки для пташек, сети для форелей, луга, рёв быков, возвращающихся домой, вечернее пение на клиросе, весёлые шествия с факелами на страстной неделе, игру света и тени на окнах придворной церкви в Тухариси, летучих мышей, голубей и вяхирей.

Крыльями смели они его юность.

Вспоминается всегда хмурый дед Сумбат-богатырь в латах цвета ржавчины, его серый в яблоках мерин, соколы, белые борзые и пегие гончие. Вспоминается отец — Бакар — белокурый рыцарь с серыми глазами; мать — Нанай — вся ушедшая в молитвы, в сладкое пение ирмиссов.

Встаёт перед глазами ворчливый лысый наставник, хромой Вардан, с выщипанным, как куриное гузно, подбородком. На правой ноге он носил шпору.

Как тень, следует за мальчиком Вардан, запрещает ему взбираться на чердаки замка, не даёт заглядывать в подвалы, вечно кутается сам и кутает своего воспитанника.

— Не ходи в лес, днём там медведи, а ночью бесы заворожат тебя. Не спускайся в Чорох, в нём змеи и ящерицы. Не ложись на голую землю, удушит кошмар. Не ешь фруктов, желудок расстроится. Не выглядывай в окно, сквозняк продует. Не гляди на солнце, глаза заболят,

---

<sup>1</sup> Шавшети — одна из южных провинций Грузинского царства, отошедшая в XVII столетии к Турции.

ибо солнце создано богом, и смертному возбраняется глядеть на него.

Единственное, чего наставник не запрещал Фарсману, — это молитвы.

Утром, до обеда, после обеда, за полночь, вечером, перед сном — везде и всегда мальчик должен был молиться, зубрить ежедневно псалмы.

Наставник рассказывал ему об ужасах второго пришествия и муках загробной жизни.

Как-то раз во время сильной грозы Вардан застрял в пути и только за полночь он едва приплёлся в замок на своём муле.

Бледного, дрожащего и мокрого сняли его с седла. А потом, сидя у камина, он рассказывал Фарсману:

— Буря застала меня в лесу. Гроза была страшная и воздух душный. Семь раз ударил сатана своим жезлом, он скрежетал зубами и вопил, я же стоял под дубом и молился.

Вардан слёг в постель. Отрок Фарсман радовался: «Может, он умрёт, и я не буду больше зубрить псалмов...»

Но Вардан поправился и снова начал пилить воспитанника:

— Не клевещи, не клянись всуе, чти отца своего и мать свою, возлюби ближнего, как самого себя... Земная жизнь — пустыня безводная, старайся её обойти.

Вардан научил отрока писать углём на бычьей лопатке. После того Фарсман подружился с книгами.

Но за этим последовало новое наставление:

«Мудрость и разумение — враги лютые для человека, и бесполезны они для чистоты душевной».

Отрок возмужал и больше не обращал внимания на ворчания дядьки. Посадит он на левую руку сокола, повесит на плечи лук и бродит по долинам Чороха,

Носится верхом на неосёдланных жеребцах, сопровождает на рыбную ловлю деда или отца.

И, как каплун, этот евнух среди петухов, приставленный к утиному выводку, бегаёт за своими приёмными, квохчет и мечется, а когда утята заплывают в пруд, в ужасе бьётся о берег, боится, не утонули бы, — так злится и причитает наставник Вардан, видя, как Фарсман вскакивает на горячего жеребца, или, ныряя, переплывает Чорох, или же пропадает ночью в лесу на охоте...

«Жизнь — пустыня безводная, старайся её обойти...»

А юноша Фарсман жаждет жизни, он мечтает уйти в

самую глубь этой пустыни и грустит, что ещё не наступила война, что в замке Чорчанели царит мир, что сабли заржавели в ножнах у воинов. Дни и ночи втуне дежурят дозорные у крепостных бойниц.

И лишь по рассказам деда Сумбата знает Фарсман о войнах, битвах, единоборствах, ночных дозорах, осадах крепостей и разрушении башен.

Любит юноша надевать на себя латы и шлем, саблю деда, стрелы отца, любит он коней, джигитовку, удары меча.

Шестнадцатилетнему Фарсману дед Сумбат выбрал боевого коня, подарил ему латы и шлем, саблю, лук и стрелы.

Наставник Вардан видел, что проповеди его остаются гласом вопиющего в пустыне, и потому он изрёк новое наставление:

«Человек — это амфора бездонная, и катится она самовольно».

Как раз в том году исполнилось желание Фарсмана Чорчанели.

Великий патриот Грузии, Иоанн Марушисдзе, завещал Уплисхихе Давиду Куропалату...

Вместе с другими эриставами Давид призвал Сумбата Чорчанели, деда Фарсмана, и представил им Баграта Куропалата:

— Сей есть владетель Тао, Картли и Абхазии, сын мой, воспитанный мною, отныне подчиняйтесь ему.

Сумбат Чорчанели не присягнул новому царю. Баграт полонил его, заковал в кандалы и затем отрубил ему голову. Труп его повесили вниз головой на башенной вышке на страх непокорным азнаурам.

После этого Баграт III осадил замок Тухариси. Он хотел захватить сына Сумбата — Бакара, и сына Бакара — Фарсмана.

Ударили в набат в Тухарисской крепости, и выступили тухарисские азнауры против царских ратников.

Юнсша Фарсман мужественно бился рядом с отцом, но царские воины атаковали и обратили их в бегство.

Войско эристава Чорчанели заперлось в крепости. Три месяца сопротивлялся Бакар Чорчанели. Но кончились съестные припасы: собаки, крысы, ослы — всё было съедено. Бакар Чорчанели с единственным сыном своим и тысячным отрядом ушёл из крепости потайным ходом.

И покатилась «амфора бездонная».

Беженцы прибыли в Византию. В стране кесаря вспыхнул мятеж Фоки Барда. Баграт III недавно получил титул Куропалата и зелёную колесницу. Поэтому он был верен кесарю Василию.

Отступник Бакар Чорчанели примкнул к полководцу Фоке.

Византийский патриций Иоанн Портезе со своим войском осадил замок Фоки. Камнеметами и таранами пробил он стены крепости. Фока бежал. Бакар Чорчанели и тысяча грузинских воинов бились яростно шесть месяцев. Наконец Иоанн Портезе взял крепость, вырезал грузин. Бакара Чорчанели обезглавили. Фарсмана Чорчанели и триста пленных грузинских рыцарей отправили в Византию.

Снова покатила «амфора бездонная».

Фарсман Перс подбросил в камин дров.

Полная тишина царил в доме. Теброния бредила во сне.

Вспоминает Фарсман страшное путешествие по безводным землям Сирии. Спалённые зноем пустыни, зубчатые башни на горизонте, мечети, храмы, нищенские землянки, толпы рабов с непокрытыми головами...

— Воды! — просят стражу пленные, но никто не понимает их речь.

— Воды! — молят они прохожих, погонщиков верблюдов, стратиотов, но никто не внемлет их мольбам.

Сидит Фарсман на том же верблюде, на котором в перемётной суме лежат головы — его отца Бакара Чорчанели и правителя замка.

Мошкara искусала его лицо, руки закручены за спину, он болтается на двугорбом верблюде. Тошнит. Кружится голова от жажды.

Но Фарсман не просит воды, он боится только одного: не задержалась бы в пути безжалостная смерть, а пришла бы скорее, чтобы отнять у него жизнь в этой безлюдной пустыне.

Звякают бубенцы, верблюды плюют на потрескавшуюся от зноя землю, и Фарсман вспоминает наставления воспитателя Вардана:

«Жизнь — пустыня безводная, старайся её обойти...»

Затем катилась «амфора бездонная» по Анатолии, катилась до тех пор, пока на небесном горизонте не появился крест Айа-Софии<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Айа-София — древнейший храм в Константинополе.

Темница у «этого пса», кесаря Базилия, была рядом с ипподромом.

Семь грузинских рыцарей и тринадцать сарацинов были отделены от других пленных, им обрили головы, прокололи ноздри, надели цепи на шею; заковали ноги в кандалы и бросили в темницу.

Целый год их пытали. В день воскресения христового грузинский монах навестил грузин и Фарсмана и принёс им небольшой гостинец.

Когда он ушёл, голодные узники набросились на пасхальные лепёшки. Лепёшка с запечённой в ней маленькой пилой досталась Фарсману Чорчанели.

Три дня безуспешно работал Фарсман. Он перепилил цепь на шее и узы на ноге, затем расковал товарищей. Они пробили в темнице стену, сбросили с себя цепи, связали их одну с другой и скрылись в ночном мраке.

За Константинополем они напали на монахов монастыря святого Иоанна, работавших на винограднике.

Фарсман приказал своему отряду раздеться донага. Монахи были ошеломлены видом голых мужчин, набросившихся на них. Грузины раздели монахов, оставив им свои жалкие лохмотья, и отняли у каждого монаха по десять золотых солидов. На эти деньги они купили ослов и направились в Антиохию.

Встречным они говорили, что едут в Иерусалим.

Опять покатила «амфора бездонная».

Верхом на осле проехал Фарсман Каппадокию, Анатолию и Сирию. Прибыл к Ал-Хакиму в Алеппо.

Халифу было хорошо известно всё происходившее в Грузии. Слыхал он и о храбрости Бакара Чорчанели. Из ненависти к Баграту Куропалату и византийскому кесарю Фарсман переменял религию.

Стал он себя называть Абубекр-Исмаил-Ибн-Ал-Ашари.

Фарсман был начальником крепости Алеппо, когда к ней подступил византийский кесарь Василий. Фарсман прославился в этом бою: «правой рукой Ал-Хакима» прозвали его сарацины.

Поразительное мужество проявил он также и во второй схватке с греками. Ал-Хаким и Фарсман во главе вспомогательного отряда очутились в тылу у византийского дуки.

Войска дуки осаждали Каирскую крепость, они уже разрушили камнемётами первую башню.

Фарсман прищипил своего арабского жеребца, молние-

носно подлетел к грекам, бросил в камни мидийским огнём, поджёг их и снова вернулся к Ал-Хакиму.

Греки отступили. Сарацины освободили крепость, но в рукопашном бою греческий воин настиг копьем Фарсмана и ранил его в спину.

Лучших лекарей приставил к нему Ал-Хахим, но вылечить полностью его не удалось. Халиф поселил его у себя во дворце.

В Каире Фарсман изучил зодчество, алхимию и фарсидский язык. Здесь же познакомился с индийскими факирами, научился ходить босым по лезвию мечей, выступал иногда на площадях скоморохом, целыми днями упражнялся в держании меча остриём на глазах, глотал пламя, не причиняя себе вреда, а ночами изучал звёзды с минаретов мечети. В Каире же он увлёкся учением суфиев<sup>1</sup>, затем снова обратился к искусству и выстроил в Каире великолепную мечеть.

Войска византийского доместика снова осадили Алеппо в четверг, второго мая.

Опять двинули греки свои камни и тараны на Каирскую крепость. Передовой отряд, во главе которого шёл царь Грузии, разрушил первую башню, а на правом фланге бились патриции в золотых латах.

Тогда Ал-Хахим выдал заложников доместику и послал в Византию послов.

Руководство посольством он поручил Абубекр-Исмаил-Ибн-Ал-Ашари.

Снова покати́лась «амфора бездонная».

...Петух закричал в санатлойском предместье.

Фарсман подбросил в камин кленовых веток.

...На исходе мая послы прибыли в Константинополь. Во дворец византийского кесаря явился Абубекр-Исмаил-Ибн-Ал-Ашари, главный посол халифа Ал-Хакима.

Он был в чёрной мантии, голова у него была обмотана белой чалмой, чёрный кинжал висел на поясе.

Придворные заупрямились, не хотели пропустить в палату кесаря человека в белой чалме и с чёрным кинжалом.

Тогда Абубекр-Исмаил-Ибн-Ал-Ашари сказал придворным:

— Я уйду и больше не вернусь, — и он повернулся, радуясь в душе: «Тысячи флаконов мускуса, драгоценные камни на десять тысяч золотых динариев, парча, аксамиты

<sup>1</sup> Суфии — последователи суфизма, мистического учения ислама.

и пятьсот флаконов арабской благовонной смолы — всё это достанется мне».

Вновь покати́лась «бездонная амфора» и докатилась до края моря.

Фарсман решил уехать в Индию и ждал только первого паруса.

К нему прибыл гонец от кесаря.

— Кесарь просит посла Ал-Хакима пожаловать во дворец.

Фарсман направился во дворец. На этот раз его встретил главный правитель дворца. Он просил его как мусульманина поцеловать землю при вступлении в палаты кесаря.

Абубекр-Исмаил-Ибн-Ал-Ашари снова собрался уходить.

Об этом доложили кесарю Василию.

Император улыбнулся.

— Посол побеждённого Ал-Хакима ведёт себя слишком дерзко, видимо, у эпилептика халифа послы тоже сумасшедшие.

Он приказал устроить двери таким образом, чтобы при входе к нему посол вынужден был склонить голову.

Абубекр-Исмаил-Ибн-Ал-Ашари был зван на следующий день.

Когда посол в белой чалме, подпоясанный чёрным кинжалом, вновь явился во дворец византийского кесаря, он заметил заново сделанную низкую дверь. Выпрямившись, приблизился он к порогу и, вдруг повернувшись, вошёл в палату кесаря задом. Деревянная дверь была узка, он задел косяки и сильно качнул её.

Кесарь восседал на серебряном троне. По правую сторону его стояли трое патрициев в позолоченных латах, по левую — трое толмачей. Золотая корона венчала голову Василия, на нём была порфира, затканная жемчугом, и цепь на шее, унизанная драгоценными камнями, красные башмаки его были расшиты алмазом и жемчугом.

Выступил толмач, приветствовал посла и спросил его по-арабски:

— Что прикажете доложить кесарю от вашего имени?

— Только то, что услышите от меня.

Кесарь улыбнулся и, обратившись к толмачу, сказал:

— У сарацинских послов, видимо, зады крепче лбов.

Абубекр-Исмаил-Ибн-Ал-Ашари, не дожидаясь переводчика, обратился к кесарю и на великолепном греческом языке ответил ему:

— Сын божий<sup>1</sup>, у послов, направляемых из дворца халифа к византийскому кесарю, должны быть крепкие зады, ибо их здесь ждёт много пинков.

Мать Василия была дочерью трактирщика, поэтому он любил сквернословие и от всей души расхохотался на слова посла.

Когда послы Ал-Хакима закончили порученные им дела и передали кесарю подарки, в тронную палату ввели послов от жителей Лулу, и они сообщили кесарю, что население города Лулу желает принять христианскую веру.

Кесарь Василий был ханжой. Он щедро одарил послов Лулу и обласкал их.

На следующий день перед Василием снова предстал посол Ал-Хакима и сказал, что он тоже хочет принять христианство.

В тот же день посол был принят кесарем в хризотриклинском дворце.

Кесарь был рад, что этот храбрый, остроумный рыцарь переходит в христианство, и, когда Фарсман назвал ему семь ремёсел и искусств, в которых он сведущ, его назначили главным зодчим кесаря.

В конце года в Византии произошло землетрясение.

Фарсман обновил Айя-Софию и несколько храмов в Анатолии.

Ещё будучи в Каире, он примкнул к секте суфиев и потому вскоре предпочёл уехать из Константинополя в Дамаск.

Долго ездил он по Египту. На пирамиде Хеопса он прочитал арабскую надпись:

Покинь секту, стань предметом ненависти,

Коварное время не посмеет тронуть тебя,

Стань дервишем, нищим, безродным.

Научись у моря, как успокоиться после волнения.

Гони прочь от себя суетное земное величие,

Достоинно заслужи гнев царей.

Стихи эти, вычитанные им в безлюдной пустыне, глубоко запали ему в сердце: Он стал дервишем, обошёл весь Египет, ночевал в нищенских притонах.

Так добрался он до Багдада.

В день его прихода в этом городе разразилась страшная буря: были гром и молния, огненный столб спустился

---

<sup>1</sup> Так величали византийского кесаря.

с неба, полил чёрный дождь. Вечером на небе показалась звезда с копьевидным хвостом.

Потрясённые жители всё это приписывали гневу аллаха и молились, павши ниц.

Событие это навело Фарсмана на размышления, и он стал увлекаться астрологией.

Он был уже не молод, когда его пстянуло на родину.

Багдадский халиф назначил его звездочётом ко двору тбилисского амира. В Тбилиси он основал первую обсерваторию, здесь же принял прозвище Фарсмана Перса.

...Когда тбилисский амйр сразился с Багратор III у Дигоми<sup>1</sup>, Фарсман попал в плен к царским войнам. Он сопровождал дружину сарацин, намереваясь тайно пробраться в Тухарисский замок.

Недолго просидел он в темнице Уплисцихе. Баграт Куропалат взял его к себе во дворец драгоманом. Спустя год Георгий I возвёл его в сан главного зодчего.

...В окрестностях крепости Мухнари снова закричал петух. Другой заспорил с ним, стали перекликаться санатлойские петухи.

Сидит согбенный Фарсман Чорчанели у догорающего камина. Завтра, послезавтра или через неделю в пруде утонет тот, кто переплывал в своей жизни столько морей.

Маленькая лужица захлестнёт многоопытного воина и странника вселенной, обездоленного на своей родине.

Снова вспоминает он наставления мудрого Вардана:

«Жизнь есть пустыня безводная, старайся её обойти».

Фарсман может теперь сказать о себе: «Да, я не христианин, не иудей, не мусульманин». Без веры, без бога, без рода гибнет он среди своих соплеменников. И за что же? За маленькую, с ноготок, девушку, за малолетнюю девочку Фанаскертели.

Ему отрубят голову, выбросят его труп в балку за крепостью Гартискари, и не останется на свете никого. — ни художника, ни писателя, — кто бы рассказал потомству о великих мытарствах его души.

Служанка Теброния лежит, вытянувшись на спине, храпит беззаботно, и лицо её, покрытое родимым пятном, выглядит так, точно скорпионы впились ей в скулы.

Снова закричал петух, теперь уже совсем близко, там, где живёт его ученик Арсакидзе. Откликнулся другой, третий, четвёртый, и Фарсман потерял им счёт.

---

<sup>1</sup> Дигоми — деревня около Тбилиси.

«Странное создание петух, — подумал Фарсман. — Это единственное существо среди животных, которое всегда глядит в небо. Петух предвещает восход солнца. Он борется с ночным мраком и бодрствует. Даже лев пугается его странного крика.

Долго катилась «амфора бездонная», и вот докатилась она до порога позорной смерти.

Снова представил он себе разгневанное лицо Мелхиседека. На петуха с поднятой головой походил католикос Мелхиседек тогда, во время проповеди.

Какая-то упрямая непокорность была во всём облике этого скелетообразного, бесплотного старца. Печать тиранической жестокости лежала на его лбу с надутыми жилами и на энергичных скулах. На тиаре<sup>1</sup> сверкали алмазы, жаром переливал золотой омофор<sup>2</sup> при свете бесчисленных огней.

Тиара и омофор горели так же зловеще, как золочёные шлемы и кольчуги византийских патрициев, когда они с обнажёнными саблями бросались на него — Абубекр-Исмаил-Ибн-Ал-Ашари.

Католикос Мелхиседек стоял гордый, с поднятой головой, как знамя победоносного войска.

Фареман выглянул в окно.

Тёмный санатлойский квартал спал.

Издали слышался волчий вой. Петухи вновь закричали. Объятый лунным светом, колыхался небосвод.

## XXII

Приближалась весна. На горах кое-где ещё сверкала ослепительная белизна. Арагвское ущелье зеленело. Зацвёл миндаль. На лугах соревновались краски цвета дикого голубя, волка и моря и, чередуясь, боролись друг с другом на склонах гор. Солнце прощалось с позолоченными куполами мцхетских церквей.

Константин Арсакидзе медленно спускался со ступенек одноэтажного каменного дома, к которому была пристроена полуразрушенная башня. Рати — правителю двора Хурси Абулели — принадлежал когда-то этот маленький дворец.

Хурси бежал к сарацинам и взял с собой свою челядь

---

<sup>1</sup> Тиара — головной убор католикоса и римского папы.

<sup>2</sup> Омофор — расшитое золотом облачение епископа.

и правителя своего дворца. Дома оставил лишь рабыню Нонай.

Когда царь Георгий возвёл Арсакидзе в сан главного зодчего, он передал ему этот дворец.

Дом был окружён фруктовым садом, цветником, разбитым в иранском вкусе, и в саду стояло с десятков пчелиных ульев.

В этом безлюдном доме много лет одиноко жила старая Нонай.

Развал семьи раньше всех чуют насекомые и пресмыкающиеся. Пауки развелись по всем углам дворца. Жуки и тараканы копошились в ящиках и в шкафах. Огненные скорпионы ползали по полкам и подоконникам.

Нонай самоотверженно боролась с ними. Наконец она решила бежать, постричься в монастырь, так как узнала, что Рати убит в какой-то войне. И как раз в это время в дом вселили пленного лаза. От радости Нонай была на седьмом небе.

Избалованный в доме отца, Арсакидзе не обладал способностью устраивать свое хозяйство. А между тем бывший дворец Рати почти развалился. Расшатались стропила, фундамент треснул в нескольких местах от землетрясения, часть кровли сорвало ветром. Фруктовые деревья были побиты морозами и ураганами.

Некому было смотреть за дворцом.

Арсакидзе все дни пропадал на строительстве, ездил по всей Грузии и следил за постройкой крепостей и храмов. Утомлённый, измазанный известью, возвращался он обычно к вечеру домой, стоя перехватывал пищу и снова садился за работу.

Сам чертил планы, исправлял выполненные чужими руками детали. Не доверяя мастерам, он брал иногда в руки резец и высекал из непокорных глыб барельефы, валя орнаменты, подготавливал рисунки для фресок.

Нонай ухаживала за ним, как за сыном.

Она страдала, видя беспомощность Арсакидзе.

Уходя целиком в работу, он забывал даже об еде. Нонай с миской в руке носилась за ним, за своим новым господином, совсем не похожим на других господ, и умоляла его что-нибудь покушать.

Как тень, пробирался Арсакидзе садом. Нонай полонила гряды в огороде. Она побежала за ним.

— Ты плохо ел сегодня, сударь, отведай немного куты, — упрашивала она.

Арсакидзе торопился, но ему не хотелось огорчать старуху. Она своей заботливостью напоминала ему мать. Не успел он доестъ кутью, как Нонай уже несла ему арагвскую форель, поджаренную на глиняной сковородке.

— Я опаздываю, — сказал Арсакидзе, убегая от услужливой старухи.

Арсакидзе проходил мимо дома Фарсмана.

«Зайду, проведу больного мастера», — подумал он, но в это время в санатлойской церкви ударили в било, созывая народ к вечерне. Он вспомнил вчерашние упрёки царского духовника:

— На обеднях и вечернях не видно тебя, лаз.

Старец рассказывал ему древние истории о том, как лазы были первыми христианами в Грузии, как они первыми поклонились святому кресту и что он должен быть примерным ревнителем веры, если только пховцы его не совратили.

В этом предупредительном наставлении сквозил скрытый упрёк. Хорошо знал Арсакидзе, что царский духовник Амбросий — человек жёлчный и злостный клеветник.

И теперь, когда после долгих испытаний судьба, наконец, улыбнулась Арсакидзе, мог ли он — беззащитный пленный лаз — противостоять гневу сильных мира сего.

Он устал за день и предпочёл бы вернуться домой, но всё же побрёл дальше.

Мартовское солнце словно позабыло свдѣ тепло в горных ложбинах. В виноградниках подрезали молодые побеги. По краям садов горели костры, трещала в пламени сухая лоза.

Виноградные ветви источали слёзы. Цвели персиковые деревья. На саженцах появились красноватые почки. Пурпуровая ива, посаженная в виноградниках для подвязывания лоз, рдела, как неопалимая купина.

Арсакидзе поздоровался с виноградарями.

В санатлойских предместьях детвора с песнями загоняла в хлевы свиней и телят. За ними тащились по большой дороге буйволы. Скот заполнял просёлки.

Здрав головы, мычали буйволы, ржали кобылицы. Верблюды с вьючными сёдлами на спине шли, покачивая головами. Каурые жеребята игриво месили дорожную грязь. Арсакидзе миновал холм. Вдали он увидел очертания Светицховели и взглядом приковался к любимому созданию. Радостно забилося сердце мастера. Два года назад не было даже фундамента, а теперь все четыре стены бы-

ли уже в лесах, и помосты, столбы, блоки, крюки и брусья в беспорядке окружали их.

Треугольники и четырёхугольники, кресты, круги и спирали — все эти линии походили издали на гигантские ветряные мельницы или конусообразные башни, выстроенные для потехи детей великанов.

Только глаз мастера мог распознать величественный облик будущего сооружения в этом хаосе устремлённых ввысь и пересекающихся ломаных линий.

Арсакидзе чувствовал, что царь и католикос поставили его лицом к лицу с большим мастером и что он, скромный юноша, должен померяться силами со старцем, умудрённым опытом. И потому творение его должно превзойти всё, созданное Фарсманом.

Бог свидетель, что он не хотел этого. Это они, царь и католикос, ухватились за Арсакидзе, чтобы сбить им, как гнилой плод, Фарсмана.

Окружающие считали Арсакидзе гордецом, тогда как он был кроток, как овца.

Фарсман не раз говорил Константину:

— Надо быть мудрым, но казаться людям глупцом, надо быть героем, но казаться трусом, надо быть мастером своего дела, но прикидываться неучем, ибо ни у кого не бывает столько врагов, сколько у мудреца, героя и у мастера.

Сам Арсакидзе никогда не решился бы строить храм на низине у слияния Мтквари и Арагвы.

С востока вздымается здесь Крестовый монастырь, с юга нависли вершины Саркинети и Зедазени, с севера — вершина Казбека, как закованная в ледяные латы вечность.

Всё это понимал Арсакидзе, бился с хаосом каменных глыб, как Иаков, противоборствовавший своему грозному богу<sup>1</sup>. Два года назад эти камни, кирпичи и брёвна в беспорядке громоздились на земле. Но взглянул на них мастер, рука его коснулась хаоса, и камень лёг на камень, кирпич слился с кирпичом, стены выступили сомкнутыми рядами, арки стянули свод, и купол увенчал сооружение.

Скоро мастер коснётся своего творения последним резцом, вызволит его из хаоса и, счастливый, скажет своему созданию:

---

<sup>1</sup> В библейском рассказе Иаков боролся с богом, приняв его за незнакомого богатыря.

— Да будет свет!

И вознесётся ввысь чудная гармония каменных глыб и навсегда застынет в небе.

Благословенна поступь исполнившего долг свой, труд — величайшее благо на земле, и ничто так не красит человека, как отвага, явленная им в труде.

«Величайшая гордость объемлет грудь, когда плод творчества твоего делается украшением жизни и земли».

Ушедший в эти мысли, Арсакидзе прошёл через весь город и оказался в пустынном поле. Весна робко подступала к долинам Арагвы. Вдали куковала кукушка, будто призывая её, задержавшуюся в пазухах гор.

От мощного дыхания возрождающейся жизни помлдел дряхлый дуб, на его ветках зазеленели побеги. В прогалинах зацвели фиалки, робко выглядывая из порослей кустарника. Зяблик шуршал в сухих листьях, оставшихся на ветках после зимы. Бурые муравьи караваном поднимались по корявому стволу дуба.

А под ним, у извилистых коржей, чёрные муравьи облепили выпотрошенный труп жёлтой гусеницы и деловито суетились вокруг неё.

Пастушок, присев на холме, играл на свирели, козы резвились у подножья скал, блеяли козлята и носились меж кустами ежевики.

В санатлойской церкви били в било.

Арсакидзе торопился к вечерне и решил сократить путь, пройдя кладбищем.

Уныло выглядело старое кладбище. На плитах виднелись грузинские, греческие, арабские надписи. Зброшенные могилы были покрыты птичьим помётом.

С каменных крестов поднялись вороны и, недовольно каркая, улетели прочь.

Сухие стебли бурьяна и чертополоха шуршали под ногами. На могилах мелькали надписи, а иногда и каменный баран. Часть надписей стёрлась или заросла мхом.

Грузины, греки, сарацины — все одинаково отступили перед смертью, все одинаково оплакивали бренность земного существования и молили о прощении и помиловании.

«Ужели к богу живых обращены мольбы этих мертвецов? А может быть, к князю смерти, владыке ночи и теней?».

Арсакидзе пересёк кладбище. Заросли бурьяна и чертополоха били по его ногам, безжизненно шуршали сухие стебли.

Громче запела свирель, чаще закуковала кукушка. Они

словно зазывали весну на это опустошённое кладбище. Из-под сухих стеблей поднималась поросль, молодые побеги улыбались небесной сини.

Земля была полна дыханием весны, вот-вот взойдут буйные всходы, и дикая растительность сметёт камни и кресты, сотрёт надписи, вопиющие о бренности жизни и возвещающие смерть.

Настроение у Арсакидзе изменилось, он взглянул на Светицховели и легко взбежал на пригорок.

Шёл он, ступая твёрдыми шагами, и думал:

«Искусство — это и есть бессмертие. Только мастер не подвержен смерти... Тысячелетия сметут всё вокруг, только Светицховели будет стоять, как противоборствующий Иаков».

Он вздрогнул от собственных дум и ускорил шаги по тропинке, ведущей к храму.

В Самтавро снова ударили в било.

Людское море не вмещалось в ограду церкви, а народ всё прибывал. Женщины с детьми протискивались в ворота, ржали кони, привязанные к каменной ограде.

Нищие, скоморохи, юродивые и чревоушатели галдели у ворот. В общий гул сливались пение, плач, писк детей и ржание коней.

Арсакидзе остановил у входа какого-то старца.

— Это не на престольный ли праздник собралось столько народу?

— Нет, сегодня не престольный праздник. Католикос Мелхиседек будет говорить проповедь после вечерни, потому народ и ломится в храм.

Арсакидзе не переносил давки и духоты, но ему хотелось, чтобы царский духовник заметил его, и тогда долг свой он считал бы выполненным.

Церковь была полна, но народ всё прибывал. Какую-то почтенную госпожу, богатырского сложения, четверо мужчин тащили в бесчувственном состоянии сквозь толпу.

На клиросе пел хор. Арсакидзе любил церковное пение, за этим он и ходил в церковь. Но там стоял такой гул, что голоса певчих еле доносились до него.

Вечерня уже кончилась, когда Арсакидзе, с трудом пробираясь, достиг середины церкви.

Католикос начал проповедь.

Какая сила таится в случайностях!

Мелхиседек говорил как раз о единоборстве Иакова с богом:

...И собрал Иаков всё, что имел, и стал он один там, и противоборствовал ему человек до восхода солнца.

И когда тот увидел, что не устоять ему против Иакова, то коснулся бедра его и онемил бедро Иакова, и Иаков попросил его: «Отпусти меня, ибо настал восход солнца».

И он рек: «Как имя твоё?»

Он же ответил: «Иаков».

Мелхиседек всё это произнёс на память.

А затем сказал твёрдо и непоколебимо:

— Все духовные лица и священнослужители обязаны разъяснять это место из священного писания, ибо язычники и еретики все толкуют его. Возгордившись славой земной и почётом, они тягнутся с творцом нашим и стремятся противоборствовать ему.

Католикос возвысил голос и добавил:

— Эти еретики забывают, что Иакову, дерзнувшему противоборствовать, бог онемил бедро.

Трепетали свечи перед иконостасом, канитель сверкала на омофоре католикоса, тиара на его голове переливалась алмазными огнями.

Румянец выступил на скулах Мелхиседека, завораживающими глазами вглядывался он в обступившую его толпу.

Арсакидзе показало, будто католикос глядит на него. Сомнение закралось в его душу: уж не разгадал ли старец силой своего провидения недавние мысли Арсакидзе?

Он посмотрел прямо в глаза католикосу, но не выдержал напряжённого взгляда Мелхиседека и опустил голову.

Константину стало душно в толпе. Он чувствовал смешанный запах пота, ладана и мирры. Он повернулся и стал продвигаться к выходу, но не успел ещё выйти из церкви, как католикос окончил проповедь. Тогда, как будто подхваченные ураганом, устремились к алтарю старые и малые, желая приложиться к высохшей руке католикоса.

Народ ринулся в церковь из всех четырёх дверей.

Кафедру архидиакона снесли.

Дико завопила какая-то женщина. Вздвораженная толпа загалдела. Мужские руки подняли над головой детский трупик.

Арсакидзе был потрясён, увидев размозжённую головку ребёнка. Забыв усталость, он рванул к выходу и выбрался во двор, оборвав себе ворот.

За последнее время у Арсакидзе появилось обыкновенные мысленно сравнивать церкви с будущим зданием Све-

тицховели. На этот раз он дважды обошёл церковь Самтавро, измеряя её вдоль и поперёк. Он обрадовался, что Светицховели будет на пятьдесят пядей больше этого храма.

Такова судьба творца. Как конь на привязи ходит дни и ночи вокруг кола, то здесь попасётся, то там пощиплет траву, ходит по кругу, как заколдованный,— так же и у мастера всегда перед глазами его создание, гуляет ли он, пирует или бродит праздно в толпе, всегда и всюду мысленно кружится он около своего детища.

Взошла луна.

Арсакидзе стоял в тени липы и глядел на город. Через северные ворота вошёл царский духовник. Лицом к лицу столкнулся с ним в темноте Арсакидзе.

— Добрый вечер,— пробормотал зодчий, но царский духовник был так углублён в свои думы, что не слышал приветствия.

Он, видимо, выслеживал кого-то в ограде церкви.

Вытянув шею, он двинулся за группой женщин, которые в эту минуту вышли из церкви.

Арсакидзе заинтересовался, ускорил шаги.

Женщины в пховских платьях следовали за какой-то знатной дамой. Он узнал среди них Вардисахар. Она была в платке кизилового цвета.

«Вероятно, сопровождает Шорэну»,— подумал он и, опередив группу, осторожно оглянулся.

С поникшей головой шла Шорэна, избегая назойливых взглядов толпы. Прозрачная кисея, расшитая гранатовыми цветами, закрывала её лицо.

Её сопровождали две служанки со светильниками. Щёки Шорэны слегка побледнели.

Вардисахар узнала Арсакидзе, два раза обернулась, но он отвёл глаза.

Промелькнула тень царского духовника. Арсакидзе пошёл дальше. Медленно продвигался он в толпе, следя одновременно за группой пховок и за черноризником.

Странные слухи ходили о Шорэне в Мцхета. Говорили, будто она убежала из Гартискарской крепости, спустившись по канату, и теперь дочь эристава, переодетая в латы и доспехи, организует новое восстание в Пхови.

Говорили, что царь запер дочь Колонкелидзе в Уплисцихе и что Шорэна болеет в темнице.

До Арсакидзе доходили слухи, будто католикос постриг её в Бедийский монастырь.

Константин пробирался сквозь толпу. И снова промелькнула перед ним тень духовника.

Был чудесный вечер, напоённый дыханием весны. Сквозь лиловые ветви моргали ресницы звёзд, луна переплывала через чёрную щетинистую спину Саркинетских гор.

Встреча с пховскими девушками вызвала смятение в душе Арсакидзе. Вспомнил он своё счастливое детство, радость юности, оборванную грубой силой.

Толпы молельщиков шумно расходились по узким улицам. Опечаленному юноше захотелось уединиться. Вдоль улицы тянулись древние развалины, и Арсакидзе укрылся в их тень.

Шёл он горестный и унылый.

Кто-то тронул его за локоть. Он вздрогнул и оглянулся на женщину под кисеёй. Его охватило волнение, он узнал Вардисахар.

Женщина лукаво улыбалась. Она дрожала, как лист ракитника, а глазами следила за группой прислужниц, которая удалялась всё дальше.

— Где ты была до сих пор, почему тебя не видно было в Мцхета?— первым заговорил Арсакидзе.

— Мы были заперты в Гартискарской крепости...

— А теперь?

— Царь смиловался над нами и отвёл нам дворец Хурси. Но, говорят, что мы недолго останемся в Мцхета, что католикос высылает нас в Абхазию. Наш духовник, монах Афанасий, рассказывал нам о тебе. Ты встретился на охоте с царём, стал знатным человеком. Шорэна счесь обрадовалась этому известию. Что слышно из Пхови?— спрашивала Вардисахар.

— О Пхови я ничего не знаю,— ответил Константин.

Девушка пристально глядела на него.

Арсакидзе схватил её за руку.

— Послушай, Вардисахар, мне отвели жилище рядом с вами. Приходи в сумерки ко мне. Спроси, где живет Нонай, служанка царедворца Рати. А теперь ступай, за нами следит царский духовник.

Девушка опустила кисею и скользнула в тень стены.

Арсакидзе почувствовал странную расслабленность в теле. Он замедлил шаги и одиноко направился к старому кладбищу.

На фиолетовом небе звёзды задумчиво моргали ресницами.

Воображению Арсакидзе рисовались пухлые губы Вардисахар и её глаза, сверкающие от страсти.

Вспомнил он высокое пховское небо, сладость нежного тёплого тела Вардисахар, ночи до рассвета со своей цацали<sup>1</sup>.

Страстное желание зажглось в сердце юноши.

Он ускорил шаги. Пховки скрылись в толпе. Тенью промелькнула и исчезла Вардисахар. Ему захотелось увидеть лицо Шорэны, подруги своей юности.

Только бы встретить её, и он не стал бы остерегаться царского духовника, подошёл бы и поздоровался с ней.

У маленькой часовни толпа запрудила улицу. Арсакидзе воспользовался этим.

Он нашёл глазами алую шаль, мелькнула в свете плоск расшитая кисея Шорэны.

Арсакидзе заметил, что мцхетские девушки и женщины с любопытством рассматривали дочь эристава и её служанок.

Константин был в пховской чохе. Его могли заметить, если бы он подошёл к девушкам ближе.

Он испугался, что может причинить им вред.

Две знатные дамы шли за пленными пховками. Женщина в шали спросила о чем-то другую в белой накидке. Арсакидзе расслышал только ответ:

— Дочь Колонкелидзе, Шорэна.

— У неё царственная осанка, — сказала высокая женщина в шали.

— Ещё немного, и она станет царицей, — ответила женщина в накидке.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Она ведь наложница царя Георгия, разве ты не знаешь?

По сердцу ударили эти слова Арсакидзе. Он хотел броситься к сплетнице, крикнуть ей в лицо, что она лжёт. Сдержался. Повернулся обратно и лицом к лицу столкнулся с шагавшим вслед царским духовником. Молча прошёл мимо него и скрылся в тёмном переулке.

### XXIII

Большие толки вызвала в Мцхетском дворце весть о предании суду главного зодчего. Всего два-три человека знали о действительном положении дела.

<sup>1</sup> Ц а ц а л и — возлюбленная.

Несмотря на это, все требовали наказания Фарсмана. Особенно на этом настаивали сторонники царицы Мариам и католикоса, Фарсмана не любили за его откровенное «язычничество» и мусульманскую одежду.

Царице он не понравился с самого начала, но увлечённая строительством храмов, она не находила, кем можно было бы его заменить. А потому терпела этого человека «с лицом басурманина и верой Вельзевула», как называл Фарсмана царский духовник.

Царица Мариам мечтала застроить храмами и монастырями всю Грузию, и не только Грузию и Армению, но и всю вселенную.

Когда она вернулась в Уплисхихе из Абхазии, ей доложили, что царь и католикос нашли нового зодчего, молодого православного лаза. Царица обрадовалась, не зная даже, кто этот зодчий.

Ещё в Уплисхихе ей сообщили, что старый Фарсман завёл любовные шашни с девушкой Фанаскертели. И хотя она презирала Фанаскертели, как презирала и все другие отпрыски знатных грузинских дворян, но всё же потребовала наказания Фарсмана.

Больше всего огорчило Мариам исчезновение иконы святого Георгия из Мцхетского дворца. Она верила, что это предзнаменование великих бед.

И когда она вернулась в Мцхета, то настояла, чтобы огромное количество убойного скота было угнано в Нокорнский монастырь для принесения жертвы святому Георгию в месте его нового пребывания.

Ко дню этого жертвоприношения в монастырь Нокорна прибыло множество пховцев, цанаров и галгайцев. Обедню служил сам католикос, после обедни он произнёс проповедь.

Царь преклонил колени и приложился к изображению разгневанного божества. После него царица на коленях подползла к иконе и, обливая её горячими слезами, просила святого Георгия вернуть свою благодать царскому дому.

Тщетно старался царский духовник возможно подробнее рассказать царице о преступлении Фарсмана; для этого требовались такие низменные слова, каких духовник не осмеливался при ней произнести.

Царица Мариам была дочерью царя Армении Сенакерима. Во дворец она внесла аскетический дух, чуждый царям Грузии и Абхазии.

Мариам наблюдала не только за выполнением религиозных ритуалов во дворце, но и за бытом монастырей и церквей, за нравственностью архиереев, епископов и священнослужителей.

Её всевидящим оком и всеслышащим ухом был царский духовник Амбросий. Он следил не только за священнослужителями, но и за самим царём, его вазирами и эриставами.

Георгий упорно молчал о деле Фарсмана,—ведь мнение царя предопределяло приговор. Воздерживался и Звиад спасалар. Он тоже недолюбливал Фарсмана, но, как во всяком ином деле, спасалар здесь руководствовался лишь военными соображениями.

Изо дня в день осложнялись взаимоотношения Грузии и Византии. «Заговор Комнена» вызвал страшное гонение на грузин.

Известно, что византийский кесарь представлял титул вестархов лишь грузинам и армянам. Но за последние годы этим титулом награждались лишь одни армяне.

В Византии задержали кларджетских азнауров, бежавших из Грузии ещё во времена Давида Куропалата, связав их появление с «делом Комнена», сочинённым византийскими лазутчиками.

Все эти события возбуждали во дворце царя Георгия самые противоречивые разговоры.

Царица и католикос были настолько фанатичны, что в лице кесаря видели не врага Грузии, а лишь высшее существо христианского мира, которое в качестве «римского императора» и «понтифекес максимум» уступало своё первенство только лишь богу.

Звиад понимал, что «заговор Комнена» — меч, направленный против Грузии.

В такое время не так-то легко было принять решение ослепить Фарсмана.

Правда, новый строитель церквей был найден, но царю и спасалару было известно, что секретковки харалужных мечей, режущих железо и кость, знал только один Фарсман.

И он не желал передавать этого секрета никому.

Кроме того, Звиад спасалар ни в Грузии, ни в Передней Азии не знал никого, кто бы умел строить укрепления лучше Фарсмана.

Царь Георгий колебался. Три раза по его приказу от-

кладывали дело. Наконец двадцать седьмого марта Фарсман должен был предстать перед судом.

Царь повелел вызвать главного судью, настоятельницу женского монастыря Верхаулисдзе и царского духовника. Он приказал им не разглашать дела о девице Фанаскертели до вынесения приговора, не говорить о нём даже царице Мариам. За слушание он грозил жестокой карой.

Через царского духовника он пригласил к себе католикоса. Духовник трижды ходил к Мелхиседеку, но каждый раз заставлял его в постели.

Царь считался верховным судьёй, но ему было неудобно самому прекратить дело или просить о помиловании Фарсмана, ибо жалоба девушки Фанаскертели находилась у судьи.

Георгий решил было сам посетить католикоса. Но как же быть в том случае, если Мелхиседек не исполнит просьбы царя, явившегося к нему за советом? Борьба, которая шла между ними скрыто, тогда могла стать явной.

Дело было важное и секретное. Звиад спасалар предложил Георгию свои услуги.

Царь поручил Звиаду подробно объяснить Мелхиседеку всё дело и поговорить с ним наедине.

Звиад заметил, что царь не в духе, и спросил о причине.

— Не спал эту ночь, — отговорился Георгий.

Когда совещание кончилось, царь достал опиум, разжёг наргиле, но как раз в это время явился скороход из Византиона.

Они развернули свиток и прочли следующее:

«Монаха Захария, идущего из Тао в Иерусалим на поклонение гробу господню, задержал наместник Антиохии и препроводил его к кесарю Василию. Кесарь приказал бросить Захария в темницу».

Захария обвиняли в том, будто он передал Комнену красные башмаки, посланные царём Георгием, и от его же имени поздравил этого отступника с титулом кесаря.

Захария пытали долго, требовали, чтобы он подтвердил это обвинение. За это ему обещали свободу и епископский престол в Кесареми.

Захарий держался стойко.

Не добившись от него признания, его снова бросили в темницу и натравили на него крыс.

Когда он устал от допросов и прикинулся немым, у него

отрезали язык. «Для чего, мол, тебе нужен язык, если ты немой?» Так издевались они над глубоким старцем.

Взбешённый этим известием, Георгий вскочил с места и ударил кулаком об стол.

— Кесарь Василий хочет сожрать единовенную Грузию, так же, как он сожрал Армению. Но пока я жив, не дождётся этого, собачий сын Василий-кесарь!—кричал царь.

Спасалар никогда ещё не слышал такой брани из уст Георгия.

— Как же не видит этого Мелхиседек? Как не понимает опасности царица Мариам?

Звиад был доволен происходящим: он понимал, что это известие можно использовать для того, чтобы сломить упрямство католикоса.

Он уже собрался уходить, когда дверь открылась и в палату вошла царица. Представительная женщина, с тонким бледным лицом, она, вследствие худобы, казалась выше ростом.

На царице было платье из чёрного китайского шёлка, крупные алмазы её ожерелья радугой переливались на груди. На тонкой длинной шее напряжённо выступали жилы, гневно сверкали припухшие глаза.

Звиад почтительно поклонился.

Она сухо ответила на его приветствие и принуждённо улыбнулась ему.

Видно было, что путешествие по Абхазии, а может быть, неприятные новости, которые ждали её дома, сильно утомили царицу.

Белила, густо покрывавшие её лицо, не могли скрыть тоненьких, как следы птичьих лапок, морщин около больших печальных глаз.

Шурша платьем, она прошла в спальные покои. По тому, как она прикрыла за собой дверь, Звиад понял, что между супругами произошла крупная ссора.

Звиад, прощаясь, поклонился царю.

— Спокойной ночи, — невнятно пробормотал царь.

Он курил опиум и, казалось, не слышал, как удалился спасалар. Но не успел Звиад дойти до дверей, как царь Георгий поднял голову и позвал его обратно:

— Тебе говорю, Звиад, вернись и побудь со мной.

Это удивило спасалара: Георгий никогда не возвращал уходивших советников, ибо никогда не забывал никаких поручений.

В глубоком забытьи сидел Георгий. Рядом с ним дымил-

ся наргиле. Звиад долго стоял перед царём, но тот словно забыл о его присутствии.

Спасалар догадался, что царю не по себе, щёки у него ввалились, лицо вытянулось, каждый волос на голове как бы подтверждал, как возбуждена всегда уравновешенная и мужественная натура Георгия.

Спасалар тихо кашлянул, чтобы напомнить о себе ушедшему в свои мысли Георгию.

Царь поднял голову.

— Не желаешь ли опиума? — спросил он Звиада.

— Благодарю, государь, я не курю.

Царь указал ему глазами на кресло и ещё некоторое время молчал. Затем он посмотрел мутным взглядом в упор на спасалара.

— Тебе говорю, Звиад, если Мелхиседек спросит тебя о Шорэне, что ты ответишь ему?

Звиад смутился.

— Только то, что повелит мне царь.

Георгий поник головой и повторил:

— Только то, что повелит тебе царь... Гм...

— Почему изволишь так говорить, царь царей?

— Нет, ничего, просто так сказал...

Немного помолчав, он продолжал:

— Царица поссорилась со мной, видно, мой духовник насплетничал... Мариам, наверное, сообщила обо всём католикоосу. Если католикос потребует изгнания Шорэны, высылки её в Абхазию, пострижения её в Бедийский монастырь, не давай согласия на это ни в каком случае. Но если...

Он снова помолчал, а затем продолжал:

— Но если католикос заупрямится, скажи ему от моего имени, что Шорэну мы выдаём замуж за Гиршела, владельца Квелисцихе, племянника моей матери. Постарайся не доводить до этого, но если не будет другого выхода, скажи так. Скажи, что Гурандухт прислала уже приданое, а царь дал согласие. Выдаём замуж за Гиршела, владельца Квелисцихе. Скажи так, а там посмотрим, что будет.

Снова почтительно поклонился Звиад. Царь вновь потянул опиум из наргиле и пустил клубы дыма.

Некоторое время он сидел одурманенный, затем бросил вдогонку уходящему спасалару:

— Историей с красными башмаками воспользуйся посвоему.

Сумерки спускались с саркинетских гор, когда Звиад спасалар вошёл в сад католикоса.

Угасающие лучи заката млели на распутившихся ветках персика. Откуда-то доносились резкие крики павлинов.

Звиад попытался незаметно проникнуть во дворец Мелхиседека, но лань перебежала ему дорогу и, наострив уши, стала под миндалём. Посмотрела на него и, взыв, понеслась к боковому флигелю.

Огромные псы с лаем бросились навстречу гостю. Обычно собаки не трогали Звиада, но на этот раз они так тесно окружили его, что он, покрикивая, стал отгонять их ножами меча. Он не хотел обнажать боевого меча против собак. Из флигелей выскочили рабы и разогнали псов.

Дверь на балконе приоткрылась, в неё просунулась голова царского духовника и быстро исчезла.

Звиаду было неприятно, что он столкнулся с этим прохожим.

Без слов поймёт Амбросий, зачем приходил Звиад к Мелхиседеку, и сегодня же доложит обо всём царице.

Царю и спасалару хотелось устроить так, будто Мелхиседек сам приостановил дело Фарсмана, и притом по государственным соображениям, так как делами нравственности и религии по преимуществу занимался он сам.

Как только Звиад ступил на ступеньку лестницы, тотчас же из галереи ему навстречу опять высунулся царский духовник.

— Пожалуйте, Звиад-батано, — с улыбкой приветствовал он гостя.

Всегда нахмуренные, сросшиеся брови Звиада не разошлись, когда он нехотя ответил на приветствие попа и, опередив его, прошёл в открытые двери.

Он миновал три палаты. В них пахло ладаном и миррой. Восковые свечи мерцали перед иконами, висевшими в нишах.

Двери опочивальни были открыты. Ещё не входя туда, Звиад увидел бледное, увядшее лицо Мелхиседека на фоне огромной подушки.

У изголовья сидели настоятель мужского монастыря Стефаноз, мцхетский архиепископ Ражден и монах Гаиоз.

Позади них стояли три светильника. И здесь тоже мерцали бесчисленные свечи перед иконами и крестами.

Когда Звиад поклонился католикосу и приложился к его руке, он почувствовал, что у Мелхиседека не было жара. Он догадался, что болезнь католикоса выдуманна, чтобы оттянуть его встречу с царём.

У Звиада были такие косматые брови и такие длинные ресницы, что посторонние могли принять его за спящего. Но Звиад был великий мастер постигать скрытые мысли людей.

Теперь ему было ясно, почему католикос не пришёл три дня тому назад на совет, созванный Георгием по поводу нового материала и новых рабочих для Светицховели.

Когда кончились приветствия и взаимное осведомление о здоровье, Звиад почувствовал большую неловкость.

Напрасно искал он предмета для беседы с католикосом.

Царский духовник всё время вертелся перед ним и словно спрашивал его своими неприятными, горохового цвета глазами: «Ну, выкладывай скорей, зачем явился. Всё равно ведь и без того всё знаю».

Точно вороны, восседали вокруг постели остальные монахи. Блюстителями молчания казались эти черноризники, сидевшие в увешанной иконами опочивальне.

Как простуженный буйвол, сопел чернобородый богатырь, отец Стефаноз, шумно тянул воздух широким, как труба, бородавчатым носом, ежеминутно поглаживая рукой холеную бороду, спускавшуюся до живота.

Хлопал большими глазами растрёпанный архиепископ Раджен, похожий на человека, одурманенного опиумом.

Сомкнув уста, сидел козлобородый монах Гаиоз, коротконосый старец, со скошенными ушами.

Католикос дал знак, и царский духовник уселся на треножнике. В его взгляде сквозила такая насторожённость, какая бывает у полевой крысы, только что вылезшей из норки на поляну.

Звиад смутился, ладонью погладил подбородок, как это обычно он делал, когда волновался. Не знал, что сказать и как поступить. Доложить католикосу: «Наедине, мол, хотел бы переговорить с тобой, всеблагодать»? Это обидело бы присутствующих.

Наконец набрался смелости и вполголоса пробормотал:

— По повелению царя, я посетил тебя, ваше святейшество. Царь сам желал тебя видеть, но опять занули у него старые раны, ваше святейшество.

Сказав это, Звиад собрался уходить.

— Мой повелитель посылает меня завтра в Уплисцихе, — добавил Звиад.

Но тут заговорил сам католикос:

— Я хотел бы кое-что поведать тебе, Звиад-батано.

Гости привстали.

Звиад заметил, что царский духовник провожает других, но сам как будто собирается остаться. Именно в его-то присутствии и не хотелось говорить спасалару.

Некоторое время он испытующе глядел на иссохшее лицо Мелхиседека. Догадался Звиад, что и сам католикос не хотел начинать беседы до тех пор, пока царский духовник не проводит гостей.

На лице Мелхиседека не было следов жизни. Тонкие, как горчичные корни, голубые жилки вились от скул к вискам. Католикос лежал на спине, сложив на груди руки. Длинные и морщинистые, они походили на руки покойника... Ногти посинели, наружную сторону рук покрывала сеть жилок, какая бывает на незрелом табачном листе.

Достаточно было на минуту закрыть ему свои пуговичные и чёрные, как ночь, глаза, и он мог бы сойти за покойника.

Сомкнутые безжизненные уста Мелхиседека, казалось, с трудом хранили молчание.

Звиад был рад, что эти уста не хотели разомкнуться в присутствии святильщиков. Царский духовник, наконец, вернулся, приложился к руке католикоса и выскользнул за дверь.

Католикос удалил святильщиков.

Некоторое время он продолжал лежать молча и пристально смотрел на восточную стену, словно спрашивая совета у висевших на ней икон.

Затем, наполовину спрятавшись в тень, он начал:

— Дважды просил меня царь к себе, но здоровье не позволяло явиться к нему лично и доложить о том, что я хочу сообщить тебе, Звиад-батано.

Звиад неловко заёрзал в кресле, провёл ладонью по подбородку, напряг слух, ибо по выражению лица Мелхиседека было видно, что тот собирается говорить о чём-то неожиданном и неприятном.

— Моё здоровье очень подорвано, Звиад-батано. Но на то воля божия. Да и мне самому не хочется быть свидетелем гибели Грузии. Пусть раньше сомкнутся очи мои и

замкнётся слух мой, данный мне господом для того, чтобы слушать. Ибо блаженны те, кого смерть застигнет раньше, чем увидят они своими глазами разорение своей родины. Блаженны и те, кто предпочтёт перейти в царство теней, к предкам своим с правдивым сердцем, вместо того чтобы пребывать в среде соотечественников своих, стоящих на пути гибели. Горе тем, кому достанется в удел плач Иеремии среди развалин башен и крепостей своей родины. Неверие наступает на христианский мир. Твёрдость веры и чистота нравов в такое время оградят нас больше, нежели крепости, воздвигнутые тобой, Звиад-батано, по воле нашего царя. Небо обрушится на нас, рухнет христианский мир, и тогда не помогут даже те стальные мечи, которые, по приказу царя Георгия, куёт Фарсман, нехристь и суеслов. Ибо око всемогущего и всевидящего зрит всё, Звиад-батано, и горошинка не упадёт помимо воли его:

Звиад надеялся, что после такого длинного предисловия Мелхиседек перейдёт к сути дела.

Он слушал напряжённо, но Мелхиседек неожиданно заговорил о Баграте Куропалате, восхваляя его.

— Баграт был надеждой всех великих и малых, потому он и раздвинул так широко пределы Грузии. После Вахтанга Горгасали никто не строил так много церквей, как он, Баграт Куропалат. Всехристианнейший был царь Баграт, и потому верховный отец христианского мира, византийский кесарь Василий, даровал ему титул куропалата и зелёную колесницу.

Было понятно, что всё это говорилось в упрёк царю Георгию.

Мельхиседек не захотел вспомнить о том, что сын Баграта Георгий титулам куропалата и невелиссимуса предпочёл борьбу с Византией.

При упоминании о Василии к Мелхиседеку подступил кашель, а Звиада стала душить злоба. Всю жизнь не мог он простить себе, что не убил Василия в битве при Ухтике. Кони их столкнулись тогда грудь с грудью, но спасалар не посмел тронуть христианнейшего кесаря и вместо него пронзил мечом патриция Василиска Кулейба.

Обессиленный кашлем, католикос потерял способность говорить и опять сомкнул свои упрямые уста, чтобы собрать силы для продолжения прерванной беседы.

Спасалар был лишён дара красноречия, даже простая беседа затрудняла его, молчаливого по природе.

Когда он говорил, у него раздувались ноздри, перека-

шивалось лицо, он размахивал кулаками, точно грозил кому-то, и, тем самым помогая себе, искал слов. От чрезмерного волнения он прибавлял к своей речи приговорку: «Не так ли?»

— Если кесарь Василий и в самом деле наш верховный, всехристианнейший отец, как изволишь ты говорить, то почему же он заставил пытать невинного монаха Захария? Ведь не посылали же мы его соглядатаем. Не так ли? Царь Георгий не посылал с ним Комнену красных башмаков. Захарий шёл в Иерусалим ради спасения своей души, не так ли?

Мелхиседек смутился, красные пятна появились у него на скулах.

Мцхетский архиепископ Ражден, недавно вернувшийся из Византиона, как раз перед приходом Звиада, докладывая католикосу о положении грузинских церквей в Византии, вскользь упомянул о задержании какого-то Захария.

— Захарий не православный, он еретик, армянин, — ответил католикос.

— Армянин? — ехидно улыбнулся Звиад. — Монах Захарий — артануджский азнаур, из рода Аришиани. Я ни от кого ещё не слышал, что род Аришиани — армянский.

Католикос был подавлен этим сообщением.

Архиепископ говорил ему, что какого-то Захария Даришиани пытали в Византионе.

Мелхиседеку было неприятно, что его уличили в равнодушии к своей пастве. И кто же уличил? Тот самый Звиад спасалар, которого Мелхиседек считал виновником сожжения олтисского храма.

Разгневался католикос, проклиная в душе архиепископа Раждена; выжил из ума старик, не мог различить Даришиани от Аришиани.

Но этот промах не смягчил Мелхиседека. Он снова заострил меч обличения и принялся бранить царя Георгия. Но и на этот раз он тоже начал издали. Упомянул о том, что Георгий — его родственник, что покойный Баграт Куропалат поручил ему Георгия двенадцатилетним отроком.

Он говорил долго, пока, наконец, подошёл вплотную к делу.

— Георгий любит блудниц. Он ослепил Колонкелидзе, а его единственную дочь поселил во дворце Хурси и сделал своей наложницей.

Несмотря на предупреждение царя, Звиад не ожидал, что католикос так открыто заговорит об этом.

Дело Фарсмана отходило на задний план перед таким обвинением.

Георгий советовался с Звиадом перед тем как освободить Шорэну из крепости Гартискари. Звиад не поддержал тогда царя в его намерении, хотя царь ссылался на то, что нужно обновить крепость Гартискари.

Звиад вспомнил об этом.

— Что касается наложницы, наверное знаю, что царь Георгий не виновен в этом грехе, — злые языки донесли тебе все. Было бы хорошо, всеблаженнейший, проверять сообщения некоторых духовных лиц.

Католикос вспыхнул, догадался, что спасалар имеет в виду царского духовника. Мелхиседека одолевали сомнения. Если мцхетский архиепископ не различил Аришиани от Даришиани, то мог напутать и царский духовник.

«Гартискарскую крепость — перестроить» — это похоже на истину.

Звиад заметил, что католикос смягчился, и поэтому стал смелее.

— Весьма важное и секретное дело хочу я сообщить тебе, твое святейшество, — заговорил он, поминутно поглаживая ладонью подбородок. — Немного ещё осталось жить, всеблаженнейший, Фарсману Персу. Царь и я — прах у ног твоего святейшества — решили укоротить дни этого суеслова, но мы опасаемся, как бы при малейшей обиде не сбежал он к сарацинам. Не так ли? Секреты наши он может продать сарацинам. Не так ли? А сарацины стоят у наших ворот, всеблаженнейший. Не так ли? Фарсман может сбежать, как сбежал Абулели.

При упоминании об Абулели дрожь охватила Мелхиседека.

Он снова закашлялся. Звиад воспользовался этим.

— Самое главное заключается в том, — продолжал он, понизив голос и убедившись, что никто их не подслушивает, кроме икон, — чтобы выведать у Фарсмана секретковки мечей, режущих кость и сталь. Этот проклятый колдун пользуется индийской сталью каких-то неведомых свойств и арабским порошком неизвестного нам состава. Ещё покойный Баграт Куропалат пытал его трижды, бросал в темницу, грозил отрезать язык, вырвал все ногти с пальцев его ног, но ни звука не издал упорный.

Звиад прервал разговор и, посмотрев в глаза католи-

косу, убедился, что тот слушает внимательно. Приободрившись, Звиад добавил:

— Среди пленниц, привезённых из Кветари, есть одна по имени Вардисахар — служанка дочери Колонкелидзе. Мы решили женить на ней старика Фарсмана. Любит блудниц этот язычник, может быть, женщина выведает у него тайну.

Спасалар всё ещё не убедил Мелхиседека в том, что Шорэна не наложница Георгия. Старик поверил только в необходимость перестройки крепости Гартискари. Католикосу было известно, что на сороковой день после смерти Чиабера царь ездил в горы лишь для того, чтобы увидеть эту «грешницу».

Царский духовник не скрыл и того, что царь и царица поссорились из-за этой женщины.

Мелхиседек ценил царицу Мариам «как равноапостольную и великую ревнительницу церкви» (не беда, что азнауры не любят эту «армянку»).

Мелхиседеку было ясно: даже запертая в крепость Гартискари, эта дочь греха опасна для царицы и для нравственных устоев народа.

Вот почему он так уцепился за этот удобный случай.

— Я подал бы царю хороший совет, Звиад-батано...

Спасалар насторожился.

— Если вы в самом деле хотите соблазнить Фарсмана, я бы посоветовал выдать за него дочь Колонкелидзе. Говорят, что она чародейка, эта лукавая женщина, и что она обвораживала людей и помоложе Фарсмана.

Звиад догадался, что католикос имеет в виду царя Георгия.

Вновь постарался он исключить из разговора дочь Колонкелидзе и ещё энергичнее провёл ладонью по подбородку.

— Она всё же дочь эристава, всеблаженнейший. Не пойдёт она замуж за какого-то сарацина или иранца. Не так ли? Кроме того, Вардисахар известна как колдунья. Простолюдинка, дочь сапожника, она была наложницей аланского царя. Но когда Чиабер изменнически убил аланского царя и забрал алашские крепости, он взял в плен эту женщину и подарил её своей невесте Шорэне.

После некоторого молчания снова направил он на Мелхиседека суровый взгляд и заметил, что его доводы всё ещё не убедили католикоса.

— А дело девушки Фанаскертели улажено, всеблаженнейший. Государь подарил жизнь младшему сыну цхратбиского эристава Дачи. За этого несчастного мы выдадим замуж девушку Фанаскертели. Его согласие уже получено. Если же это дело предадим гласности, то опорочим имя невесты, и тогда даже смерть Фарсмана не поможет ей.

Католикос был против смертной казни и ослепления Фарсмана, он требовал лишь его изгнания, но теперь убедился, что это будет наруку сарацинам, и потому поверил во всё, о чём говорил ему Звиад.

Мелхиседек согласился просить царя о том, чтобы главный судья временно приостановил дело Фанаскертели. Католикос надеялся, что такое милосердие поможет обратиться Фарсмана в христову веру.

Звиад счёл беседу законченной и собрался уходить.

Католикос лежал, сложив руки и сжав уста, и глядел на иконы. Вдруг он повернулся к Звиаду.

— Это всё хорошо, Звиад-батано, но... ещё одно самое важное дело должно быть улажено навсегда. — И уставил на Звиада глаза—чёрные дуговички. — Ты проницателен, Звиад-батано, тебе известно, какое тяжкое бремя господь возложил на меня в этом мире. Царица Мариам посетила меня три дня тому назад. Она сидела вот в том кресле и обливалась горькими слезами. Жаловалась на распутность царя. Говорила, что решила постричься в монахини в Бедийский монастырь. Царицу Мариам грузинская церковь когда-нибудь причислит к лику святых, но сейчас пострижение её в монахини было бы вредно для государства. Поэтому я требую от царя Звиад-батано, пострижения девушки Колонкелидзе в Бедийскую женскую обитель.

Звиад очутился в тупике, он понял, что отступать некуда, и сразу же отказался от борьбы. Он сообщил католикосу то, что ему сказал царь:

— Гурандухт выдаёт свою дочь за Гиршела, владельца Квелисихе. Царь Георгий дал уже согласие.

Католикос счёл это благоразумным.

Было полночь, когда трое светильщиков провожали спасалара из сада католикоса.

Звиад отпустил слуг и посмотрел на усеянное звёздами небо. В окрестностях моста Звездочётов прокричал фазан.

Царица Мариам с нетерпением ждала после пасхи приезда владетеля Квелисцихе. Она не любила родственников мужа, особенно Гиршела. Но на этот раз возлагала на него надежды.

Царица была уверена, что как только Гиршел обручится с Шорэной, царь оставит эту дочь греха, и злые языки перестанут о ней сплетничать.

Наступило весеннее половодье. Арагва, Мтквари и Ксани разлились в этом году особенно бурно. Мариам потеряла надежду, да и другие перестали ждать гостей в ближайшие дни.

Владетель Квелисцихе не был во дворце с отроческих лет. И сейчас старые и малые были заняты им. Семь лет находился Гиршел со своими тремя азнаурами в плену у сарацин.

В день байрама<sup>1</sup> их привели во дворец халифа.

Грузины набросились на сарацинских воинов и гулиамов, обезоружили их, отняли у них латных коней, с боем проложили себе путь и бежали. Спустя год они достигли Квелисцихе.

За полночь под красную горку к дозорным башням Арагвских ворот подъехали семь рыцарей в латах в сопровождении большой свиты.

Они пересекли разлившуюся Мтквари у Квахврели. Река унесла оруженосца эристава — Качабураисдзе, и азнауры тщетно пытались спасти его. Наконец сам эристав бросился за ним. Течением унесло лошадь тонувшего оруженосца. Гиршел вплавь догнал его, подхватил подмышки, как малое дитя, и выволок едва живого на противоположный берег. Затем вплавь бросился за конём и уже верхом на нём снова переплыл реку.

С трудом переправились они и через Ксани.

На другой день после их приезда в Мцхета Мелхиседек служил благодарственный молебен по случаю их чудесного спасения.

Вся Мцхета заговорила о храбрости эристава Гиршела.

После полудня, когда католикос Мелхиседек и его собор сидели в большой царской палате, туда вошёл, звеня шпорами, богатырь в серебряной кольчуге, но без меча. Его сопровождали семь азнауров в латах.

<sup>1</sup> Байрам — название одного из главных магометанских праздников.

Он направился прямо к царице, опустился перед ней на одно колено, поцеловал руку, затем приложился к руке католикоса, расцеловался с царём Георгием, и когда подошёл к спасалару, то все заметили, что даже великан Звиад на целую голову ниже его.

Медвежья неловкость чувствовалась в движениях гостя. На щеках виднелись следы ран, нанесённых мечом, и это портило его красивую наружность. Голос у него был гулкий.

Гиршел редко смеялся и был скромен в обращении с людьми.

Царица не сводила глаз с гостя; когда он обнял царя, пронизательный взгляд Мариам заметил, что Георгий холодно встретил долгожданного родственника.

Гиршел простудился при переправе через Мтквари, кашлял, но не обращал внимания на недомогание.

Странные сведения получила царица о Гиршеле: будто он избегает женщин, часто курит опиум и много пьёт.

Красивейшую придворную даму Анчабаисдзе назначила царица прислуживать гостю; но когда ей представили Гиршела, он странно смутился: его большие уши покраснели, как петушинный гребень.

Он едва вымолвил несколько слов.

Царица объяснила это тем, что в плену у мусульман он отвык от обращения с дамами.

Обед начался с обычным для абхазского двора церемониалом.

Необыкновенный аппетит чувствовал Гиршел после долгого пути. Приятно щекотали его вкус и обоняние шашлычки из оленины, жареная осетрина, варёные бычьи лопатки и другие ароматные яства.

Скромный, вежливый и обходительный, он щипал еду, как олень почки деревьев. Рыцарь стеснялся есть в присутствии дам.

Все заметили, что гость чувствует себя неловко за обедом, да и его самого поражала тишина, царившая за столом, поражало молчание обедающих.

Царь, царица и весь двор вели себя так, словно были в ссоре между собой.

После обеда началось пиршество.

По приказу стольничьего, внесли большие серебряные багратидские ковши. Подавали отенские, хидиставские и мухранские вина.

Гиршел, проживший долгое время в магометанских

странах, жаждал вина, но он знал, что во дворце не принято излишествовать, и потому сдерживал себя, сколько мог.

Нехотя обедал и царь, но вино он пил охотно и приглашал выпить Гиршела.

— Отпей немного, — то и дело просил его царь.

— Нездоров я, — отговаривался Гиршел, едва пригубив чашу и смакуя с наслаждением тонкий вкус вина.

В тот день пиршество закончилось рано.

Больше всех был доволен этим Гиршел.

Он вышел с царём в дворцовый сад; здесь каждое дерево, каждый куст напоминал Гиршелу его детство.

В этом цветнике ловили они с Георгием бабочек, в том фруктовом саду ставили силки для птиц, в дупле вон той липы следили за только что вылупившимися совытами, на это грушевое дерево карабкались вдвоём, с того персикового дерева рвали спелые персики, под тем ореховым деревом поджидали падения созревших плодов.

Грушевые деревья поросли омелой, высохли ветки персиковых деревьев, в стволах орехов образовались дупла. Срубили инжировые деревья. Молодняк заменил их молочно-серые стволы.

Вон на той осине разоряли они скворешники, стреляли из лука в голубей, которые садились на яблони.

Под этой липой катались они когда-то на одном ослике и, вооружённые палками, мнили себя рыцарями в латах.

Из дупла того тутового дерева таскали они птенцов.

С каждого дерева, из-под каждого куста глядело на Гиршела его счастливое детство. Но этот уголок перестал быть пышным садом их юношеских потех. В сад грусти превратился он.

Они проходили мимо охотничьего дворца.

Соколы и ястребы дремали на насестах. Главный ловчий пригнал псов: ищейк, гончих и борзых.

Собаки окружили царя. Гиршел был в восторге от этого зрелища. Весело лаяли гончие, визжали ищейки. Чёрная с желтоватыми пятнами борзая подпрыгнула к Гиршелу, запачкав ему лапами аксамитовый кафтан.

Георгий чесал собак за ушами, совал в пасть руки, трепал за нежные мочки, прочищал глаза.

Когда угнали псов, Гиршел спросил царя:

— А где твой гепард, Георгий?

— Мой гепард взбесился, Гиршел, мы лечили его, давали ему сок белладонны, но это не помогло ему, и од-

нажды он набросился даже на меня. До сих пор страх еще пробирает меня при воспоминании о том дне. И произошло это, когда я вышел в сад без кольчуги, без меча. На помощь прибежал скороход Ушишараисдае и пронзил гепарда пикой. А теперь я тебе покажу нечто такое, чего ты никогда ещё не видел.

Они пересекли дворцовый сад и подошли к оленьему загону. Гиршел был поражён. Ни в зверинце шаха, ни в охотничьих павильонах Фатимидов не видел он такого количества оленей.

Он упрекнул Георгия за то, что за оленями, видимо, плохо смотрят.

— Этих оленей я отобрал у кветарского эристава — отца твоей невесты Шорэны, — ответил Георгий, испытующе глядя на гостя.

У Гиршела покраснели уши при упоминании о Шорэне. Чтобы скрыть волнение и стыдливость, он вцепился руками в плетёный забор загона, вытянув шею, перевесился через него и с преувеличенным вниманием стал рассматривать лес оленьих рогов.

Оленьи самки выглядели особенно жалко. Зимняя шерсть с них слезла, а новая ещё не отросла. Иных покрывал нежный пух, похожий на вымороженную редкую траву на холмах в конце февраля, когда зима прошла, а весна ещё не наступила и на горах лежат рябые проталины.

Оленята грудились в углу у каменной ограды, похурив головы, дремали и дрожали даже на солнцепёке.

— Олени эти выросли в горах, — сказал Георгий. — Уход за ними хороший и кормов отпускается вдоволь, но они плохо переносят мцхетский климат.

Главный ловчий открыл плетёную дверцу: царь и Гиршел вошли в загон.

Чувствовался запах скота и навоза. Гиршел взглянул на оленят.

— Повидимому, они болеют лихорадкой.

Самцы заволновались, увидев чужих людей.

Гость разглядывал самую красивую олениху.

— Эта олениха — любимица Шорэны. Шорэна сама её воспитала.

— И теперь следит за ней? — спросил Гиршел.

— Дочь эристава находилась в Гартискарской крепости, а теперь живёт во дворце Хурси. Когда она станет твоей невестой, то будет вольна следить за своей оленихой. Ду-

ковник Шорэны, монах Афанасий, говорил мне, что она очень скучает по своей Небиере.

Гиршел ещё не видел дочери Колонкелидзе. Он пристально рассматривал Небиеру, словно хотел в образе этой прекрасной, львиного цвета, оленихи увидеть облик своей невесты.

Георгий удалил главного ловчего и слуг.

— Загон запрём сами, — сказал он.

Оставшись вдвоём с Гиршелом, он стал разглядывать Небиеру. Вспомнил он короткие счастливые минуты, которые провёл во дворце Колонкелидзе в ту ужасную ночь, когда царские войска брали Кветарскую крепость.

— Шорэна не похожа на других девушек, — обратился он к Гиршелу, — она смелая и искусная охотница.

— Охотница?

Много рассказов слышал Гиршел от своих тёток о красоте Шорэны, но он не мог себе представить, как эта красавица может быть хорошим стрелком и охотником.

Ему вдруг страстно захотелось увидеть её. Он уже хотел попросить друга детства показать ему невесту, но вспомнил: во дворце ждали приезда Гурандухт, без неё нельзя встретиться с Шорэной. Слова, готовые сорваться с его уст, застряли в горле. И он сказал Георгию.

— Я стеснялся царицы и католикоса, а по правде говоря, мне хотелось выпить за обедом.

Георгию стало неловко.

«Заметил, наверное, что я холодно его принял», — подумал он, но улыбнулся и похлопал гостя по плечу.

— А, вот как! Ну, что ж, вспомним, друг, старину, постоязаемся в выпивке! — сказал он.

После некоторой паузы он внимательно оглядел Гиршела и добавил:

— Если хочешь кутнуть по-настоящему, надо переодеться.

Гиршел удивился.

На нём была серебряная кольчуга, а под ней аксамитовый кафтан. Что же мог надеть на себя гость лучше этого?

— Мы оба должны одеться простолюдинами.

Гиршел улыбнулся.

Георгий не знал никого из придворных, чья одежда пришлась бы впору Гиршелу. Он попросил у Звиада охотничью шубу, но и эта оказалась мала великану.

Царь вспомнил про скорохода Ушишараисдзе. Громадный Гиршел был забавен в короткой одежде и заячьем полушубке скорохода.

## XXVI

Гиршел с удивлением смотрел на царя, который выкрасил бороду хной.

— А знаешь, Георгий, ты очень похож на Ал-Хакима. У халифа такая же рыжая борода. Сарацины могут принять тебя за его родного брата.

— Мой дед помогал кесарю в войнах против сарацин. Баграт Куропалат любил женщин. Быть может, он встречался с матерью халифа.

Гиршел улыбнулся.

— Забыл тебе рассказать: как раз в ту ночь, когда мы избили гулямов — сарацинских воинов, халиф Ал-Хаким вышел погулять и бесследно исчез.

И добавил:

— Так что ты можешь объявить себя богом сарацин.

Оба они от души смеялись.

Шли вверх по Арагве.

— Да хранит тебя бог, Гиршел, не проговорись об этом, не то католикос обвинит меня в новом святотатстве.

Остановились.

Мимо стремилась бешеная река. Она мчала с собой вырванные с корнем пихты, куски льда, утонувших овец.

Несла двух буйволов с ярмом на шее. У несчастных животных только головы торчали над водой, они жалобно ревели, глядя на берег.

Иногда один из них с усилием вскидывал вверх свою половину ярма, и тогда другой погружался в воду.

— Вот так же судьба иногда впрягает в одно ярмо двух человек, — сказал Георгий.

— И топит одного или другого, — добавил Гиршел.

— Но может погубить и обоих, — ответил Георгий.

Какие-то юноши на берегу скинули с себя одежды и вplash бросились за уносимыми рекой животными.

— В юности мы с тобой переплывали Арагву, а теперь прыть уже не та, — сказал Гиршел двоюродному брату.

Георгий вспомнил всегдашние состязания в мужестве с другом своей юности.

— А почему бы не попробовать? Если ты переплыл позавчера Мтквари, почему бы мне не одолеть Арагву?

— Должен тебе признаться, что в ту ночь вода в Мтквари была не так-то уж высока.

Георгий снова посмотрел в сторону Арагвы. Парни догнали буйволов. Георгий обрадовался, — он любил буйволов. Всегда удивляло его, почему так печально ревут эти сильные животные?

Он поделился своими мыслями с Гиршелом.

— А ты как думаешь, — сказал Гиршел, — сильному приходится труднее. Вот почему так грозен оскал льва, тигра и гепарда. Белки, мыши и барсуки шмыгают вечно весёлые. В Аравии мне приходилось слышать, как ревут львы. Выйдет лев в пустыню и ревет. Как громовые раскаты, разносится вокруг его скорбный рёв, ужасом сковывающий душу.

Молча шли вдоль берега.

Гиршел пристально посмотрел на дом с террасой.

— Помнишь, Георгий, как мы сбежали от дядьки? Какие-то пьяницы напоили нас, потом к нам пристал горбун и завлѣк к распутницам. Нас оттуда выгнали старики, — как вы смели, мол, щенята, явиться сюда! Цыкнули на нас, и мы, смущѣнные, должны были уйти.

Георгий расхохотался от всей души.

На террасе дома и теперь сидели женщины и смотрели на разлившуюся Арагву.

Какие-то юноши тащили из воды невод.

Георгий и Гиршел стали над уступом.

Рыбак раскрыл невод: вандыши и форели заплясали на берегу.

— Угостите нас рыбой! — кричали им сверху девушки.

Гиршел внимательно рассматривал улицы, сады и террасы.

Вспоминал на каждом шагу своё детство.

Они устраивали петушинные бои, тайком уходили из дому на масленицу ряжеными, а в сочельник бегали колядовать и, несмотря на воркотню воспитателя, всё же шли рыбачить к Арагве. Ловили в садках и метали гарпуны. Возводили снежные башни и штурмовали их.

Беседа, дошли они до Санатлойского квартала.

Когда проходили мимо дворца Хурси, Гиршел, как мальчишка, пристал к Георгию:

— Всё равно ведь мы похожи на простолюдинов, заглянем в ворота дворца, хоть издали посмотрим на пховских девушек.

Георгий и сам был непрочь проникнуть во дворец, но его злило присутствие Гиршела.

Гость настаивал на своём.

— Может, случайно, хотя бы издали увидим Шорэну, — просил он.

Георгий призадумался: «А вдруг он иначе поймёт моё сопротивление?» — и повёл Гиршела в сад дворца Хурси.

На балконе было темно.

Неожиданно залаяли собаки.

Навстречу вышла в сад пховка, невысокая, рябая.

— Добрый вечер, — приветствовала она гостей.

Спросили, где Шорэна.

Женщина замаялась.

— Монах Афанасий взял Шорэну и её прислужниц в Зедазени на богослужение. Дома осталась одна Вардисахар, она не могла ехать в тот день, была нездорова. Могу позвать её, если угодно, — сказала рябая женщина. Но у них не было желания видеть Вардисахар, и они повернулись было уходить, но пховка не отставала, «откуда, мол, вы и зачем спрашиваете о моей госпоже».

— Мы кларджетские странники, старые знакомые Колонкелидзе.

— Так подождите немного, Шорэна скоро вернётся.

— Зайдём в другой раз, — сказал Георгий и направился к выходу на улицу.

Когда шли мимо царских конюшен, Гиршел стал упрасивать, чтобы ему показали царских жеребцов; слышал, мол, о них, хвалят их очень.

В конюшне стоял запах, который любители лошадей отнюдь не находят неприятным.

Боевые кони заржали, увидев своего хозяина.

Георгий любил их безгранично, много испытаний перенесли они, его бранные друзья. Кони были покрыты славными ранами, так же как и молодой ещё их хозяин.

Георгий часто говорил шутя:

— Мы, люди, по своей воле убиваем друг друга, но в чём повинны эти бедные животные?

Он подходил к каждой лошади, ласкал, гладил рукой за ушами, трепал гриву, щиколотки, целовал в глаза, называл нежными именами.

Эти прекрасные, верные животные понимали ласку, ржали, фыркали, приветливо мотали мордами.

— Тебе говорю, Гиршел, если эриставы свергнут меня с

трона, пойду в конюхи и будут смотреть за лошадьми, — это даст мне величайшее счастье.

С восторгом разглядывал владетель Квелисцихе боевых коней: меринов, жеребцов, арабских жеребят и текинских кобылиц.

— Знаешь, Георгий, — обратился он к другу детства, — в бою я больше всего жалею коней. Сколько раз был готов я вместо коня подставить свою грудь под стрелы врага. Когда Мтквари унесла Качабураисдзе, я, не жалея себя, бросился за ним не ради него, а ради коня.

Пересекли двор конюшни.

В доме Габо мерцала лучина.

Это был обыкновенный деревенский дом — дарбази — с громадным столбом, подпиравшим кровлю. На перекладинах были подвешены окорока, которые коптились в очажном дыму.

Габо суетился в ожидании гостей.

Над очагом, расположенным посреди дома, спускалась цепь, к которой был подвешен гусь.

У очага сидела женщина. Она поворачивала гуся, жир стекал в подставленную под ним сковородку. Женщина крылышком смазывала гуся тем же жиром.

Стоял приятный запах. У Георгия и Гиршела разыгрался аппетит.

В хате Габо они застали незнакомого джавахского пастуха Ундилаисдзе.

— А ну-ка, узнайте моего гостя, — обратился Георгий к друзьям юности.

Ни Габриэль, ни Китеса, ни Эстате не узнали Гиршела.

Царь не хотел выдавать секрета при чужом пастухе.

— Ну, ладно, — сказал он, — садитесь, давайте сначала выпьем, и потом я представлю вам этого молодца.

Габо влез на чердак и снял оттуда копчёный курдюк трёхлетней выдержки.

Нищета царяла кругом, на стенах висели лоскутья грубой домотканой шерсти, в углу были свалены изодранные мутки и тюфяки. Три колыбели стояли перед постелью. Дети жалобно пищали.

Мальчуган задивался тонким плачем, который переходил у него в икоту и кашель. Он кашлял и закатывался, как петушок.

Женщины, занятые уборкой стола, не обращали на ребят никакого внимания.

Георгий подошёл к ребёнку, понежил, приласкал его.

Приложил указательный палец к подбородку.

— Агу-у-у! Агу-у!

Курдюк положили варить в котёл. Гостям подали рыбу с острой подливой. Запах подливы, заправленной сельдереем, раздражил и без того сильный аппетит Гиршела.

Георгий подсел к очагу, взял у женщины крылышко и стал медленно смазывать жиром гуся, висевшего над очагом.

— Сколько у тебя детей, тётка?

— У меня? Да у меня двое.

— Близнецы?

— Близнецы, — ответила женщина стыдливо.

— Ну, дай им бог вырасти большими.

Георгий окунул крылышко в сковородку и смазал гуся.

— А чей же третий, тётка?

— Сестра у меня гостит. Этот маленький — её сын. Бедняжка заболел коклюшем.

Гиршел жадно поедал сома. Эстате то и дело вносил наполненные вином глиняные кувшины.

— Сегодня я был в гостях у моего побратима, голодом уморил он меня, окаянный! — сказал Гиршел и, свернув тонкий лаваш, обмакнул его в подливу и запустил в рот.

При виде влажных винных кувшинов Георгию тоже захотелось вина. Гиршел передал Эстате очередную чашу.

— Из этой чаши выпьем за здоровье нашего Глахуны, — произнёс Эстате.

Георгий взял у друга чашу, поднял её и сказал:

— Сначала выпейте за здоровье моего гостя Икункелидзе.

Гиршел улыбнулся и ничего не сказал.

— Этот человек приехал из Мцхета жениться. Он переплыл разлившуюся Мтквари, ибо обычай героев такой: ради возлюбленной быть готовым к любым испытаниям.

Глахуна посмотрел кругом и, убедившись, что женщины вышли, сказал:

— Нет, ребята, неправду я вам сказал. У него в Мцхета живёт наложница, из-за неё не пожалел он живота своего.

Габо заметил, что Глахуна соревнуется в выпивке с неизвестным, и шепнул Эстате:

— Подлей немного водки в вино этому богатырю, а не то он всех нас перепьёт.

Затем обратился к Георгию:

— Ты налегай на гуся; Глахуна. Помни, это вино обманчиво.

Глахуна оторвал ляжку у гуся. Гиршел ел молча. Своими хищными зубами он раздирал мясо, разгрызал кости, облизывая сальные пальцы.

С аппетитом ели остальные.

Глядя на них, у Георгия тоже разыгрался аппетит.

Кончились тосты за здоровье присутствующих и домочадцев. Георгий взглянул на Ундилайсдзе, и когда убедился, что тот достаточно пьян, поднял бычий рог и произнёс:

— Разрешите, друзья, и мне сказать тост. Помните вы друга нашего детства, племянника матери моей, Гиршела?

— Как же не помнить, Глахуна, с ним мы не раз рыбачили в Арагве, — ответили все трое.

— Так вот, Гиршел бежал от сарацин и прибыл в Квелсцихе в день пасхи. Выпьем, ребята, за Гиршела. Вы помните, верно, и то, как он когда-то соревновался с нами в выпивке. Будь он теперь с нами, мы бы потешились над ним.

— Э-эх, будь он с нами! — загоготал Габо.

Гиршел обнажил хищные клыки, опорожнил рог и стал грызть огузок гуся. Вдруг он покраснел, как-то странно зашатался и выронил жирный кусок в миску. Его затошнило, но он удержался, упершись локтями в колени.

Габо наполнил турий рог до краёв.

— Выпьем, по обычаю, за здоровье царя Георгия.

Опорожнили турий рог. Снова стали есть молча.

— Как вы думаете, что ест сейчас этот бедняга, царь Георгий? — сказал Эстате.

— Наверное, как и мы, смакует курдюк трёхгодичной выдержки, оленьи шашлыкки ему не по карману, — пошутил Ундилайсдзе.

Царь Георгий в самом деле ел в эту минуту курдюк трёхгодичной выдержки.

Он улыбнулся и вытер ладонью жир с усов.

Георгий испугался, как бы пастух не узнал его.

Он подмигнул Габо, — закатай, мол, ему ещё один рог.

Тамада наполнил рог до краёв.

— Пью за здоровье твоих домочадцев! — обратился он к Ундилайсдзе.

Мухранское вино сразило джаваетца.

Он опустил голову и задремал.

Вино всё больше разбирало Гиршела. Но, как и во всём, он состязался со своим родственником и в выпивке.

Стойко пил сам, но следил и за чашами, которые осушал Георгий.

— Соревнование со мной погубит тебя, Икункелидзе, — крикнул ему Глахуна. Одним дыханием опорожнил он огромную чашу и передал её Гиршелу.

Гиршел наивно улыбнулся ему.

Китеса, Эстате и Габо удивились, что царь пьёт с таким увлечением.

Гиршел совсем опьянел. Он стал приставать к Георгию:

— Довольно на сегодня, пойдём заглянем во дворец Хурси.

Георгий не соглашался. Если они прекратят выпивку, Гиршел обязательно потащит его поглядеть на пховских девушек. Увидев невесту, он не сумеет удержаться и выдаст себя. О них узнает весь город.

Он шепнул Габо, чтобы тот продолжал пирушку. Выпили за упокой усопших, вспомнили друзей, павших в боях. Выпили за духа-покровителя очага.

Встал старый охотник Эстате:

— Эту чашу выпьем мы за того осетра, который сегодня ночью, плывя вверх по Арагве, ищет в бездне свою подругу и мужественно рассекает волны, чтобы догнать её в Гудамакари и утолить своё желание.

Тост кольнул в самое сердце Георгия. Почему-то этот осётр напомнил ему Гиршела. Гнев обуял его, но он смолчал.

Бычий рог снова обошёл круг. Георгий принял рог от Гиршела и, выпив, опрокинул его на ноготь большого пальца.

Теперь Китеса поднял рог.

— Да здравствует олениха, которую царь Георгий держит в загоне и которая в трубное время зовёт желанного друга.

При этом тосте Гиршел вспомнил о Небиере, а Небиера напомнила ему Шорэну. Он наклонился к родственнику и опять шепнул ему:

— Если ты не пойдёшь со мною, я один пойду к пховским девушкам.

Ревность впиалась в сердце Георгия.

— Подожди немного, сейчас пойдём, — ответил он и наполнил турий рог.

— Выпьем за того самца-олени, который в лесу Сапур-

цле преследует сейчас свою самку. Если другой самец попытается помешать ему, он рогами распорет своего соперника! — произнёс он.

Тост за оленя-самца свалил Гиршела. Его затошнило, он вскочил и в темноте наткнулся на хлебный ларь.

Богатырь повалился наземь.

Четверо мужчин едва доволкли его до навеса, уложили на солому, накрыли буркой. Но бурка Габо едва доходила ему до колен.

Гиршел тут же захрапел.

— Знаете, ребята, кто этот человек? — спросил Георгий друзей своей юности. — Это Гиршел, племянник моей матери.

— Что же ты не сказал нам раньше! Мы не стали бы его так безжалостно накачивать, — сказал Габо с сожалением.

Все трое подошли к Гиршелу и расцеловали спящего.

— Знаете, ребята, я бы узнал его, но раны на лице ввели меня в заблуждение, — сказал Эстате.

Уже вечерело, когда три друга провожали гостя.

— Пойдём в конюшню, — пожелал Георгий.

Когда вошли в конюшню, Глахуна попросил оседлать золотистого жеребца.

От удивления Габо застыл на месте.

— В такое время седлать коня!

Глахуна испылил.

— Царь Георгий приказывает тебе: седлай сейчас же.

Эстате и Китеса, изумлённые, глядели на царя. Спокойный и обходительный, он никогда не капризничал.

Наконец старший по годам Китеса собрался с духом.

— Если ты не скажешь нам, куда хочешь ехать, мы не выполним твоего приказания, — сказал он царю.

— Тебе говорят, Эстате, не болтай лишнего. Сбегай за Ушишараисдзе и сейчас же доставь его сюда. Хочу ехать сегодня ночью в Зедазени.

— Арава сегодня как бешеная, невозможно проехать в Зедазени, — умолял седой Китеса, стоя на коленях.

— Убей всех нас троих, если тебе угодно, но сегодня ночью мы не отпустим тебя в Зедазени...

Габо положил седло на землю и бросился к ногам разгневанного царя.

— Мы переплывём Арагу. Мы исполним любое твоё желание.

— Нет, вы не сможете меня заменить.

— Тогда делай с нами, что хочешь. Не будем седлать коня, Глахуна,— сказал Габо и унёс седло обратно в конюшню.

Китеса стоял на коленях перед Георгием, умолял его во имя дружбы, просил не оскорблять хлеба-соли и, наконец, заклинал царя памятью матери.

Георгий больше всего на свете любил свою мать. И он смягчился.

— Тогда уходите от меня все, хочу остаться один,— заявил он твёрдо.

— Ты наш повелитель, розами да будет усеян путь твой,— ответил ему Китеса.

## XXVII

Шёл Георгий и бормотал непонятные слова. Друзья шли за ним поодаль. Они видели, как он угрожал кому-то. Прячась за каменные заборы, они следили, куда пойдёт царь.

Глахуна пересёк площадь и свернул влево к дворцу Хурси.

Тут все трое вспомнили слухи, идущие по Мцхета: царь живёт с Шорэной Колонкелидзе.

Посмотрели друг на друга и отстали от него.

Георгий вошёл в фруктовый сад. Он взглянул на луну, стоящую над горой Зедазени.

Как заснеженные, стояли персиковые и яблоневые деревья, лёгкий ветерок тихо шептался в верхушках. Под деревьями трепетали узорчатые тени ветвей, и идущему по тропинке казалось, что земля колыхается.

Запах земли, запах отзимовавших корней, тонкий аромат цветущих персиков разливался вокруг. От выпитого вина Георгий чувствовал прилив необычайной смелости. В эту минуту ему были нипочём царица и католикос Мелхиседек. Ему было безразлично, что будут о нём говорить злые языки во дворце.

Яркие светильники мерцали во дворце Хурси.

«Наверное, Шорэна вернулась из Зедазени»,— подумал он.

— Не только с Гиршелом, но даже с отцом моим, Багратом Куропалатом, если бы он поднялся из могилы, даже с ним я не стал бы считаться,— произнёс вполголоса Георгий.

На высоком небе звёзды нежно мигали фиалковыми ресницами. Никогда Георгий не испытывал такого счастья.

Он был ещё юношей, когда наставник и Мелхиседек женили его на Мариам. Ему навязали её, как навязывают свахи чумазую невесту деревенскому парню.

Он до сих пор ещё не вкусил сладкого нектара недостижимой любви.

Георгий осматривал сверкавший белизной фруктовый сад. Любовь, вино и нежный аромат цветов обволакивали его сердце. Он опять взглянул на окна дворца, чтобы окончательно убедиться, что Шорэна вернулась. Грёзы одурманивали его.

Георгий вошёл во двор дворца Хурси. Конюшня была открыта, флигель разрушен, и лишь огромная каменная лестница оставалась нетронутой.

Где-то кричали индийские попугаи.

Он достиг середины лестницы, не встретив ни слуг, ни собак.

«Нечего сказать, хорошо стережёт пховских пленниц полоумный монах Афанасий», — подумал Георгий. Он пожалел, что не попытался раньше проникнуть переодетым в этот дворец.

Оставалось пройти всего несколько ступенек, как вдруг на балкон вышел ручной гепард и остановился наверху лестницы.

Фосфорический блеск сверкал в глазах хищника.

Георгий удивился, что гепард Хурси до сих пор ещё жив.

Он поднялся двумя ступеньками выше. Гепард спокойно двинулся к нему навстречу. Георгий был без панцыря и потому невольно схватился за рукоять меча.

Какая-то женщина вышла вслед за гепардом. Увидев чужого, она испугалась.

Гепард приблизился к Георгию и, как пёс, обнюхал его колени.

Георгий хотел левой рукой приласкать зверя, но гостеприимство гепарда показалось ему подозрительным.

Правой рукой он приготовил меч.

— Не бойтесь, батоно, не тронет! — крикнула женщина, стоящая наверху лестницы.

Георгий смутился, что женщина сочтёт его трусом.

Он поднялся на балкон. Женщина в платке кизилового цвета показалась ему знакомой.

— Добрый вечер! — приветствовал её гость.

— Вам кого угодно? — спросила женщина.

— Хозяйку этого дома! — ответил Георгий.

— Хозяйку этого дома? — удивилась она. — Хозяйка

уехала к сарацинам, — добавила она после короткого молчания.

— Кто сейчас живёт во дворце?

— Мы — пховские пленницы.

— Ты кто такая, девушка?

— Служанка дочери эристава.

— А где сама Шорэна, госпожа твоя?

— Шорэну и её прислужниц наш духовник повёз в Зедзени.

— Как твоё имя, девушка?

— Вардисахар, сударь.

Георгий слышал про эту женщину и оглядел её внимательно.

— А кто будешь ты сам, сударь?

— Я скороход царя Георгия, Авшанидзе Глахуна моё имя.

Упоминание о царе привело женщину в сильное волнение.

— Пожалуйста сюда, — сказала она почтительно гостю, приглашая его в большую залу.

В четырёх углах залы горели высокие, в человеческий рост, подсвечники из чистого серебра. В нишах светились восковые свечи.

Стены были украшены оленьими рогами и шкурами. Вдоль стен виднелись раскрытые мапраши, лари и сундуки.

По середине залы стоял серебряный столик, а на нём — развёрнутый свиток.

Вардисахар подвела гостя к этому столику и предложила ему стул.

Георгий без стеснения заглянул в свиток.

— Что это такое?

— Это список приданого дочери эристава.

Вардисахар внимательно оглядела гостя. По его одежде она заключила, что он из простых, и потому повела с ним откровенную беседу.

Приданое Шорэны, повидимому, приводило её в восторг. Она перебирала вещи и безумолку болтала, расхваливая свою госпожу.

— Нежная сердцем, прекрасная лицом, Шорэна одинаково добра к великим и к малым, кротость женщины и мужественность рыцаря сочетались в ней в равной мере. Судьба изменила моим господам. Лазутчики донесли царю на Колонкелидзе, все обвинили его в измене царю.

Она принялась бранить Звиада спасалара, который разрушил Кветарский замок. Несчастного эристава ослепили без вины. Чиабёра, жениха дочери эристава, убил Звиад. Сам царь хотел жениться на Шорэне, но Мелхиседек и царица помешали этому. Но бог всё же не оставил Шорэну без своей милости...

Вардисахар начала рассказ и про свою жизнь.

— И я когда-то была счастлива. Аланский царь считал меня своей невестой. (Она скрыла, что была наложницей аланского царя, не сказала и о том, что Чиабер отравил его.)

Но вдруг она прекратила болтовню.

— А всё же, какое у тебя дело к Шорэне, человеке? — спросила она.

— Мне приказано доложить ей, об этом лично.

— Тогда подожди немного. Она скоро вернётся.

Георгий не знал, что бы он стал говорить, если бы Шорэна вдруг вошла.

Из беседы Георгий понял, что девушка не знает о том, как сильно разлилась Арагва.

— Всю неделю я не выходила из дому. Пересчитываю и убираю приданое Шорэны. Завтра ждём приезда Гурандухт, — сказала Вардисахар и подвела гостя к открытым мапрашам.

С благоговением показывала она церковную утварь: иконы, окованные золотом, кресты в серебряных ларцах, усыпанные крупными рубинами и сапфирами.

Достала крест, унизанный крупными жемчугами, библию и псалтырь, украшенные цветными миниатюрами, и окованные золотом футляры для них.

Открыла шкатулку из слоновой кости, достала серьги из рубинов бадахшанских, бирюзы нишабурской, золотые витые цепочки с подвесками.

Надела на себя изумительное ожерелье из розового аметиста и кольца с багряными, жёлтыми и бледнорозовыми яхонтами.

Поставила зеркала в инкрустированных золотом рамах и примеривала перед ними серьги.

Она рассчитывала одним видом этих драгоценностей ослепить простолюдина в грубой одежде.

Когда благородные камни засверкали на Вардисахар, её и без того красивое лицо озарилось их чудесным блеском, но её восхищение перед этими украшениями ещё больше подчёркивало её незнатное происхождение.

Потом она открыла большой ларь, орнаментированный крестами, достала оттуда золотые пиалы, чаши и подносы из литого серебра, лекифы с горлышками, как журавлиные шеи.

Георгий взял в руки золотую пиалу. На ней были изображены олени: самцы и самки попарно следовали друг за другом. Их разделяли какие-то чудовищные человеческие фигуры с волчьими мордами.

На большом лекифе была изображена охота на фазанов. Стрелки, охотники, головы ищеек, изогнутые спины убегающих газелей причудливо окаймлялись изображениями виноградных побегов, исполненных мастером с величайшей тщательностью.

Затем Вардисахар достала туалетные золотые корзиночки, чаши, в которых растирают белила, вынула приборы для причёски, золотые палочки для ушей и зубов, щипцы с хрустальными ручками для завивки волос, зажимки для кос, золотые, в виде перевитых змей.

С показным вниманием рассматривал все эти вещи Георгий, брал из рук Вардисахар, перебирал, разглядывая каждую в отдельности.

Женщина развернула орховские ковры, китайскую и индийскую парчу, сплошь шитую золотом, серебряные кувшины для бани, банные расшитые цветные сузанэ, рубашки из тонкого шёлка с жемчужными застёжками.

Среди вороха белья Георгий заметил шейдиши<sup>1</sup> различных цветов: тельного, гранатового и цвета киновари. Там же лежали нагрудники, туфельки, цветные башмачки, всё шитые жемчугом.

Георгия заинтересовали шейдиши цвета фазаньей шейки. На одних были вышиты кручёным шёлком олени головы, на других — золотом — виноградные кисти и листья.

Вардисахар достала платье из китайской и иранской парчи апельсинового и морского цвета. Девять платьев кирманской цветной шерсти, девять пар шейдиши цвета папоротника и девичьего лица.

Выложила золотые пояса, тяжёлые кушаки — белые, чёрные и цвета унаби<sup>2</sup>.

Шубки жёлтые, зелёные, цвета горной индейки и фиолетовые с золотыми крапинками, меховые накидки с золотыми вязаными шнурами и жемчужными кисточками.

<sup>1</sup> Шейдиши — длинные, расшитые шаровары.

<sup>2</sup> Унаби — фруктовое дерево с красноватыми плодами.

Шкуры куниц с жемчужными обшивками и с застёжками из золота и алмазов.

Георгий бросил взгляд на постель, на широкие ковры для полов, китайские чаши, иранские подносы, вазы и ледяные мутакы, подушки и подушечки, вышитые золотом.

Женщина показала ему убранство коня.

Сёдла, обитые кованым серебром, чепраки и потники из шерсти лани, украшенные драгоценными камнями и золотым шитьём, серебряные нагрудники, латы для коней, византийские, грузинские, иранские уздечки, мундштуки, поводья и подпруги с серебряными пряжками.

Вардисахар надела на голову жемчужную шапочку и улыбнулась гостю.

— Пусть хоть на миг я буду невестой эристава, — сказала она и с грустью в голосе добавила: — Эх, когда-то и мне улыбалась судьба, но небо грозой обрушилось на мою голову.

Георгий взглянул на девушку.

Звиад говорил о ней: «Вардисахар — дочь сапожника». Царь посмотрел на неё и удивился, — как могла такая красавица родиться у сапожника.

Припомнил: эта шапочка была на Шорэне, когда она встречала царя у ворот Кветарского замка. И это платье перепелиного цвета облегалo в тот же вечер стан Шорэны.

У Вардисахар было чуть-чуть веснушчатое лицо, белое, как яблоневый цвет, и косы цвета спелых пшеничных колосьев. Шёлк перепелиного цвета был ей к лицу, чужое платье плотно облегалo её полную грудь и бёдра.

Георгий поверил: эта женщина и вправду могла быть чародейкой.

— За кого же идёт замуж дочь эристава? — спросил он.

Вардисахар удивилась, как мцхетский житель этого не знает. Весь город говорит об этой свадьбе.

— За кого же всё-таки? — переспросил он.

— По приказу царя Георгия, она выходит замуж за Гиршела, владельца Квелисцихе, — с благоговением произнесла женщина имя эристава.

В эту минуту Георгий понял, что навсегда потерял Шорэну.

Гвоздём вонзилось ему в сердце имя «Гиршел». Он переспросил женщину:

— Это кто же такой, Гиршел?

— Знатный рыцарь, превосходный стрелок и знаменитый эристав. Он племянник матери царя Георгия.

Вардисахар собиралась продолжать перечень добродетелей Гиршела, но гость перебил её:

— Дочь эристава, наверно, очень счастлива.

— Моя госпожа любила другого эристава — Чиабера архегоса, но какая теперь наша доля! Мы — пленницы царя Георгия, и нам, несчастным, не дано право выбора.

— Значит, вы исполняете всё, что прикажет царь? — пошутил Георгий и посмотрел на её высококую грудь.

Женщина перехватила этот взгляд, смутилась и не нашлась что ответить.

— Увы, почему я не царь Георгий! — с сожалением произнёс гость. Он опять посмотрел на полную грудь Вардисахар и улыбнулся, уже не скрывая своего желания.

— А будь ты царём Георгием, что бы ты сделал?

— Будь я царём Георгием, я взял бы тебя к себе в наложницы, — ответил он и подошёл вплотную к женщине, заглянув в её помутившиеся глаза, дотронулся до её правой груди (такой прекрасной груди не видел Георгий никогда в жизни).

Вардисахар зарделась.

— Укороти руки, несчастный! — сердито сказала она и хлопнула его по руке.

Теперь Георгий левой рукой дотронулся до её левой груди, затем обнял женщину за шею и притянул к себе.

Теплота и мягкость женского тела опьянили его. Он откинул ей голову, хотел дотронуться до её алых, чувственных губ, но она изогнулась, как инжировая ветка, высвободила правую руку и ударила мужчину в грудь.

— Если ты царский скороход, то и веди себя, как надлежит царскому посланцу, дурень! — крикнула она.

Первый раз в жизни Георгия назвали «дурнем».

Гнев, вино и страсть захлестнули его. Он шагнул вперёд.

— Я царь Георгий, — сказал он женщине.

Она хитро улыбнулась.

— Бородой ты похож на царя Георгия.

Гость вновь потянулся к Вардисахар.

Они боролись некоторое время, затем женщина заплакала в тисках его объятий.

— Если не отстанешь, я закричу.

Георгий отпустил руки. Вардисахар воспользовалась этим и с силой ударила его в грудь. Он пошатнулся и наткнулся на лежавшего гепарда. Зверь отскочил в сторону, оскаллился, засверкал на него глазами и зарычал. Блеск его глаз напомнил Георгию его собственного гепарда, того, кото-

рый взбесился. Он выхватил меч и одним ударом свалил пронзённого в грудь зверя.

При виде крови женщина перепугалась. Георгий вытер меч и не спеша опустил его в ножны. Снова подошёл к Вардисахар.

«Я легко завладею испуганной женщиной», — подумал он.

Она пыталась бороться, но сильные объятия сжимали её. Пьяный царь целовал её за ушами, в шею. Разорвал застёжки на платье и, как бешеный, укусил её в грудь.

Дико вскрикнула Вардисахар, и когда испуганный мужчина выпустил её, она ударила его по щеке.

Георгий пришёл в себя, румянец залил его лицо, он перешагнул через труп гепарда и исчез в темноте.

## XXVIII

Скворцы возвратились в Мцхета.

Арсакидзе следил за ними с балкона. Прекрасные птицы в бесчисленном количестве облепили чинару.

Спускались сумерки.

Арсакидзе ещё различал вкраплённую в листву черноту птичьих перьев. Скворцы копошились на ветках.

Словно обрадовавшись, что опять собрались вместе, они рассказывали друг другу о чужих краях.

Константин устал от дневных трудов. Прислонившись к балконному столбу, он слушал болтовню птиц. Казалось, ещё немного — и он поймёт смысл их таинственного щебета. Он чувствовал страшное одиночество.

Вспомнил свою юность.

Как раз к его окну весною прилетали скворцы. Ночевали на клёне под окном. Вешнюю радость приносили они в горы. Арсакидзе вспомнил свою мать. Суетится, верно, теперь одна на дворе дома с каменным забором, в горной деревне.

Вороны расселись на ближайших соснах и, упрямо каркая, призывали ночь. Скворцы щебетали в зелени клёна.

И совсем близко, будто стоят они перед глазами, видит Константин чёрных овец, слышит их блеяние. Следит мысленно за тенью старухи в чёрном.

Суетится мать, бегаёт, запыхавшись, за овцами. Пока она успеет выдоить одну, какой-нибудь годовалый ягнёнок дорвётся до другой овцы, станет на колени, прильнёт к соскам и безжалостно теребит вымя.

В детстве он сам помогал матери доить овец, загонял

ягнят в загон, волочил их по одному, схватив за уши, к старушке, которая спокойно ждала его, сидя на пне.

Ему казалось, что он слышит жалобное блеяние ягнят.

Мать возится у очага.

Бросает в огонь сухую кору черешни.

Заквасит молоко...

Помолится...

Попросит икону быть покровительницей её единственного сына.

А потом ляжет старуха с надеждой хоть бы во сне увидеть любимого сына, пропавшего в дальних краях.

«Ута», — слышит Арсакидзе своё ласкательное лазское имя.

Скворцы угомонились.

Тишина воцарилась в саду.

Луна ещё не взошла.

Как химеры, чернели силуэты лип, платанов и грушевых деревьев.

Любил Арсакидзе всматриваться в ночь, когда вселенная обята мраком и лишь по едва уловимому шороху чувствуется, что жизнь на земле ещё не угасла.

Стоит он одиноко на балконе и слышит, как мать говорит ему по-лазски:

— Выпей, Ута, молока.

Он закрывает глаза и напрягает воображение: может быть, далёкий образ матери скажет ещё что-нибудь.

Но воображение бессильно.

Арсакидзе жалел теперь, что не научил свою мать грамоте.

Лишь через людей присылает она ему издалека приветы.

То каштанов пришлёт, то бушмалу, то диких груш, перебранных её рукою, а то пховские ноговицы, пёстрые носки или пховскую чоху с вышитыми фалдами.

От этих вещей веет такой материнской любовью и теплом, что надолго хватает их истомлённому трудами мастеру.

Мать сообщала, что больше всего она боится умереть, не дождавшись сына.

«В Кветари пришло известие, что царь Георгий познакомился с тобой. Наверное, и у царя есть мать, наверное, и царь любит свою мать. Закляни царя именем его матери, пусть он отпустит тебя ко мне. Раз, хоть один раз поглядеть бы на тебя, сынок, благословить тебя перед смертью, а потом пусть меня покинет дыхание, пусть господь при-

мет душу мою. Если бы я знала дорогу и место, где ты живёшь, приехала бы сама к тебе, вблизи тебя стала бы работать, печь хлеб. Не пожалела бы я себя, приползла бы к тебе. Ноги опухают у меня. Не могу я, как бывало, ездить верхом. Но кто же будет ухаживать без меня за отцом, одиноко лежащим в пховской земле? Кто принесёт жертву за упокой его души? Кто закажет поминки за спасение его души? Всё же, сынок, лучше тебе самому навестить свою старушку».

Вот о чём просила мать передать Арсакидзе устно через каменотёса Бодокия.

Бодокия — сам лаз, но женат на пховке.

Его жена не захотела покинуть горы, не захотела уйти от могил, где покоятся кости её предков.

И потому Бодокия ездит в горы в три месяца раз навещать жену.

С тех пор как Фарсмана Перса отстранили от дела, Арсакидзе стал главным зодчим царя.

Разрешение на отъезд в Пхови мог ему дать только царь, но Арсакидзе стеснялся просить его об этом.

Он мечтал повидать старуху, но окончание постройки Светицховели затягивалось. Чем выше воздвигалось здание, тем сложнее становились обязанности мастера.

Зимою обваливались леса, и гибли рабочие. Если погиб мастер, затягивалось всё строительство.

Раба легко заменить, но трудно заменить мастера.

Константин хорошо знал: трудно начать работу, но ещё труднее закончить её.

Большое покровительство оказывал строительству католикос Мелхиседек, но иногда он же и мешал Арсакидзе. Напуганному Фарсманом католикосу во всякой мелочи мерещилось язычество. Старец вёл борьбу с грузинскими мотивами в архитектуре и всё больше увлекался древне-византийскими мёртвыми схемами.

Арсакидзе прошёл в Византионе греческую школу, но с тех пор как стал работать самостоятельно, он изменил путям, которыми вели его учителя.

Таков закон: кто не был учеником, тот никогда не станет мастером, но и тот не станет мастером, кто смотрит только в рот учителю.

Мелхиседек с подозрением относился к нехристианским мастерам. Он отдавал предпочтение малоспособному христианскому мастеру перед способным иранцем или сарацином.

Арсакидзе раздражали бесконечные указы Мелхиседека. Юноша всегда ненавидел мастеров, которые умели только креститься.

Пришлёт католикос какого-нибудь неуча — православный, мол, надо его взять на работу.

Настоящий мастер не любит, когда неучи и бездарности вмешиваются в дела искусства.

Арсакидзе строго бранил таких «мастеров». Озлобленные, бежали они к царскому духовнику или поджидали католикоса, который время от времени приходил осматривать строительство.

Доносили на Арсакидзе: «Преследует, мол, пховец-язычник православных иверов<sup>1</sup> и христиан, гонит их прочь и выдвигает только лазов и пховцев».

В прошлом году с подмостков свалились плотник Гариселаисдзе, скульптор Квелаисдзе, орнаментовщик Квирикаисдзе, царский живописец Отобайя, скульпторы: Ростомаисдзе и Цвергрдзелидзе.

В этом году обрушилась стена и раздавила больше ста человек пленных мастеров, — из трёхсот пховцев осталось в живых всего лишь шестьдесят.

Плохое питание и эпидемия косили рабочих. Подбирали покойников, священник служил над ними панихиду, потом наваливали их на арбы и везли за город в общую яму. Ни человек, ни слово, ни камень не сохранили их имён.

Арсакидзе видел всё это. Сердце болело у него, но он не смел заикнуться ни о чём.

Было бы изменой делу бросить в такое время храм и уехать в Пхови.

Искусство требует расплаты кровью сердца. Не выйдет ничего, если этому суровому кумиру не отдашь всего себя.

Ночь спустилась в фруктовый сад дворца Рати.

Звёзды расцвели в небе, и западный край его заалел.

Над Крестовым монастырём встала луна.

Издали доносился вой шакалов, на огороде мяукали кошки.

Арсакидзе, стоявший в темноте, вдруг вздрогнул.

Нонай тянула его за рукав.

— Покушай, сынок, чего-нибудь.

---

<sup>1</sup> Иверы — жители Восточной Грузии, из картвелских племён. Западных Грузии называли «лазами».

Долго сидел лаз у очага посреди хатки Нонай. Поел немного кутьи. Поблагодарил Нонай. Захотел помыть руки. Взглянул на ногти. Вспомнил, что утром поскользнулся на лесах, схватился за столб, чтобы удержаться, и сломал ногти на правой руке.

Отточил нож и стал стричь ногти.

Нонай стояла тут же.

Она принесла книгу в полинявшем переплёте.

— Прочти, что написано в книге о стрижке ногтей.

«Ежели кто пострижёт ногти в день дракона, ожидает его ссора с другом сердца.

Кто пострижёт в день коровы, ждёт его радость нечаянная.

В день зайца — ссора с возлюбленной, в день змеи — укус скорпиона.

В день лошади — подкуп великий, а в день льва — исполнение желаний».

Арсакидзе поднял голову и улыбнулся служанке.

— Чья это книга, Нонай?

— Фарсман Перс подарил её покойному Рати.

Арсакидзе долго сидел у очага.

Читал месяцеслов, поднося его к огню.

Нонай лежала в углу на медвежьей шкуре. Она бредила во сне.

В окошечко залетел камешек.

Арсакидзе прислушался к шороху. Снова стал листать книгу.

Теперь камешек упал к его ногам.

Встал, вышел в огород.

В дубовой роще плакал филин.

Уже хотел вернуться в дом, но как раз в это время под липой мелькнула тень в белом покрывале.

Приблизился и в лунном свете узнал Вардисахар.

Он ввел её в дом.

Вардисахар казалась взволнованной и тяжело дышала.

— Погаси светильник, — проговорила она быстро, — не застали бы нас.

Арсакидзе удивился её словам.

Придвинул ей кресло, усадил.

Вардисахар осмотрелась, остановила взгляд на щите и кольчуге, висевших на стене.

Снова попросила юношу:

— Погаси свет, для чего нам светильник!

— Но почему же гасить свет? Нонай спит, а кроме неё, ко мне никто не войдёт.

Придвинул кресло и сел рядом с ней.

Вардисахар в плену стала ещё прекраснее.

Снова нравилась ему его бывшая цацали.

Обнял за шею; поцеловал около уха.

Женщина придвинулась. Он обнял её за талию, притянул к себе, откинул голову и долго целовал сладкие, как сотовый мёд, губы.

Они оторвались друг от друга, одурманенные страстью.

Арсакидзе расплёл ей косы цвета спелых пшеничных колосьев, трижды обмотанные вокруг головы.

— Встань, пересядем на тахту,— попросил юноша.

— Здесь лучше,— заупрямилась девушка.

Он стал упрашивать её, но Вардисахар упорно отказывалась.

Юноша подхватил на руки пышную женщину и насильно положил на тахту.

Женщина встала.

— Лучше посидим,— сказала она.

Арсакидзе подсел к ней.

Вардисахар увернулась от его объятий.

Юноша обиделся. Она встала, опустилась на колени перед тахтой, склонила голову к Арсакидзе и, как дитя, заплакала навзрыд.

Юноша не стал расспрашивать о причине её слёз.

«Наверное, взволнована после долгой разлуки»,— подумал он. Ласка и нежность успокоили её.

Гостья попросила воды.

Утолила жажду и, развеселившись, принялась щебетать:

— Шорэна ездила в Зедазени, вчера только вернулась оттуда. Дома застала Гурандухт. С плачем обнялись мать и дочь. Камни возопили бы, глядя на них. Скоро состоится обручение,— заключила она свой рассказ.

Расхваливала Вардисахар Гиршела, владельца Квелисцихе.

Этот человек почему-то не нравился Арсакидзе, ему неприятно было слушать о нём, но он не перебивал девушку.

— Вчера видела его мельком,— продолжала она.— Красив был эристав верхом на коне, ехал он стремя в стремя с царём Георгием. Отборные рыцари, закованные в шлемы и латы, сопровождали их. Георгий сиял лицом, а Гиршел, владелец Квелисцихе,—осанкой. На царе были латы позолоченные, на эриставе — посеребрённые.

Арсакидзе был ревнив, особенно ревновал он Вардисахар. До сих пор не мог простить ей, что когда-то она была наложницей аланского царя.

— Всё же который из них тебе больше понравился, Вардо? Царь Георгий или эристав Гиршел? — спросил он с насмешкой в голосе.

Женщина не поняла насмешки.

— По правде говоря, царь Георгий. Я не люблю верзил.

Арсакидзе вспыхнул, но смолчал.

С балкона донёсся шорох.

Арсакидзе вышел.

Собаку заперли на балконе, он выпустил её и закрыл дверь на задвижку.

Вардисахар собралась уходить.

— Надо спешить, Шорэна не ляжет без меня. Я должна её раздеть.

— Подожди немного.

Он усадил её на тахту и сел рядом. Откинул ей волосы и поцеловал в мочку уха.

Вардисахар снова зашебетала:

— Хочу рассказать тебе один секрет. Под клятвой открыла мне его Гурандухт, мать Шорэны.

Арсакидзе заинтересовался.

— О чём же тебе говорила Гурандухт?

Но женщина вдруг заупрямилась.

Арсакидзе стал настаивать.

— Поклянись, что даже Шорэне не выдашь секрета.

Арсакидзе трижды поклялся.

— Подумай только, — начала таинственно девушка, — твоя молочная сестра вовсе не Шорэна.

— А кто же? — прервал её поражённый Арсакидзе.

— Мзекалай, дочь наложницы Колонкелидзе.

— А где Мзекалай?

— Она умерла ещё в колыбели.

Вардисахар немного помолчала, огляделась кругом и продолжала:

— Ну, так вот... Твоя молочная сестра, оказывается, Мзекалай.

— Почему же нам говорили, что мы с Шорэной молочные брат и сестра?

— Наверное, Гурандухт побоялась пховского обычая заводить цацали. Потому и объявила вас братом и сестрой, — сказала Вардисахар и лукаво улыбнулась возлюбленному.

Она без слов спрашивала его взглядом: «Ведь рад, что ты не молочный брат Шорэны?»

Арсакидзе был поражён этим известием. Он даже не стал вникать в смысл улыбки своей собеседницы.

— Шорэна росла одна в замке эристава. Из дворян не было никого поблизости. Не могла же она дружить с рабами. Выросли вместе, бывали вдвоём, и потому вас объявили молочным братом и сестрой, — сказала Вардисахар и снова испытующе посмотрела на юношу. Но на его лице она ничего не могла прочесть, кроме изумления.

Она снова встала, собираясь уходить.

— Мы так долго не виделись, Вардо, отчего же ты торопишься уйти? — сказал он и заглянул ей в глаза. — Может быть, другой приглянулся?

Девушка покраснела.

Это показалось ему подозрительным. Он вспомнил, как странно сверкали её глаза, когда она говорила о царе Георгии.

Он обнял женщину за шею.

— Погаси светильник, — опять попросила Вардисахар.

— Нет, не погашу, — злобно ответил юноша.

Правой рукой он обнял женщину за стан, левой снял нагрудник и стал ласкать её обнажённую грудь.

— Не надо, — взмолилась Вардисахар, — отпусти меня сегодня домой, в другое время я тайком уйду от госпожи и приду на всю ночь, если хочешь.

— В другое время? — Юноша разозлился. — В другой раз, может, я захочу другую.

Девушка зарделась. Юноша схватил её и уложил на тахту.

Девушка попробовала сопротивляться.

Он одной рукой перехватил её руки, другой расстегнул шёлковую рубашку.

— Не сорви жемчужных застёжек, — просила Вардисахар.

Юноша не помнил больше ни о чём.

Целовал её в шею, целовал сладкие, как сотовый мёд, уста.

Всё тело женщины дрожало, как в лихорадке, глаза блестили, зацелованные уста рдели, как унаби, но она продолжала бороться.

Снова перехватил ей руки Арсакидзе, высвободил из шёлковой рубашки грудь, потянулся поцеловать её, но вдруг отпустил женщину и вскочил.

— Что это у тебя на груди?

Девушка покраснела и ничего не ответила.

Юноша различил на груди Вардисахар следы укуса.

Взбешённый, он грубо крикнул ей в лицо:

— Распутница, всё ещё продолжаешь блудить! С тебя не довольно, что тебя тискал аланский царь!

— Не оскорбляй меня незаслуженно,— сказала она.— Клянись твоим солнцем, ни с кем не делила я любви к тебе.

— Не клянись моим солнцем, блудница! — крикнул юноша, затопав ногами.— Ты своим солнцем клянись!

— Успокойся, успокойся! — умоляла Вардисахар. — Ты только успокойся, я расскажу тебе подробно обо всём.

— Что ты можешь мне рассказать больше того, что я видел своими глазами!

Женщина встала, поправила рубашку. Ревнивец сорвал с неё три застёжки.

— Где мои жемчуга?

Арсакидзе нашёл их и вложил ей в руки.

— Это подарок твоего нового любовника? Не забудь, возьми с собой. Знаю, как ты жадна на подарки.

— Шорэна подарила мне вчера эту рубашку с жемчужными застёжками.

Юноша зло улыбнулся.

— Если не веришь словам моим, думай, как хочешь, — сказала Вардисахар.

Её спокойствие взбесило его ещё больше.

— Говори сейчас же, чьи это укусы, не то не выйдешь отсюда живой.

Вардисахар бросилась к нему, закрыла ему рукой рот.

— Помолчи, шальной, разбудишь старуху. Имей терпение, расскажу тебе всё.

— Кто бы ни пришёл ко мне, всем буду говорить, что ты распутница и лгунья.

Вардисахар оправила платье.

Села в кресло, скрестив руки, и рассказала обо всём приключившемся с нею три дня тому назад.

— Царский скороход приходил во дворец Хурси. Это он поступил так со мною.

— Лучше бы убил тебя скороход царя!

Женщина сидела и горестно плакала.

— Если ты не распутная, как же ты впустила в дом чужого человека? — спрашивал её Арсакидзе.

— Подумай сам, как могла я, пленница, не впустить в

дом царского скорохода! Да я и не была одна, — прислужница Мелания была дома, но эта дура уснула.

— Если ты не врѣшь, скажи, как звали царского скорохода.

Она задумалась, подняла голову, взглянула в глаза юноше и в раздумьи произнесла:

— Авшанидзе Глахуна.

«Так вот почему ты хвалила царя Георгия!» — хотел было сказать Константин, но прикусил язык.

«Ещё хуже — значит, это был сам царь Георгий, а он уж, конечно, не ограничился укусом».

Арсакидзе окончательно убедился, что цацали изменила ему.

— Вставай и уходи сейчас же отсюда, и чтобы глаза мои не видели тебя больше, блудница.

Женщина зарыдала, упала к его ногам, целовала колени.

— Не гожи меня, я ни в чём не повинна.

— Если ты не уйдѣшь, я сам уйду! — грубо крикнул мужчина.

Женщина встала. Лицо у неё было грозное. Она вытерла слѣзы, накинула покрывало на голову.

— Я уйду, но знай, я буду мстить за себя!

Арсакидзе проводил гостью.

Она ушла, и когда он поглядел ей вслед, то заметил, как плечи Вардисахар продолжали вздрагивать.

Это было в пятницу, в день дракона...

## XXIX

Арсакидзе не спал всю ночь.

Лаяли собаки под липами, что-то шелестело во дворце Рати.

Арсакидзе встал.

Опясался мечом и вышел в сад. Там никого не оказалось. Собаки окружили его, виляли хвостами, трогали лапы, ласкали нового хозяина.

Спали цветы и пчѣлы.

Странное жужжание доносилось с пасеки, словно пели во сне эти всеми любимые насекомые.

Мужественно боролся фазан с темнотой в долине Цицамури.

Белые, совсем белые облака мелькали в горах, а горы были так легки, что, казалось, вот-вот снимутся они с земли и растают в эфире.

Под ними лежала долина Арагвы, похожая издали на море, дремлющее в заливе у Лазистана.

Стоял Арсакидзе и вспоминал море и своё детство.

Вернулся в дом.

Снял меч.

Не спалось ему.

Вардисахар его встревожила.

Это измена. Но она не была для него неожиданной.

Более неожиданным оказалось другое: Шорэна — не молочная сестра.

Молочная сестра!

Мзекалай?

Теперь вспоминает Арсакидзе: мать часто произносила это имя, раз даже заставила попа служить панихиду за упокой души Мзекалай.

Он лежал, вытянувшись на тахте, в тёмной комнате. Мысли снова возвращались к Шорэне.

И так же, как на исходе июня, когда в пасеке появляется новая матка, роем подымаются пчёлы и преследуют улетающую от них царицу, так в этот миг поднялись мысли его и полетели за Шорэной.

Вардисахар говорит правду.

Он вспоминает подробно обо всём. После смерти Мзекалай семья Арсакидзе уехала в Лазистан. Пять лет прожили они там, затем десять в Константинополе и лишь после этого возвратились в Пхови.

Как вчерашний день, помнит Арсакидзе свою встречу с Шорэной. Она была девочкой, тоненькой, как стебелёк, русые локоны падали на щёки. Она прыгала, насвистывала, резвилась, как мальчишка, и скакала на неосёдланной лошади.

Арсакидзе решил как можно скорее повидать дочь Колонкелидзе. Раз Гурандухт приехала в Мцхета — увидеть Шорэну будет нетрудно. Так же, как и в Пхови, он пойдёт без приглашения в семью Колонкелидзе, просто, как приходит молочный брат в дом молочной сестры. Но вспомнил, что на этой неделе он очень занят и трудно будет найти время для этого посещения.

А что, если он встретится с ней наедине? Как быть?

Нельзя же ему заниматься допросом? Кроме того, он ведь поклялся Вардисахар? Пусть даже она оказалась клятвopеступницей. Но должен же он как-нибудь узнать, знает ли обо всём этом Шорэна.

Произошло нечто странное: в один миг изменился в его глазах облик Шорэны.

Вспомнил он ночь в Самтавро после вечерни. Промаячила чёрная ряса царского духовника. Закрывшись покрывалом, опустив голову, шла Шорэна среди своих прислужниц. Следы глубокого страдания были видны на её лице, она избегала взглядов толпы. Лицо, плечи, весь облик её обволакивало какое-то бледное облако печали. Без стеснения разглядывали её прохожие, а она шла, опустив голову, кроткая, правдивая сердцем. Гордо несла бремя, возложенное на неё судьбой.

Арсакидзе подумал об этом, и перед глазами предстало двойное видение.

Вардисахар шла рядом с Шорэной.

Хохотунья, щебетунья, розовая вся, жадно чувственная и влюблённая в жизнь, всегда жаждущая богатства и недовольная своей судьбой. Только для страсти, только для ложа создана была эта буйная женщина. Вот её облик: она теряла возлюбленного и тут же сокрушалась о трёх жемчужинах.

Арсакидзе вспомнил теперь и то, как Вардисахар заигрывала с кветарским эриставом...

Сладострастен и похотлив был Колонкелидзе. Он не щадил ни служанок, ни птичниц, ни хлебниц — баб, от которых всегда пахло кислым хлебом, хинкали и птичником. Всю жизнь бедная Гурандухт мучилась, пристраивая его незаконнорождённых детей.

Арсакидзе сам видел, как однажды эристав, прижав Вардисахар к стене в прачечной, тискал её пышные груди.

Прыгала, хохотала Вардисахар, и хохот этот напоминал Арсакидзе возбуждённое ржание кобылицы, которая нарочно убегает от жеребца, чтобы ещё сильнее взволновать его.

Когда Шорэна и Вардисахар лицом к лицу встретились в воображении Арсакидзе, наложница аланского царя померкла в тени дочери Колонкелидзе.

Руки у Вардисахар были грубые. Когда она откидывала волосы, обнажались большие, желтоватые уши. Голос почти мужской...

Чистая была Шорэна, как крылья херувима, и печальная, как ангел скорби в Кинцвиси<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Кинцвиси — храм в 40 км. от Гори, известный замечательными фресками XI—XII столетий.

У неё глубокий, грудной голос, как звон серебряных бубенцов, что висят на древках знамён хевисбери.

В ней мягкость и теплота горностая.

Арсакидзе повернулся к стене, закрыл глаза и попытался уснуть. На другой день он должен был рано уйти из дому.

Издали слышался перезвон бубенцов, свист плети рассекал ночную тьму. Доносился непрерывный шум Арагвы. Защебетала какая-то птичка, но то был не соловей.

Птичка насвистывала долго. Арсакидзе показалось, что она зовёт в темноте свою возлюбленную.

Где-то залаяли собаки, и вновь спустилась тишина.

Нонай стала сзывать кур. Трепетный свет проник в окна, и сон стал прясть узоры на дремлющих веках Арсакидзе...

Снилось ему: в спокойный осенний день идёт он по хлебному полю. По колено спелые колосья, вокруг распустились маки, там и сям рдеет калина и боярышник. В поле стоит дуб, высокий, с густыми ветвями. На ветках дуба сидят дикие голуби. Они сладко воркуют...

Ручейки сбегают с холмов.

Потрескавшаяся от зноя земля жадно вбирает влагу.

Над ручейками высятся пугала, похожие на молотилки. Они мотают головами, как уставшие верблюды, вода льётся в корыто, расположенное на конце столба, столб запрокидывается, вода выливается, и пугало грохается об доску. Снова выпрямляется столб, снова наполняется корыто, снова выливается вода и по полям разносится грохот, производимый ударом пугала.

Пугало было не одно—по всему хлебному полю, сколько охватывал взгляд, везде стояли пугала, и всё ущелье было полно непрерывным грохотом.

Но удивительнее всего было то, что, несмотря на множество пугал, медведи смело расхаживали по хлебным полям. Кувыркались, ревели и лапами мяли посев.

Идёт Арсакидзе по ниве и видит, как Шорэна подходит с другой стороны к ручейку.

Девушка бойко перескочила ручей, как это она делала в Пхови, во время охоты.

Идёт, рассекает море колосьев, одежда на ней белоснежная, и — шейдиши василькового цвета.

Склоняются перед ней пшеничные колосья, нежно изгибаются маки.

Вот с ветвей дуба стремительно слетели дикие голуби, уселись на плечи Шорэны и заворковали.

Увидев Шорэну, два медведя заревели. Один из них цвета спелых каштанов, другой — цвета осеннего папоротника.

Поднялись на лапы, зашагали по-человечьи, с рёвом направились к девушке.

Арсакидзе пересекает хлебное поле, хочет подоспеть и зарубить медведей мечом, спасти от опасности друга сердца.

Дёрнул меч Арсакидзе, но кто-то словно заколдовал ножны.

Заторопился, но колосья вяжут ноги, колени отяжелели, словно он увязает в смоляном море.

Медведи рычат, топчут лапами золотистые колосья и красные маки, вот-вот дорвутся они до Шорэны и растерзают её.

— Харай! — кричит Арсакидзе, но даже голос не подчиняется ему.

— Харай!.. — вопит Арсакидзе и рассекает ниву, — не ниву, а смоляное море. Колосья путаются в полах чохи.

Медведи легли у ног Шорэны. Не рычат больше, не топчут лапами нивы. Шорэна наступила ногой на голову одного из них.

Виноградные листья, шитые золотом, засверкали на шейдиши Шорэны. Наклонилась она к медведям и стала их ласкать.

Издали смотрит остолбеневший Арсакидзе, как его нежная подруга ласкает зверей.

Дикие голуби сидят на плечах Шорэны, поют сладчайшие песни, красные маки нежно изгибают стебли, гнутся золотые колосья, преклоняются пред непорочной невестой. Медведи лежат у её ног и смотрят на неё возбуждёнными от страсти глазами.

И как раз в это время Нонай разбудила Арсакидзе.

В доме стоял бледный рассвет.

— Вставай, сударь, скорпионы просверлили каменную стену, — сказала она.

### XXX

Страх был чужд Арсакидзе.

— Какие скорпионы! Дай поспать.

— Если не веришь, сударь, вот покажу тебе, — проговорила Нонай и показала двух скорпионов, нанизанных на палочку.

Арсакидзе был поражён.

— Одного я убила сегодня утром у себя в комнате, а другого — у твоего изголовья.

Арсакидзе встал.

Зажгли светильники, обкурили комнату серой. Обыскали стены большой залы, гостиную, комнаты для служанок, обшарили все выбоины, дырки, но нигде не нашли ни одного скорпиона.

Нонай взяла светильник, пошла обыскивать подвал. Здесь всё было покрыто густой паутиной. Затхлый смрад стоял в подвале. Заржавевшие латы и шлемы висели по стенам, брони для людей и коней, сёдла, ноговицы, наколенники, наручники, локотники, нагрудники и оплечья, пики, копья, точило для оружия и стрелы разные, рога туры и олени, топоры и бердыши, секиры и ржавые мечи.

Летучие мыши заполняли подвал. Висели вниз головами. Они запищали, закружились под потолком, забились об углы и стены, плюхались вниз, жалко трепыхались в пыли.

В одном углу стоял иранский шкаф с перламутровой инкрустацией. В нём были свалены пергаментные свитки, обломки икон, старинные запястья, азарпешы<sup>1</sup> и пиалы.

Арсакидзе любил старинные вещи. Он забыл о скорпионах, подошёл к шкафу и стал рыться в этой рухляди.

Брал в руки каждую вещь, счищал пыль, рассматривал, искал даты и надписи на них.

Среди пиал он обнаружил один странный предмет, закрытый плесенью.

Счистил затвердевший на нём воск.

Оказалось, что это круглый медный штамп с вырезанной на нём головой лисицы.

Он поднёс штамп к свету, на штампе не было никаких дат.

— Что же это такое, Нонай? — спросил он служанку.

Нонай молчала. С волнением глядела она на своего господина, прикрыв уста кулаком.

Арсакидзе не отставал.

— Не принято покойника поминать лихом, — промолвила Нонай.

Арсакидзе умолял её рассказать, что означает этот штамп с лисьей головой. —

Женское сердце не могло дольше хранить тайны.

---

<sup>1</sup> Азарпеша — серебряный сосуд для вина, чаша.

— Это произошло в чумный год. Меня только что привезли в этот дом из Абхазии. В четверг, третьего февраля, было землетрясение. Гартискарская крепость трижды рушилась в том году. В Уплисхихе обвалились царские палаты. Царь Георгий был на войне, не помню, с кем он тогда воевал — с сарацинами или с греками. Спустя три недели началась чума. В мужском монастыре тогда многие погибли от чумы. Умер мцхетский архиепископ Иоанн. Проклятая чума перекинулась в крепостной гарнизон. В крепостях Арагвискари и Мухнари за один месяц умерло около тысячи воинов. Священники предсказывали народу второе пришествие. Столпник Антимоз стал пророчить. Он возвестил народу, что в Мцхета находятся еретики и святотатцы, и потому разгневался господь на Грузию. Мелхиседеку донесли на Хурси Абулели и правителя его дворца Рати. Хурси поймать не могли, — он скрылся у горцев. Известно, что через низкий забор легче перепрыгнуть. Толпа, вооружённая дубинами, ворвалась во дворец Рати. Этот несчастный спрятался в башне. Как раз тогда и сорвали с неё крышу. Потом подожгли башню. Еле выволокли его оттуда. Хотели побить камнями, но Мелхиседек его помиловал. Пришёл царский духовник Амбросий. Он предложил заклеить позорным тавром добычу сатаны. Несчастливого втащили в этот подвал. Раскалили тавро с мордой лисицы и наложили на моего хозяина, как на еретика и соотрапезника сатаны.

— А ты как думаешь, Нонай, был повинен Рати в ереси? — спросил Арсакидзе.

— Я женщина тёмная и сказать об этом ничего не могу, не моего это ума дело. А вот насчёт чорта скажу прямо, что десять лет я служила своему господину, но чорта в этом доме ни разу не видела.

Арсакидзе замолчал. Снова взял в руки штамп с лисьей мордой и стал ещё внимательнее его рассматривать.

Нонай обкурила серой все углы.

Во время завтрака Нонай снова заговорила о скорпионах.

— Сына Рати — бедного Ваче — в этом подвале искали скорпионы. Издавна проклятие довлеет над семьёй Рати; в каждом третьем поколении кто-нибудь подвергается укусам скорпиона.

Арсакидзе в душе улыбался, но дослушал всё до конца.

— Сын Рати вернулся с охоты и спустился в подвал, искал чего-то, шарил в темноте рукой, и скорпион впился ему в руку. И случилось это в день дракона, — грустно добавила Нонай. — Царь Георгий благоволит к тебе, сударь, попроси его отвести тебе другой дворец. Если возьмёшь меня с собой, скажу тебе спасибо, а нет—то всё же пусть животворящий крест будет твоим покровителем. А я всё равно обречённая. Дворец этот до тебя предлагали многим, но никто не захотел жить в этом проклятом доме. Ты у матери единственный сын. Жалею я тебя, сударь!

— Ах, Нонай, друг мой, прорицатель предсказывал мне смерть от меча, так что жалё скорпиона меня не страшит.

Он встал и собрался уходить.

Нонай попросила его не ходить сегодня на работу — она видела дурной сон.

— Но зато я видел хороший сон, — ответил он с улыбкой.

Выходя из дому, он всё же перекрестился.

Туман лёг на фруктовый сад. Как орнаменты, нарисованные углём, выступали ветки и сучья деревьев. Листья утеряли зелёную окраску, трава выцвела. Капли росы дрожали на нежных ресницах цветов. Сумрак покрывал горы.

Туман двинулся с недостижимых для взоров утёсов Кавкасиони, миновал громадные теснины и расселины и, пройдя по Арагвскому ущелью, заполнил весь мир мглою...

Арсакидзе вышел на большую дорогу. Слышался перезвон бубенцов. В тумане ползли верблюды. Как причудливые тени, мелькали прохожие.

Туман скрывал дворцы царя и католикоса, окружающие их ограды, крепости, башни, каменные стены, караван-сарай.

Исчезли очертания замков на горизонте.

И один лишь Светицховели гордо возвышался над туманом. Туман не мог затушевать его изумительной стройности, и в те минуты, когда здания и деревья, люди и животные, цветы и листья теряли первичную красоту и радость, храм этот казался ещё более величественным. Мелкие недочёты скрадывались в тумане, и, глядя на храм издали, можно было подумать, что он уже закончен.

«Когда дождь смоем все краски и ветер унесёт все звуки, тогда Светицховели станет ещё величественней!

В чём же долг мастера, как не в том, чтобы претворить

мгновение в вечность? Что должен делать мастер в этом мире, как не бороться с туманом быстротечности?»

Туман перевалил через горы Зедазени и Армази и полз к Ташири<sup>1</sup> и Ташискар<sup>2</sup>.

У главных ворот храма Арсакидзе ждало неприятное известие: во время кладки каменных плит на куполе укладчик Караисдзе поскользнулся и свалился вниз.

И перед царским зодчим предстало страшное зрелище: мозг и волосы смешаны в общую кашу. По приказу Арсакидзе, изувеченный труп перенесли в храм. Когда Арсакидзе выходил из храма, его окружили самцхийские рабы. Они жаловались на плохую пищу: нет сил больше работать!

Сотник сообщил, что вчера ночью сбежали тридцать рабов.

«Пойду поговорю с главным поставщиком, может быть, он улучшит питание рабов», — подумал Арсакидзе.

У ворот храма его встретил каменщик с перевязанной щекой.

— Вчера вечером лазы избили нас, греков-каменщиков, — пробормотал он.

Арсакидзе вызвал каменотёса Бодокия. Бодокия был правдивым человеком.

Старик подтвердил, что лазы действительно избили греков, и добавил, что повинны во всём лазы. Молодой раб Цатая перехватил чечевичную похлёбку у грека. Грек стал протестовать. Цатая ударил его и повалил. Греки прибежали на помощь своему соотечественнику, лазы бросились выручать Цатая и жестоко избили греков.

Арсакидзе строго побранил лазов и вышел из ограды храма.

Солнце уже выглянуло из-за гор. Оно было жёлтое, как яичный желток, сваренный в молоке.

Туман медленно таял, но воздух был ещё мутный, как Арагва во время весеннего половодья.

На горизонте показались зубчатые башни замков, купола и кровли дворцов и караван-сараев. Сначала они были обведены тёмными линиями, как углём, но спустя некоторое время их тёмные очертания растаяли в прозрачном небе.

<sup>1</sup> Таширское ущелье находится на юге Грузии.

<sup>2</sup> Ташискар — Боржомское ущелье.

Мучной цвет боролся на небосводе с фиолетовым, мареновая краска облила курчавые, как ягнята, облака. Вспыхнула зелень листвы, и защебетали птички.

В дворцовом саду пронзительно кричали павлины.

До полудня ждал Арсакидзе главного поставщика. Наконец ему сказали, что поставщик ещё не приехал из Уплисцихе, и попросили зайти попозже.

После бессонной ночи у юноши разболелась голова.

Он решил пройтись по саду, проветриться.

Соловьи заливались в зелени алычи.

Накануне ночью фруктовые деревья начали ронять цветы. Почки, набухшие соками земли, тянулись к солнцу. Опавшие цветочные лепестки нежными узорами расписали землю и продолжали ещё тихо порхать в воздухе. По саду носились лани.

«Взгляну на оленей Колонкелидзе»,— подумал Арсакидзе и направился по тропинке, ведущей к загону.

У входа в загон он встретил трёх придворных дам. Они были ему незнакомы.

— Мы сопровождаем дочь эристава,— сказала одна из них, веснушчатая.

Арсакидзе увидел Шорэну. Она ласкала Небиеру, целовала её в глаза. Как замороженная, стояла олениха и ласково глядела на свою воспитательницу.

Человек и животное без слов понимали друг друга.

Ноздри раздулись у Небиеры, она затопала гишеровыми копытами. Шорэна обернулась лишь тогда, когда олениха насторожилась при виде чужого. Как мак, зарделись ланиты девушки. Из глаз блеснула морская синева.

— Ута!— вскрикнула она, просияв. Но это не было только детским, ласковым прозвищем. Оно было слаще воспоминаний детства, в нём сливались ласки матери, скорбь о погибшем отце, шелест родного моря Лазистана, беззаботные годы юности, проведённые в Пхови.

В этом слове ему почудились счастливые минуты их первой встречи, когда они не знали ещё, что такое мужчина и женщина.

А теперь?

Теперь же это был не голос сестры, это был зов женщины.

Арсакидзе бросился к ней, но не посмел её обнять. Он лишь с пылающим лицом поцеловал ей обе руки.

Шорэна изумилась, но ничего не сказала.

Она поцеловала юношу в правую щёку.

Сразу же заметила рябинки на лице, следы оспы.

— Что с тобой, Ута? — спросила она тревожно.

Арсакидзе уже забыл об оспе. Он подумал, что её удивляет его сдержанность.

— О чём ты спрашиваешь, Шорэна?

— Что с твоим лицом, Ута?

— Я болел оспой в Мцхета.

— Кто же смотрел за тобой, бедный ты мой?

— Лежал в предместьи один, в шалаше, монахиня из милосердия ухаживала за мной!

Арсакидзе оглядел Шорэну.

На дочери эристава была алмазная шапочка, кунья шубка с жемчужными застёжками, шейдиши цвета фазаньей шейки, с золотым шитьём.

Вдруг он вспомнил сон предыдущей ночи. Маки и колосья склонялись перед ней. Цвета спелых колосьев были волосы у Шорэны, в глазах переливалась синева Лазистанского моря.

Арсакидзе удивился: как скоро сбылся сон.

Нежная была она сегодня утром, как крылья херувима, голос звенел, как серебряные бубенцы, подвешенные к знамёнам хевисбери!

Когда вышли из загона, он заметил удивление в глазах сопровождавших её дам.

Видимо, их удивило, что дочь эристава так тепло приветствовала какого-то «пховца» в простой чохе, вымазанной известью.

Арсакидзе спросил, кто эти дамы.

— Когда я шла проведать Небиеру, царица приказала придворным дамам сопровождать меня.

Улыбка упоения блуждала на лице Арсакидзе.

В росной зелени весело щебетали птички, приветствуя солнце, благополучно выплывшее из моря тумана.

Арсакидзе вспомнил, что звездочёты предсказали на этот день затмение солнца. Предположение Фарсмана Перса на этот раз не оправдалось.

Арсакидзе шёл рядом с Шорэной.

Сладостно было её дыхание, нежным был её голос и непорочным весь её облик, более желанный, чем весенний аромат земли.

Она поминутно произносила ласковое имя Арсакидзе. По-старому болтала с «Утой», как с побратимом, как с молочным братом.

Лишь одно поразило Арсакидзе: ни словом не обмолви-

лась она о своём обручении, не упомянула Гиршела, владельца Квелисцихе.

Почему-то вспомнила про Вардисахар.

— На будущей неделе выдаём её замуж.

Арсакидзе поймал испытующий взгляд девушки. «Знаю обо всём, что произошло между вами когда-то», — вот что вычитал он в её взгляде.

Арсакидзе спросил равнодушно:

— За кого же выдаёте замуж Вардисахар?

— По приказу царя Георгия, выдаём за Фарсмана Перса.

Немного помолчав, дочь эристава добавила:

— Только сегодня утром удалось маме уговорить её. До сих пор открещивалась, угрожала, что пострижётся в монахини или бросится в Арагву.

Константин проводил дочь Колонкелидзе до царского дворца.

— Проведай нас во дворце Хурси, Ута! — сказала Шорэна прощаясь.

Он шёл по каштановой аллее. Каждую минуту вставала перед его глазами Шорэна. Её голос, её дыхание ещё оставались в сознании Арсакидзе.

Казалось, она идёт рядом с ним, зовёт его лазским именем. Вспоминает он своё детство, прерванные радости юности, нежнейшую мать, высокое пховское небо и чистое море Лазистана.

Снова слышится издали голос Шорэны, снова перед его взором морская синева её глаз. Непорочен был её взгляд, сладок, как небесный звон, её голос.

Да, Шорэна достойна того, чтобы полевые маки поклонялись ей, чтобы золотые жолосья склоняли головы перед ней и лютые звери простирались к ногам самой благодной из дев.

И она вовсе не его молочная сестра, словно заново родилась эта девушка для него в это прекрасное весеннее утро.

Арсакидзе удивился одному: Вардисахар... за Фарсмана Перса?..

Ещё этой весной Фарсмана вызывал верховный судья по какому-то страшному обвинению. И вдруг вопрос об его женитьбе решают вазиры, словно он какой-нибудь знатный эристава. Весь двор занят его свадьбой...

Вероятно, солгала Вардисахар о своём приключении с Глахуна Авшанидзе. Разве во дворце не стало больше

придворных дам, что Георгий набросился на бывшую наложницу аланского царя? А может быть, укусил её Фарсман? Но ведь у старика Фарсмана нет зубов, чтобы укусить так сильно! Однако откуда Вардисахар знает прозвище царя Георгия — «Глахуна Авшанидзе»?

В эту минуту он навсегда возненавидел эту женщину. Пожалел о сладких ночах, проведённых с нею под пховским небом, пожалел о первой своей страсти, обращённой к этой бесстыдной блуднице...

### XXXI

Главный поставщик оказался угрюмым человеком. Он грубо встретил царского зодчего. На нём был заячий тулуп. Лениво пялил он глаза цвета волчьих бобов. Сидел в огромном кресле и морщил беззубый рот. Подозрительно поглядывал на Арсакидзе из-под мохнатых седых бровей. Дышал тяжело, как загнанная лошадь, молча слушал Арсакидзе. Когда лаз окончил доклад, старик поднял голову, рукой подпёр щеку и нехотя спросил его:

— Значит, лазы и греки подрались из-за чечевичной похлёбки?

— Да, — подтвердил Арсакидзе в надежде, что старик улучшит пищу рабам.

— Видимо, чечевичная похлёбка очень вкусная, не так ли? — произнёс он и провёл ладонью по белым усам, скрученным, как свясло для снопов. Затем, не дав гостю ответить, он встал с кресла и с язвительной улыбкой продолжал: — Знай, юноша, сытые рабы не могут создать ничего хорошего. Эти крепости, храмы и дворцы — все построены голодными.

Потом пристально посмотрел на Арсакидзе и спросил:

— Ты ведь сам лаз?

— Да, — подтвердил Арсакидзе.

— А коли лаз, то ты должен знать: если накормить досыта скаковую лошадь, она не возьмёт приза, если борзую насытить перед охотой, она не нагонит зайца, на что уж волк, — но даже беременная овца убежит от него, когда он сыт. Запомни, юноша, что если народ станет сытым, он перестанет и молиться, и трудиться, и тогда у нас не будет ни замков, ни храмов. Хи-хи-хи! — захихикал старик, обнажив два хищных клыка.

Арсакидзе стоял перед ним молча. Он торопился, хотел уйти, но не смел двинуться с места. Главный поставщик ухватился рукой за его застёжки.

— Ты ведь православный?

— Да, православный, — подтвердил Арсакидзе.

— Так вот что я хочу поведать тебе, юноша! Разве мною выдуманно то, о чём я говорил тебе? Господь спаситель наш учил народ тому же. Помнишь, как он пятью хлебами и семью рыбами насытил великое множество народа? Сам постился в пустыне и заставлял поститься учеников. Если ты, юноша, православный, ты должен знать и то, что всякий вожак обязан учить народ трём вещам: посту, молитве и труду. Что касается войны, то на войну рабов погонят азнауры.

## XXXII

У ворот Светицховели Арсакидзе встретил Бодокия.

— Я тебя ждал, мастер! — сказал каменотёс.

— Ещё что-нибудь случилось?

— Надо поднять на северную стену камень с орнаментом.

Арсакидзе ускорил шаги. Он понял, о каком камне говорил Бодокия.

На храме Светицховели и по сей день видна модель храма. И как раз над этой моделью вставлена орнаментированная плита. На ней изображён крест длиной в три локтя и надпись заглавными буквами:

«Волею божьей обновлена купель сия, по воле Христа, по повелению католикоса Мелхиседека. Помилуй, господи, рабов твоих, четырёх каменщиков. Аминь».

Долго капризничал по поводу этой плиты католикос. Трижды отвергал он представленные ему проекты орнаментированного креста. И, наконец, одобрил четвёртый. Вот почему Арсакидзе хотел лично присутствовать при том, как будут вставлять плиту.

Была уже пятница. А в субботу католикос собирался осмотреть строительство, поэтому мастера торопились.

Каменщики знали о капризах католикоса и не решились доверить рабам ответственную работу.

Они впятером поднялись на помост. Когда плиту подняли на верёвке, первым ухватился за неё старик Бодокия. Развязал петлю, но один не одолел камня. Остальные три каменщика стояли в бездействии. Доски на по-

мостѣ обмокли во время тумана, и нога скользила по ним, поэтому каменщики не могли помочь Бодокию.

Плита покрылась инеем, и рука Бодокия соскользнула с неё. Он подставил грудь. Снова вцепился Бодокия в плиту, но опять оказался не в силах её удержать.

Тогда Арсакидзе поспешил обхватить плиту. От усилия он весь покраснел. Каменщики потянулись на помощь, но не могли удержаться на скользком помосте. Арсакидзе один держал огромную тяжесть.

Отпустить руку?

Но тогда плита сбросит старика Бодокия, да и сама разобьётся. Трое каменщиков подвятили, наконец, плиту. Помог и Бодокия. Скобами всадили её на место.

Арсакидзе изменился в лице. Он шатался, стоя на помосте.

Когда его спустили вниз, он свалился на землю, изогнувшись в пояснице, как лук. Царского зодчего уложили на носилки и отнесли во дворец Рати.

Бедная Нонай плакала.

— Не послушался меня, мой господин, говорила я, плохой сон снился мне вчера.

Мелхиседек находился в тот день в Уплисцихе.

Царь послал главного дворецкого проведать больного.

Вызвали Фарсмана Перса, но тот прикинулся больным. Послали скорохода в Уплисцихе, но оказалось, что лекар Турманидзе уехал накануне в Тмогви.

Две недели Арсакидзе боролся со смертью. Беспомощно металась Нонай. Давала больному пить чёрный настой, сок ревеня и граната, делала ему салат из купены и репы.

Больной не поправлялся. Арсакидзе думал, что придётся ему расстаться с жизнью. Он горевал, что не сумеет закончить постройку Светицховели.

Вся жизнь его прошла в скитаниях на чужбине, в непомерных трудах. Два-три храма, построенные им в Цхрари и Итвалиси, не могли обессмертить его имя.

Мастеру было хорошо известно, что музы стремятся в дремучие леса и безлюдные горы, но если плод их вдохновений не дойдёт до столиц, ни один мастер не прославит своего имени.

Светицховели, воздвигнутый в сердце Грузии на видном месте, был самым замечательным зданием, построенным юным зодчим.

Сколько забот и страданий отдано этому великому творению, и вот смерть преграждает путь его творцу.

Арсакидзе жалел старуху-мать, так преданно охранявшую кости отца, погребённые в холодной пховской земле; хотел послать Бодокня в Кветари, но не решался оторвать от работы этого умного каменщика.

Он мечтал о том, чтобы мать застала его ещё живым, быть может, её любовь и молитвы вырвут его у смерти.

Ещё одну горькую мечту уносил он с собой из этого постылого мира: ещё раз, хотя бы только один раз, увидеть Шорэну! Зайти бы во дворец Хурси и услышать из её уст своё лазское имя!

К умирающему подоспел Турманидзе.

Лекарь вскрыл вену на правой руке и пустил кровь. Дал больному прохладительные шербеты, заставил Нонай истолочь стебли сухого цикория, выварил их и поил ими юношу, обмотал его тело холодным полотенцем, пропитанным камфорой.

Через три дня Арсакидзе стал лучше.

Лекарь предписал главному царскому зодчему раньше двух месяцев не подыматься на помосты лесов, не ездить верхом и избегать резких движений.

Спустя неделю Арсакидзе встал с постели без посторонней помощи.

Целыми днями сидел он теперь на балконе дома Рати и мрачно глядел издали на своё любимое детище. Ежедневно приходил Бодокня, получал указания, советовался с больным мастером. Почти каждый день видел Арсакидзе с балкона Шорэну, едущую на охоту.

Дочь эристава сидела на золотистом жеребце царя Георгия. Двое слуг и двое дьяконов ехали за нею верхом. Сокольные с соколами сопровождали её. Справа и слева ехали Георгий и Гиршел верхом на боевых конях. Двенадцать латных рыцарей следовали за царём и за эриставом. В конце кавалькады рабы везли на арбе гепардов царя Георгия, покрытых атласным дори<sup>1</sup>. Идущие за арбой рабы держали в руках концы верёвок, накинутых на шею гепардов.

Арсакидзе видел с балкона, как Шорэна непринуждённо беседовала с царём и эриставом.

На невесте Гиршела был охотничий чаряд, расшитый златотканной тесьмой и отделанный жемчужной бахромой.

---

<sup>1</sup> Дори — ковёр вроде паласа.

Обута была она в сапожки из тарсиконской кожи, концы шейдиши, цвета гранатового цветка, доходили до серебряных стремян.

### XXXIII

Когда одиночество охватывало Арсакидзе, он брал краски и рисовал...

Как-то после обеда больной прилёг на тахту.

— Три старца поднялись по лестнице дворца Рати.

Спросили главного царского зодчего.

Вошла Нонай, и сказала, что юношу спрашивают какие-то монахи.

— Попроси их войти, — сказал Арсакидзе.

Когда гости вошли в залу и сняли капюшоны, Арсакидзе узнал католикоса Мелхиседека.

Константин засуетился, но Мелхиседек не дал ему встать и сам придвинул кресло к его изголовью.

Сел и ласково расспросил о здоровье.

На Мелхиседеке была ряса из выцветшей рузы, в руках он держал монашеский посох.

Недолго просидели гости.

— Тороплюсь к вечерне, — отговорился Мелхиседек.

Встал, осенил больного крестным знаменем.

— Сегодня мы будем просить господа бога об исцелении твоём, сын мой, ты скоро поправишься, божьей милостью, и доверишь Светицховели. На освящение храма ждём весьма почётных гостей из Византиона! — сказал он.

Случилось это в субботу вечером.

Арсакидзе был потрясён: какой добрый человек Мелхиседек! Ласковым в обращении и приятным собеседником показался ему на этот раз всегда ворчливый и капризный старик.

В работе Мелхиседек был невыносим: мелочный, жестокий, часто вздорный.

Каменщики и рабы боялись его, как божьей грозы.

Когда он обходил строительство, две тысячи человек замирали на месте, словно ястреб прблетал над стаей зябликов.

И никто никогда не знал, в какую минуту и через какие ворота войдёт он в ограду Светицховели. В своей выцветшей рясе из рузы он ничем не отличался от простого монаха. И когда до рабов доходил слух, что католикос бо-

лен, они радовались этому, как ленивые школьники, но как раз именно в тот вечер он и появлялся на постройке.

Удивляло всех, как этот сморщенный старик с распухшими ногами мог носиться по лестницам, как белка.

Вошла Нонай, дала больному лекарства, принесла горячего молока и удалилась.

В зале стало темно. Долго лежал Арсакидзе на спине и всё думал о Мелхиседеке.

Какое странное выражение лица было у католикаса во время проповеди в церкви Самтавро, когда он объяснял пастве единоборство Иакова с богом!

Это место из библии всегда поражало воображение Константина! Ещё в ранней юности, в Византионе, неоднократно слушая эту главу библии, он удивлялся, с какой силой написаны были эти строки о борьбе человека с богом.

И вот теперь ему захотелось нарисовать Иакова, противоборствующего богу.

Эта картина так живо предстала пред ним, что он опасался, как бы она не превратилась в видение. Он ворочался с боку на бок, не находя покоя, и если бы не ночь, начал бы рисовать.

Встал, взял палку, спустился в сад.

Вокруг всё спало.

Луна чуть-чуть выглядывала из желтоватой кисеи облаков, фиолетовый диск окружал светило.

Арсакидзе стоял под липой и радовался приливу жизни. Дней через десять он сможет ходить без палки и тогда обязательно зайдёт к Шорэне.

Осмотрелся в дремлющем саду. Спящая природа, казалось, пела во сне. Пели деревья, пели дремлющие цветы, трава, покрытая росой. Жужжание пчёл доходило до него, как звуки сладчайших гимнов. Пели спящие на горизонте горы, и сладко рокотала Арагва. Мужественно боролся с темнотой фазан в долине Цицамури.

В воскресенье утром Арсакидзе встал на заре. Об этом дне в месяцеслове было написано:

«День удачный, начало брожения вина, посадка лозы, свадьба, охота и путешествие, всё удачно...»

Арсакидзе отложил в сторону лунный календарь, взял в руки палку, но потом отбросил её и без палки вышел на балкон.

Посмотрел на сад.

Радостно щебетал в зелени щегол.

Жажда жизни и творчества проснулась в нём. Он вернулся в дом. Достал рисовальные принадлежности, растёр краски. Провёл несколько линий, очертил контуры верблюдов, стоящих по ту сторону потока, контуры двух жён Иакова, одиннадцати его сыновей, двух прислужниц и наметил расположение лагеря.

Ему оставалось только набросать фигуру Иакова, одиноко стоящего в пустыне по эту сторону потока, но в это время вошла Нонай.

— На чёрной лестнице стоит какой-то старик в чалме, спрашивает главного царского зодчего.

Арсакидзе догадался, кто был этот старец в чалме. Юноша был весь поглощён своей работой, и ему не хотелось никого видеть. Он нахмурился от злости, но тут же сообразил, что если он не примет гостя, тот может приписать это его гордости.

Он приказал служанке просить старца войти.

В дверь вошёл Фарсман Перс.

Сутулый, почти безбородый, старик шёл крадущейся походкой. В руке он держал длинный посох с серебряным набалдашником.

Поздоровался с хозяином, уселся в предложенное ему кресло и спросил Арсакидзе:

— Скажи мне, юноша, что это за вашим домом, не башня ли Рати?

Арсакидзе удивился вопросу. «Накурулся, видно, с утра опиума», — подумал он и пристально посмотрел на гостя.

Нет, Фарсман как будто не пьян. Художник приветливо ответил старику:

— Да, сударь, башня.

— Эх, сынок, а я принял её за пекарню.

Вцепился обеими руками в набалдашник палки и, глядя в пол, произнёс:

— Старость — не радость, сынок! Стоит ли жить, если не можешь отличить пекарню от башни.

— С башни сорвана кровля, вот почему, мастер, вы и ошиблись.

— Эх, сынок, я больше не мастер. Теперь я ставлю клизмы из ревеня соколам царя Георгия, пою ястребов опиумом и лечу их от корчей. Когда неучи делаются мастерами, мастерам ничего не остаётся, как ставить соколам ревеневые клизмы.

Арсакидзе понял иносказание Фарсмана, который никогда не говорил прямо. Всегда обиняком, оставляя себе

лазейку для отступления. Резкими были его слова, как обоюдоострый меч.

— Почему спросил ты об этой башне, мастер?

— Когда человека настигает старость, он впадает в детство. Дети часто спрашивают о том, о чём сами хорошо знают. Старики и дети похожи друг на друга ещё и тем, что они одинаково болтливы. Но только ребёнок не стесняется говорить глупости. Наверно, он думает, что когда вырастет большой, то будет говорить только как мудрец. Старый тоже иногда прикидывается глупым, — он по опыту знает, что цари преследуют только мудрых, и ни один царь, будучи даже сам глупым, никогда ещё не вешал дураков. Ибо даже глупые цари понимали, что если перевешать дураков, то ни дани не соберёшь, ни рабов не погонишь на войну. И ты, верно, слышал, что на чужой войне никто так храбро не бьётся, как глупец. Вот и я был таким дураком, храбрым дураком на чужой войне. А насчёт башни я сейчас припоминаю. В эту башню царь Георгий заточил Рати. Умный человек был Рати — правитель замка. Он прекрасно знал, что тот, кто верно служит царю, должен иметь наготове темницу. Ибо царская милость — как ветер дует: то вверх, то вниз.

Фарсман выронил палку из рук, нагнулся поднять её и только тогда заметил картину.

— Я, повидимому, пришёл к тебе не во-время, юноша, ты собрался рисовать.

— Это так, пустяки! Хотел порисовать немного для себя. Давно не упражнялся в живописи.

— Кто тебя обучал живописи в Византионе?

— Главный живописец Аврэлиос Алостос.

— Аврэлиос Алостос! Родосский грек? Повидимому, у тебя есть способности... Да, родосский грек! — повторил Фарсман и уставился на Арсакидзе, но при этом он так часто мигал, что даже самый пронцательный человек не мог бы разгадать его мысли. Глаза у него сверкали, как зловещие звёзды.

— Я тебе хочу сказать, юноша, что для настоящего художника дороже всего не то произведение, которое заказано ему католикосом Мелхиседеком или царём Георгием, а то, которое он пишет сам для себя, на досуге. Знай, что досуг и фантазия — истинные родники творчества.

Лаз понял скрытый смысл его слов. На картине было проведено всего лишь несколько линий. Фарсман хотел

сказать, что эти несколько линий, проведённые на досуге, лучше, чем Светицховели.

Но разве можно было судить по этим эскизам о каких-либо способностях?

Фарсман явно над ним издевался.

Арсакидзе обиделся, но ничего не сказал старику-гостю. Арсакидзе, лаз, не мог оскорбить старца, ибо нигде так учтиво не относятся к старикам, как в стране лазов.

— Шестьдесят пять лет исполнилось мне, и вот на старости лет я зажил новой жизнью: позавчера женился, но в могилу иду с пустыми руками, ибо в жизни я делал только то, чего требовали халифы, кесари и грузинские цари.

Эти слова удивили Арсакидзе.

Он не раз беседовал с Фарсманом, но никогда ни единым словом не упоминал Фарсман о собственной жизни. Только мельком слышал Арсакидзе о необычном прошлом старика: говорили, что Теброния с родимым пятном на лице не только прислужница, но и побочная дочь его от какой-то монахини. Монахиню эту выгнали беременной из монастыря. Она пошла к своим братьям, и, как только родилась у неё девочка с родимым пятном, подбросила её ночью Фарсману. Тот её воспитал и сделал своей служанкой.

Фарсман встал и подошёл к картине. Опираясь на палку, стал её рассматривать.

— Если художник даже заранее уверен, что его картину никто не увидит, и то он не должен унывать. Ведь у нас так повелось: азнауры наши предпочитают картинам соколиный помёт, купцы — ковры, византийские патриции — коней. Епископы говорят, что художники — еретики, что они соперничают с богом, оживляют мёртвые изображения. Да и в Византионе ты не продашь своей картины: там благородные и неблагородные требуют одного, чтобы художник писал только кесаря Баеилия верхом на белом коне, поражающего копьём дракона. Мусульманин тоже не купит твоей картины, так как правоверный магометанин не войдёт в дом, где висит картина или находится пёс. У меня дома хранится пергамент, в котором сказано: «Горе тому, кто изобразит живое существо. В день судный оживут лица, изображённые художником, и сойдут с картины. Обступят они писавшего их и потребуют у него душу. И тот художник, который не сумел вложить в них свою душу, неминуемо будет гореть на вечном огне».

Поверь мне, юноша, лучшая картина — это та, которую не купят ныне ни в Уплисцихе, ни в Византионе, ни в Каире, как раз та, за которую потребуют у художника его душу.

Фарсман пожелал Арсакидзе доброго утра и, не спросив ни о здоровье, ни о Светицховели, собрался уходить.

— У царя Георгия заболел сокол, — иду ставить клизму из ревеня! — сказал он на прощанье.

После его ухода Арсакидзе продолжал рисовать.

Три недели работал Арсакидзе над картиной, так как лекарь ещё не пускал его на строительство.

Когда окончил, стал посреди комнаты, с радостью разглядывая произведение, написанное им ради развлечения.

На заднем фоне видны в полумраке верблюды и ослы, две жены, две прислужницы и одиннадцать сыновей Иакова, а по эту сторону потока одинокий Иаков. С Иаковом борется громадная тень великана. Косматая борода призрака сияет, как зарница, сверкающий нимб окружает голову. На великане чешуйчатая кольчуга. Огнём пышат его волчьи глаза.

#### XXXIV

Не выдержав срока, определённого лекарем, Арсакидзе рано утром поспешил на работу.

Каменщики и рабы обрадовались ему.

Бодокия встретил его первым и просил пока не подыматься на постройку. Но Арсакидзе не послушался и полез наверх по лесам. Он осматривал орнаменты карнизов, рисунки сводов, барельефы фасадов.

Едва достиг купола храма, — остановился и схватился рукой за поясницу.

— Тебе нехорошо, мастер? — спросил Бодокия, заметив, как побледнел Арсакидзе.

— Ничего, пройдёт, — ответил тот, держась за сосновый столб.

В этот день он обедал с каменщиками и до вечера ходил по строительству.

Ударил в било к вечеру в церкви Самтавро. Рабы ушли домой. А он всё ходил вокруг храма, осматривал в сумерках любимое творение.

Он устал. Болела поясница, но желание увидеть Шорэну было сильнее боли.

Был тихий вечер. Едва качались верхушки кипарисов, в зелени тополей чирикали воробы.

На улицах было пустынно.

Он пересёк кладбище. Безжизненно шуршали стебли репейника и лебеды.

Солнце прощалось с Кавкасиони. Дрозд стонал в зелени плюща.

Только что взлетевшие совиные птенцы направлялись к дубовой роще. Самые слабые из них садились по пути на ветви деревьев. Смешными казались юноше эти хмурые существа. Было ещё светло, и они не видели Арсакидзе, сидели, нахохлившись, странно щурили глаза.

Арсакидзе вышел на большую дорогу, ему встретились босоногие мальчишки. Беспечно шагали они и распевали песни, открывая рты, как поющие ангелы на фресках.

По направлению к самтавройской церкви шествовал целый легион монахов.

Арсакидзе почувствовал странный запах, какой бывает обычно в тёмных кельях и трапезных, — смешанный запах ладана, кожи и пота.

Безмолвно, безрадостно текла по дороге толпа чернорясников, слышался только топот их подошв. Монахи, как привидения, двигались к западу, и длинные тени их тянулись следом за ними.

Видимо, они возвращались из монастырских виноградников; в руках у них были полольники, лопаты, топоры. За спинами висели связки срезанных лоз. На полах чёрных ряс навяз репей и чертополох.

Торопились озабоченные сутулые старцы, вечерний ветерок шевелил их седые бороды. Мрачно глядели они на заходящее солнце; на всех были линялые одежды, а на шеях — чёрные чётки.

Шагали твёрдо чернобородые широкоплечие мужчины. Латы, мечи и шпоры были бы им больше к лицу, чем потёртые монашеские рясы. При штурме крепостей больше пригодились бы эти крепконогие и широкогрудые богатыри. Горели румяные щёки, пушились пышные усы и волнистые бороды.

Были в толпе монахов и безбородые, узкоголовые, кривоногие, сморщенные мужчины, с тоненькими, пискливыми голосами, те, что до конца своей жизни колеблются между Гермесом и Афродитой. Женщины ненавидят таких мужчин, как чуму, потому что десница этих людей не может

замахнуть мечом, наладить соху, косить хлеб, поразить копьём врага.

По природе своей бесплодные, безбородые, старики в юности и сюсюкающие дети в старости.

Арсакидзе с отвращением глядел на этих долговязых, вихлявых, пискливых, со впавшими грудями и широкими бёдрами женоподобных мужчин.

В конце этой армии шли послушники, ещё безусые, бледные, с длинными шеями, прекрасноликие, с перетянутыми бёдрами, широкогрудые и статные.

Им было бы к лицу ездить верхом на породистых высоких конях или идти в атаку на врага с копьями в руках. Среди них были и совсем маленькие мальчики, с густыми курчавыми локонами, тоненькие, как тростник. Восковой налёт был на их бледных лицах.

Арсакидзе рассматривал каждого из них. Запах воска, ладана и затхлых келий исходил от их одежды.

«Нищие во Христе!» — Он содрогнулся, точно раньше не видел этих монашеских легионов в Уплисцихе, Трапезунде, Византионе.

Замер, наконец, шлёпающий звук подошв, и Арсакидзе услышал топот коней.

Пастухи гнали с гор табун царских коней. Босоногие рабы сидели на неосёдланных кобылицах или по-двое вели на привязи жеребцов, в гривах которых запутался репей.

Ржали ратные кони, с пеной у рта грызли удила, и в их ржании слышался могучий зов пола.

Жеребята, прыгая и приплясывая, бежали за кобылицами, у которых были раздутые животы.

Буйволы, запряжённые в арбы, покрытые бурками, поднимали по дороге пыль. Тоскливо сопели потомки бегемотов, словно они везли в столицу покойницу-ночь.

«Лишь досужим положено влюбляться!» — подумал Арсакидзе.

Подойдя к дворцу Хурси, Арсакидзе обернулся, — двое трое прохожих мелькали ещё у поворотов. Он дал им пройти и быстро свернул в сад.

Полный тревоги, поднимался он по ступенькам лестницы.

Запросто захаживал он когда-то в семью Колонкелидзе и теперь удивлялся своему волнению.

Большая зала была открыта. По углам мерцали светильники. У самого порога сидела служанка Хатутай. Чулок со спицами лежал у неё на коленях. Арсакидзе поздоро-

вался, но ответа не последовало. Он заглянул служанке в лицо — она крепко спала.

Войдя в залу, юноша кашлянул. Никто не отозвался.

Рогатые оленьи головы, трёхзвенные панцыри, стрелы и луки висели по стенам. Осторожно прошёл он мимо закрытых сундуков и мапрашей. Задняя дверь была чуть приоткрыта. Он остановился у самого порога и заглянул в малую залу.

Семь хевисбери сидели вокруг стола, на котором лежали груды пховских япухов<sup>1</sup>. Арсакидзе узнал всех пховцев: Мурочи Калундаури, Мамука Балачаури, Мартиа Багатаури, Зезваи Мисураули, Бердиа Бебураули, Ушиша Гудушаури и Шиола Апханаури.

Во главе стола сидела Гурандухт.

Сидели косматые хевисбери в железных шлемах. Пламя светильников отражалось в их чёрных латах. Опустив головы, слушали они Шорэну.

— Я женщина, но я буду мстить царю за отца. Без меня не начинайте восстания. Я приеду в Кветари в день святого Георгия из Цкароствали. Надену на себя латы и шлем отца, опояшусь его мечом, сяду на его ратного коня и поведу войско с красным знаменем вперёд. И тогда мы увидим, на что способны пховские рыцари и женщины. Наше счастье, что царь Георгий не разрушил в Кветари главной крепости. Вы должны как можно скорее построить боевые башни. Ошибка моего отца была в том, что он допустил в Пхови войско Звиада. Пригласил царя в замок и не ослепил его до прихода Звиада. Мы не должны повторять этой ошибки. Войско Звиада мы встретим в Гудамакари.

Встал старейший Мурочи Калундаури:

— Тогда нам изменили Мамамзе и Тохасидзе. Они должны были разбить войско Звиада в Гудамакари.

Эти слова взволновали Арсакидзе. Он понял, в какое опасное дело втягивали Шорэну эти фанатики.

Он смело открыл дверь и вошёл в залу. Хевисбери повскакали с мест.

Арсакидзе почувствовал запах овчины, смешанный с запахом масла.

Мурочи Калундаури ласково приветствовал Арсакидзе. Константин приложился к его правому плечу.

Расспрашивали Арсакидзе о здоровье, не женился ли он, чем занимается в Мцхета.

---

<sup>1</sup> Я п у х — медовый пряник.

Гурандухт смутилась, но встретила гостя приветливо.

По её приказанию прислужница принесла свежих япучков и пховские хинкали.

Потом хозяйка встала и вышла в большую залу. Арсакидзе слышал, как она бранила служанку Хатутай.

— Для чего же тебя посадили у порога, если ты не сумела сообщить нам во-время о приходе гостя?

Разговор с хевисбери пробудил в Арсакидзе воспоминания о Пхови, о счастливых вечерах, проведённых в замке Колонкелидзе.

Шорэна подседа к юноше.

— О твоей болезни мы узнали только вчера. Вардисахар уверила нас, что католикос послал тебя в Кларджети. Вчера я хотела зайти к тебе, но неожиданно к нам приехали гости.

К Арсакидзе придвинулся Мартиа Багатаури.

— Твою мать я видел на прошлой неделе на празднике. Она привела жертвенную убоину цверскому, ангелу и отслужила панихиду по твоему отцу. Просила передать тебе поклон и поцелуй. День и ночь она молится за тебя ангелу очага, каратскому рыцарю Копале<sup>1</sup> и ципальскому вождю воинства<sup>2</sup>. Мать умоляет тебя отпроситься у этого безбожного царя Георгия и проведать её хотя бы не надолго!

После ужина три служанки со светильниками проводили хевисбери спать.

Мурочи Калундаури не хотел так рано уходить: всё равно ломота в старых костях не даст ему уснуть.

Он подсел к Гурандухт, и они стали шептаться.

Шорэна болтала с Арсакидзе. То и дело повторяла его ласковое имя, ласкалась и льнула к нему. Когда узнала причину болезни, стала упрекать его:

— Какой же ты мужчина, Ута, если надорвался от тяжести, которую могут поднять четверо мужчин? А я-то думала, что ты лев и что один можешь померяться силами с целым войском врагов.

Совсем близко наклоняла она своё лицо к лицу юноши. Арсакидзе волновало её сладостное дыхание, обвевавшее его щёки.

Скоро Гурандухт и две служанки увели из малой залы

---

<sup>1</sup> Копале — одно из многочисленных наименований святого Георгия.

<sup>2</sup> Другое наименование святого Георгия.

хевисбери Калундаури. Шорэна положила руки на плечи Арсакидзе и приникла совсем близко к его уху.

— А знаешь, Ута, Вардисахар собирается уехать в Пхови на праздник святого Георгия. Она берёт с собой и нашу служанку Пиримзису. Хотят убежать ночью, — сказала Шорэна и испытующе взглянула на Арсакидзе.

### XXXV

Царица Мариам готовилась к отъезду в Византион. В день сошествия святого духа она поехала в Абхазию.

Обручение Гиршела с Шорэной состоялось за неделю раньше, но Гурандухт свадьбу почему-то откладывала, ссылаясь на то, что она ждёт приданое Шорэны из Кветари и приезда своего брата — эристава Дачи.

Георгий уже видел приданое Шорэны, но полагал, что это не всё и что в Пхови спрятаны ещё немалые богатства. Царь не особенно жалел о том, что свадьбу Гиршела отложили до конца осени.

Ему не хотелось, чтобы эта свадьба состоялась до отъезда царицы Мариам в Византион. В его сердце всё ещё теплилась надежда, хотя казалось, что всё уже потеряно.

Осень была не за горами.

А потом?

Потом пропасть, о которой он даже боялся думать. Он стал чаще курить опиум, нил больше вина, увлекался охотой и пирами.

Теперь он особенно сильно жаждал войны, — войны с сарацинами или с греками, чтобы погибнуть обоим: ему вместе с Гиршелом. Так топит Арагва во время половодья двух буйволов, впряжённых в одно ярмо.

Георгий тщательно следил за Гиршелом, особенно по вечерам. Он должен был знать, как и где проводит время его двоюродный брат. Утешало его только то, что Шорэна была равнодушна к своему жениху. К Георгию она относилась более внимательно. Вот почему царь так часто назначал приёмы, пиры и охоту.

Да и Гурандухт не оставляла обручённых наедине, и это тоже радовало влюблённого царя.

В начале июля Гиршела вызвали в Квелисцихе по делам эриставства. Но не прошло и двух недель, как он вернулся в Мцхета.

И как раз в тот вечер, когда владелец Квелисцихе снова пожаловал к царю, Звиад спасалар без вызова явился во дворец.

Георгий сидел один в большой палате, когда услышал тяжёлые шаги Звиада. Вместе с Звиадом вошёл мсахуртухуцеси, главный начальник дворцовых слуг. Царь предложил им сесть. Возволнованный Звиад доложил царю:

— Лазутчики сообщили неприятные новости из Пхови. Хевисбери восстанавливают боевые башни. Колонкелидзе ведёт себя так, как будто он не только ослеп, но и оглох. Он поссорился с изменившим ему эриставом Мамамзе, и если даже пховцы снова восстанут, Мамамзе и Тохаидзе не поддержат эристава. От Колонкелидзе отступили дидойцы, дзурдзуки и галгайцы. Летом они напали на него и угнали скот.

Ещё одна неприятная новость. В конце осени дочь Мамамзе, Катай, выходит замуж за начальника крепости Тохаидзе.

Царь Георгий хорошо знал Талагву Колонкелидзе: его жена и дочь — заложницы царя, но он не отступит ни перед чем ради кровной мести.

Когда Звиад закончил доклад, царь пристально посмотрел на него и спросил:

— А дальше?

— А дальше, если на то будет твоё соизволение, я полагаю, что мы должны немедленно послать в Пхови войска, захватить Колонкелидзе и отрубить ему голову, пока он не успел ещё помириться с Мамамзе и дидойцами. Не так ли?

Царь молча поник головой.

Звиад принял это за знак согласия и продолжал ещё настойчивее.

— Вожаков восстания нужно сейчас же схватить и обезглавить! Не так ли, царь-батано? Мурочи Калундаури, Мамука Балачаури, Мартиа Багатаури, Зезваи Мисураули, Бердиа Бебураули, Ушиша Гудушаури и Шиола Апханаури!..

Пока спасалар перечислял хевисбери, Георгий сидел, не поднимая головы, и молчал.

Тогда Звиад понял, что молчание царя не означает его согласия.

Георгия поразило и возмутило это известие.

Война?

Он жаждал войны, но не с внутренними, а с внешними врагами. Внутренних войн царь не хотел.

Кроме того, он знал, что Шорэна — смелая и своенравная девушка, и, если пойдут войной на её слепого отца, неизвестно ещё, на что она может решиться.

Свадьба Гиршела тогда, конечно, не состоится, и Шорэну придётся снова заточить в Гартискарскую крепость.

Бдительность Звиада спасалара всегда казалась царю преувеличенной.

А доносы лазутчиков не всегда оправдывались.

Царь поднял голову. Он удалил спасалара, сказав, что завтра даст ему ответ.

Про себя же он решил: поехать в Пхови без войска, без свиты, в качестве простого рыцаря-охотника. Решил сам всё посмотреть и проверить, чтобы зря не проливать невинной крови.

Мешало ему только одно обстоятельство: он не хотел оставлять Гиршела одного в Мцхета. Шорэна была равнодушна к жениху, но кто знает, что может произойти между ними завтра или послезавтра.

У царя Георгия было правило: не верить до конца ни женщине, ни лазутчику.

В ту же ночь он поделился своими намерениями с Гиршелом. Хочу, мол, ехать, но как мне оставить тебя одного, ведь ты мой гость.

Гиршел любил опасности, он жаждал приключений. К тому же ему хотелось посмотреть родину своей будущей жены. Заодно по пути они поохотятся на туров, попируют на пховских праздниках.

В эту ночь они легли в одной опочивальне и, вспоминая свою молодость, смеялись и шутили, лёжа в постели.

Они решили уехать из Мцхета тайком. Никто, кроме Звиада, не должен был знать об их отъезде.

Бороды, выкрашенные хной, отсутствие свиты и обоза, — всё это придавало их поездке романтическую таинственность.

Сопровождать их будут только двое: скороход — Пипа Ушишарандзе и конюх Габо Кохричидзе.

Они поедут на абхазских иноходцах, так как арабские и текинские жеребцы в горах непригодны.

Четыре переодетых всадника выехали на заре из Мцхета. На них были железные шлемы и латы, к сёдлам приторочены свёрнутые войлоки.

Начало путешествия было весёлое.

Великан Гиршел подшучивал над верзилой Ушишараисдзе.

Скореход сидел на низкорослом иноходце, голову Ушишараисдзе покрывал старый-престарый шлем (времен Куропалата), покривившийся от ударов меча. Всадник держал в руке копьё, ноги его доходили почти до земли. У Гиршела тоже был смешной вид.

— Глахуна, как зовут твоего скорехода?

— Пипа, — ответил Георгий.

— Кто назвал такого великана Пипой? — хохотал Гиршел.

— Я назвал его так в детстве. А по крещению у него греческое имя — Анаксимандрос. Мцхетский архиепископ Максим окрестил его этим именем. Ты ведь знаешь, я не люблю всё византийское.

Ещё не доехали до Сапурцле, а солнце стало уже припекать. От зноя свернулись листья вяза. Всадники погоняли взмыленных коней.

Пипа сплёл листья тыквы и напялил их на шлем. Габо шутил, что в таком виде он может сойти за медвежье пугало. Изнурённые зноем буйволы валялись в лужах. При появлении всадников буйволы начинали скорбно мычать.

Стая псов с высунутыми языками кинулась под ноги лошадям. Забившись в кусты, ворковали дикие голуби. Кони то и дело тянулись к воде.

Взмывали коршуны, чертили круги на прозрачном небе, тоскливо покрикивали, словно жалуясь небу на тяготы сожжённой зноем земли.

Контуры замков, храмов и древних развалин выступали как нарисованные в бездонной синеве.

Ящерицы скользили через дорогу, змеи, подняв головы, прилипали к уступам утёсов. Арагва прыгала по громадным камням, ударяясь о скалы. Ревело эхо.

На берегу Арагвы путники решили отдохнуть. Габо развязал бурдюк, они позавтракали, выпили немного вина.

Надо было к вечеру добраться до Гудамакари, и потому они снова двинулись в путь.

На горе сверкнула белая церковь, показались стены её ограды.

Около деревни они встретили целое воинство босоногих монахинь.

Женщины в чёрных одеждах, покрытых пылью, шли с закрытыми головами.

— Как они переносят в своих чёрных одеяниях этакий зной? — сказал Гиршел Георгию.

— Женщины легче нас переносят жару, — ответил Георгий.

Монахиня, шедшая впереди, держала в руках завёрнутую в белое полотно глиняную статую Лазаря<sup>1</sup>.

Другие тащили мучные мешки и белые тюки.

Шли босоногие монахини и пели:

Подошёл Лазарь к дверям,

Пялит он глаза...

Георгий и Гиршел ехали вдоль дороги и тайком разглядывали монахинь.

Гиршел нагнулся к Георгию и шепнул:

— Нет ничего безобразнее на этом свете, чем сборище уродливых баб. Какие они сутулые, горбатые, кривые!

И в самом деле, мимо них в пыли тащились какие-то страшные уроды: похожие на деревянные куклы с развалившимися бёдрами, монахини, колченогие, плоскогрудые и узкоголовые, иные же наоборот, широкоплечие, с длинными талиями, напоминавшие пугала.

— А ведь среди них есть и красивые, — шепнул Георгий владетелю Квелисцихе. — Посмотри на тех, что идут по косогору. Какие стройные девушки! Я заметил их, когда они шли по дороге.

Они пустили лошадей и поровнялись с передними рядами монахинь.

Из-под платков атели загорелые щёки, сверкали грустные глаза, чернее ночи. Гиршел заметил и других: русых, белолицых женщин, чуть веснушчатых, полногрудых, прямоногих и стройных, как древки хоругвей.

Царь и эристав, истомлённые жарой, наблюдали покачивание мягких и круглых бёдер под чёрным монашеским одеянием. Маленькие и белые, как голуби, ножки топтали дорожную пыль...

Георгий снова наклонился к Гиршелу и шепнул ему:

— Кто осудил этих несчастных женщин на вечную печаль, а их красоту — на праздное увядание? Неужели только для того они живут, чтобы стать добычей смерти? И неужели никому не удастся вкусить их цветущую сладость?

— Знаешь, Глахуна, когда я был в стране сарацинов,

<sup>1</sup> В Грузии испокон веков существует такой обычай: во время засухи женщины делают из глины «Лазаря», спускают его в воду и просят, чтоб Лазарь послал дождь.

вид женщин под чадрой волновал меня. Как лёгкая желтизна на белом винограде в конце сентября, так и тень от чадры красит лицо женщины в мусульманских странах. Среди магометанских жён немало и распутниц. Идешь, бывало, вечером по глухой улице. Морской ветер развеивает юбки и чадру. Проходит мимо женщина в чадре, и если ты ей понравился, она сама подсобит ветерку, откинет на мгновение чадру и покажет лицо прекраснее иранской розы. Я имею в виду розу Экбатаны<sup>1</sup>, которая распускается первая в месяц цветения роз. Не думай, что она красная, нет, она цвета старинной слоновой кости, как скипетр Багратионов, что ты показывал. Я любил женщин, хранимых тенью чадры, не доступных постороннему глазу. Ты меня понимаешь?

— Говори короче, Гиршел, многословие иногда портит речь. Ты любишь таких женщин, как твоя невеста, дочь Колонкелидзе, не правда ли?

Гиршел подтвердил догадку друга кивком головы и посмотрел на лукаво улыбающегося Георгия. А затем прищипнул коня.

Проехали подъём. Монахини свернули вправо. Как грачи, рассыпались они по остроконечному холму.

В гору подымались двадцать латных всадников. Порывавшись с четырьмя рыцарями, они крикнули:

— Кто вы такие?

— Мы рыцари царя Георгия, — ответили все четверо.

Всадники соскочили с коней и приветствовали друг друга по рыцарскому обычаю, облобызались, после чего встречные рыцари направились в Мцхетá.

Георгий продолжал беседу, прерванную Гиршелом.

— Если тебе нравятся красавицы под чадрой, то и старый пень Фарсман тоже твоей породы.

— Ты о чём, Георгий?

— Фарсман повадился в Мцхетский женский монастырь и обесчестил там самых красивых девочек. Дочь Шарвашидзе прижила от него ребёнка, а о простых рабынях и говорить нечего. Недавно он получил девочку Фанаскертели, у неё были ланиты цвета старинной слоновой кости, как раз такие, какие ты любишь, Гиршел.

— Ну, а дальше? — спросил Гиршел.

— А дальше ничего. Ты что думаешь, дорогой Гиршел,

---

<sup>1</sup> Экбатана — город в Иране, знаменитый царским дворцом и садами. Основан, по преданию, Семитрамидой.

наши законы писаны только для глупцов? Умные устраиваются таким образом, что взамен их в ловушку правосудия попадают дураки. Католикос Мелхиседек запрыгал, как стрекоза, требуя для преступника самой суровой казни.

Царь пришпорил коня. Гиршел не выдержал и спросил:

— Ну, а что ты сделал, Глахуна?

— Что я смог сделать? Фарсман Перс — лучший строитель крепостей на всем Востоке. Не мог же я отрубить ему голову из-за какой-то девчонки. Звиад спасалар сообщил мне, что Фарсману известны некоторые важные тайны и что мы должны их выведать у него. Мы и решили женить его, и знаешь, на ком?

Гиршел остановил коня:

— На ком?

— На Вардисахар, служанке твоей невесты Шорэны. Я знаю твоё обжорство,—если ты увидишь эту женщину, ты, пожалуй, ещё на год отложишь свадьбу.

Гиршел улыбнулся и легкомысленно спросил:

— А где теперь эта женщина? Знаешь, ведь жёны у стариков сладкие.

— Я тоже точу на неё зубы, и если мне удастся её заполучить, то знай, я не стану ждать твоего благословения.

Георгий придержал коня, так как Ушищараисдзе и Кохричисдзе отстали.

По полю шла огромная толпа.

Впереди двигались хоругви, а за ними священники. Несли иконы для погружения их в реку. Босоногие женщины пели «Лазаря». В посёлках мальчишки обливали девочек водой. Девочки бегали и хохотали.

Георгий заглянул в фруктовый сад.

— В этой деревне зацвела пшати, и потому девочки возбуждены, — сказал он владетелю Квелисцихе.

Царь и эристав отстали от своих спутников, чтобы вволю насладиться скабрёзными рассказами и сквернословием.

Абхазская лошадь сопела под тяжестью богатыря Гиршела.

Путники въехали в укреплённую деревню. На взгорьях ревели ослы, они тащили на спине кувшины с водой; мальчишки-верзилы, сидя верхом на ослах, волочили по земле босые ноги.

## XXXVI

В церкви с белым куполом ударили в бѣло. По узеньким тропинкам с рѣвом тронулись овечьи отары и, как мутные волны, залили склоны ближайших гор. Бараны и овцы скатывались прямо в воду.

Ревели бычки, возвращающиеся с пастбищ, ржали кобылы, босоногие бабы шныряли по просѣлкам с глиняным Лазарем в руках и жалобно пели:

Подошёл Лазарь к порогу,  
Пялит глаза...

Господи, дай нам грязи,  
Не хотим мы больше засухи.

Уставшие всадники молча ехали на взмыленных лошадях и поглядывали на пышные груди босоногих баб.

Им приелись ласки придворных дам, они мечтали целовать обветренные щѣки, мечтали об утругих, как каравай, грудях...

В ущельях путников встречали бирючи. Слышались окрики с башен и крепостей. Их окружали копыеносцы, осматривали, спрашивали — кто такие?

— Мы слуги царя Георгия, едем в Дидо закупать лошадей.

Они давали взятки начальникам крепостей и хевистави и медленно продвигались вперед по пховской земле.

Лошади с трудом пробирались по крутым тропам.

Тени с гор ложились в лощины. Лаяли шакалы, слышался клѣкот орлов, которых ночь застала в горах. На берегу Чѣрной Арагвы стояла крепость с четырьмя башнями.

Кохричисдзе предложил:

— Проникнем тайком в крепость, я знаю там конюхов, они дадут нам ночлег.

Глахуна не согласился.

— Лучше дождѣмся зари в сосновом бору.

Начались хвойные леса. Монотонно шумѣли водопады, свергаясь с утѣсов. Филины подымались с опушки леса. В ущелье выл горный волк.

Всадники заблудились в каком-то ущелье. Глахуна предложил спрятать латы и шлемы и бросить копыя, иначе будет небезопасно ехать по пховской земле.

Впереди показались горы цвета гепарда. Глахуна и Габо помирали со смеху, глядя на переодетых в отрепья Гиршела и Пипу, походивших на медвежьи пугала, стоящие на нивах.

У лошадей, на которых ехали Гиршел и Пипа, то и дело лопались подпруги. Всадники сошли с коней и повели их на поводу.

Лошадь Гиршела подвигалась с трудом. Её подталкивал сзади Пипа, и таким образом двое богатырей тащили одну лошадь.

Поднялись на плоскогорье, покрытое остролистником. Тоскливо пищали в кустах глухарь.

Подстрелили двух глухарей.

Развели костёр, зажарили дичь. У Габо оказалось в бурдюке вино.

К ним подъехали трое пховцев в латах.

Пховцы опять спрашивали, кто такие и по какому делу явились в Пхрви.

Глахуна предложил старейшему из них полный рог вина.

— Скажи, дед, кто теперь правит Пхови?

— Эристав Колонкелидзе.

— Но ведь он слепой?

— Слепой, да видит лучше того, кто глаза ему выжег.

— А кто выжег ему глаза?

— Да этот собачий сын, царь Георгий!

Владетель Квелисцихе, чтобы скрыть улыбку, принялся уплетать глухаря.

Когда пховцы отошли, Георгий обратился к эриставу:

— Если бы другим царям вздумалось, подобно мне, бродить переодетыми, то, уверяю тебя, они бы ещё и не то услышали.

В сосновом лесу стреножили коней и раскинули на земле войлоки.

Спали по очереди.

Большая Медведица прошла свой небесный путь.

По лесу пронёсся странный звук, похожий на сердитое мяуканье кошки.

Гиршел схватил меч и бросился в чащу.

Он вернулся с пустыми руками и подсел к угасавшему огню.

— Что тебе почудилось, Гиршел? — спросил Глахуна.

— Кажется, это были гепарды.

При упоминании о гепардах проснулись Пипа и Габо.

Они прислушались. Из ущелья доносился сердитый вой, похожий на мяуканье мартовских котов.

— Лютый зверь гепард, — сказал Гиршел. — Все звери боятся человека. Даже лев и тот без причины не нападает на людей. А вот гепард не боится. В Египте он не только ночью, но и днём похищает детей. В Алеппо гепард растерзал муллу вместе с ослом, на котором тот ехал.

— Разве гепарды водятся в Египте? — спросил Габо.

— Гепарды водятся как раз вот на таких утёсах, какие мы только что проехали. Они устраивают своё логово на обвалившихся скалах. А если у здешних гепардов имеются щенки, то нам сегодня ночью придётся попрощаться с нашими лошадьми.

— Как? Разве гепарды нападают и на лошадей? — спросил Пипа.

— И не только на лошадей! Они иногда нападают даже на слона и вскакивают ему на спину. Особенно страшна самка. Среди хищников самым храбрым зверем считается самка гепард.

Чем больше углублялись они в Пхови, тем труднее становилось путешествие. На каждой горе подстерегала их крепость, в устье каждого ущелья поджидали бирючи. На каждом шагу приходилось давать взятки хевистави.

Становилось уже небезопасным выдавать себя за скупщиков лошадей.

Георгий убедился, что пховцы считают дидойцев своими врагами.

В нескольких местах они расспрашивали о лазутчиках Звиада и узнали, что те бежали в Уплисцихе.

Показались горы ястребиного цвета.

Следующую ночь путники провели под скалой. Посоветовавшись, решили ехать дальше врозь и на расспросы отвечать всем по-разному.

Царь и эристав должны были говорить, что они рабы царя Георгия, убежавшие из уплисцихской темницы.

Оруженосцу и скороходу было приказано не пить пива, избегать женщин и не ходить в гости.

На перекрёстке путники разошлись в разные стороны. Условились встретиться на храмовом празднике и принести туда каждому по жертвенному козлёнку.

Георгий знал, что к гостям с жертвенным приношением пховцы относятся радушно.

Пипе и Габо было приказано бранить при каждом удобном случае царя Георгия и Звиада спасалара и таким образом узнавать настроение жителей Пхови.

Поручили не поминать добром и католикоса Мелхиседека, хулили Мамамзе, дидойцев и галгайцев.

Коней оставили в ближайшем лесу.

Пошли пешком. Владетель Квелисихе не бывал раньше в Пхови. Всё здесь ему казалось необычайным: пховские иконы, хевисбери и молельни у дорог, сложенные из камней. С сочувствием глядел он на роженец, запертых в навозном хлеву в конце села.

Наконец показался условленный посёлок.

Георгий и Гиршел купили козлят и поодиночке вошли в ограду молельни.

Гиршел с любопытством разглядывал внутренность пховской молельни с высокими сводами и колоннами, украшенными турьими рогами. Он издали следил за Георгием и подражал ему в поведении.

Смотрел, как подводили к месту «искупления» умалишённых и ставили им на шею древко хоругви, как хуци — главный священнослужитель — шаманил над больными, позвякивая бубенцами хоругвей. Молился за связанных по рукам сумасшедших.

Во дворе молельни шумели пховцы, одетые в кольчуги.

Перед храмом на каменном жертвеннике покоилось большое знамя. Рядом стоял хуци.

Царь Георгий опустился на колени перед знаменем, в одной руке он держал козлёнка, в другой — зажжённую свечу, протянутую к востоку.

Хуци поднял голову и обвёл взглядом небосвод.

— А-а-а, да прославит господь величие твоё, святой Георгий! Для победы своей возьми Азшанидзе Глахуну во услужение к себе, не лишай его своей милости на многие лета.

— А-а-а, слава господе, слава солнцу, солнечным ангелам! Молю тебя, победителя над врагами и над злой смертью!

Затем он стал что-то бормотать, но ни царь, стоявший на коленях, ни Гиршел не могли уже расслышать.

Подошел дастури<sup>1</sup>, взял у Георгия козлёнка и раскормил его. Хуци перерезал козлёнку горло.

Дастури подставил чашу и наполнил её тёплой кровью.

---

<sup>1</sup> Д а с т у р и — помощник хевисбери.

Хуци подал знак Георгию, и царь, окунув пальцы в тёплую кровь, освятил руку, помазал себе кровью лоб и щёки.

Георгий отошёл от жертвенного камня и стал следить за «освящением» Гиршела.

У Гиршела было такое несчастное выражение лица, что Георгий едва сдерживал улыбку.

Наконец показались Габо и Пипа.

У Пипы козлёнок вырвался из рук. Пипа погнался за ним, но никак не мог его поймать.

Гиршёл и Георгий едва удерживались от смеха при виде этого зрелища.

Наконец жертвоприношение закончилось, и молящиеся группами расположились под ясенями.

Четверо спутников, встречаясь в толпе молельщиков, обходили друг друга, как незнакомые.

Звон бубенцов, подвешенных к хоругвям, замер. Дастури вынесли из помещений, стоявших около хати, священное пиво и стали угощать им приехавших на празднество паломников.

Дастури выкладывали груды варёное мясо прямо на землю перед молещиками, которые, скрестив ноги, уселись в круг.

Какой-то рыжий пховец, со шрамами на лице, подсел к Георгию. Звали этого широкоплечего, сероглазого молодца Калундаури Годердзи.

Он вежливо осведомился, зачем пришёл к ним путник: посмотреть на праздник, или, может быть, он лазутчик царя Георгия?

Глахуна сделал вид, что обиделся:

— Да поразит святой Георгий царя Георгия и его лазутчиков. Я убил нечаянно одного попа в Уплисхихе и за это просидел три года в тюрьме.

Годердзи Калундаури сочувственно выслушал гостя. Рассказал ему о своей жизни. Он был сыном хевисбери Мурочи Калундаури. Предложив гостю пиво и хашламу, Годердзи принял в свою очередь бранить царя Георгия.

— Не простим мы ему разорения Пхови, — говорил он.

Начались хороводные пляски.

Танцевали и пели одновременно две группы мужчин в доспехах ястребиного цвета.

Начинал высоким голосом запевала:

В честь кого сегодня праздник?

В честь Георгия святого...

Хор повторял припев. Затем вступал запевала второго хора:

Долг мой за ведьмами.  
Почему ты спрашиваешь об этом, богородица?  
Тесто месила старуха-колдунья.  
Я её поймал на кухне.

Запевала первого хора перехватывал песню:

Не отступай, святой Георгий.  
Тоска преследует меня!  
Не отступит святой Георгий.  
Кольчуга пёстрая на нём.

Медленно и плавно танцевали мужчины в шлемах, юноши, стройные, как пховские сосны, танцую, приближались к воротам святилища. Здесь они опять становились группами друг против друга. Вправо кружились пляшущие, влево же развевались полы их одежд. Гремели на них доспехи, зычными голосами гудели слуги святого Георгия.

Кончив пляску, мужчины усаживались пировать под ясениями.

Вставали другие танцоры и кружились в новом хороводе.

После мужчин стали плясать женщины в красивых пховских нарядах. Развевались их длинные шёлковые платки, развевались платья, расшитые красными и жёлтыми узорами.

В одной из групп Георгий заметил Вардисахар. Он узнал и вторую девушку — служанку Пиримзису.

На голове Вардисахар красовался пховский кокошник, унизанный бусами и расшитый крестами и тесьмой. Кольхалась её обольстительно высокая грудь. Было заметно, что девушка отвыкла от пховского хоровода.

Калундаури налил Георгию полный рог пива. Гость опорожнил сосуд и снова стал разглядывать пляшущих женщин. Он хотел проследить, куда после хоровода пойдут Вардисахар и Пиримзиса.

Годердзи Калундаури быстро опьянел.

— Ты, кажется, затем и приехал, чтобы поглядеть на наших баб, — упрекнул он гостя.

Георгий улыбнулся ему и снова опорожнил рог.

Гиршел пристал к компании пьяных пховцев. Около эристава сидели трое старцев, и все они наперебой честили царя.

— Пока никому ещё не удавалось заковать в кандалы пховских орлов и туров. Ни один царь не сумел этого сделать. Не удастся это и царю Георгию. Он разгневал змеинного Георгия. Отомстит ему святой угодник, доконает его святой Георгий змеинного цвета! Попадись только нам в руки царь и его спасалар, повесим их на первой же колокольне.

Гиршел поднял голову. Он увидел, что царь Георгий и рыжий пховец о чём-то горячо спорят.

Вдруг они вскочили с места и обнажили мечи.

Обошли вокруг друг друга.

Крикнули и скрестили мечи.

Пховцы повскакали с земли и сомкнули круг около дерущихся. Гиршел тяжело встал и осмотрелся. Ушишараисдзе и Габо, побледневшие от волнения, стояли в круге. Георгий крикнул и нанёс Калундаури удар мечом по оплечью кольчуги. Оплечье пховца оказалось крепким.

Калундаури замахнулся на царя, но Георгий закрылся щитом, и в воздухе сверкнули искры.

Калундаури стал наступать на Георгия.

— Держись, трусливый как!<sup>1</sup> — кричал Калундаури.

Георгий отступил, закрылся щитом, затем снова крикнул и перешёл в наступление.

Пховец отскочил в сторону. Удар занесённого меча он отразил щитом. Вдруг его нога, обутая в лапоть, поскользнулась на мокрой траве. Он упал на одно колено.

Георгий остановился, давая понять, что он не тронет упавшего.

Храбрый пховец выпрямился во весь рост, поднял щит над головой, одной рукой отразил удар, а другой задел шлем на голове противника.

Бряцали доспехи, лязгали кольчуги, сверкали в воздухе мечи.

Гиршел обвёл взглядом толпу.

Точно коршуны, жаждущие крови, грозно глядели пховцы на чужака, бьющегося с пховцем.

Убей Георгий рыжего пховца, весь его род обнажит

---

<sup>1</sup> Пховцы и хевсуры называют остальных грузин «кахами», то есть кахетинцами.

мечи, и тогда четырёх пришельцам придётся сражаться с целой дружиной.

Гиршел переменил место. Он встал между Ушишараисдзе и Кохричисдзе и незаметно их ушил: «Будьте, мол, готовы».

Ещё минута — и свалится либо Георгий, либо пховец, и тогда Гиршелу придётся раздвинуть толпу, выхватить меч и, как разъярённому гепарду, наброситься на целое племя.

Опять наступал пховец. Щит Георгия лязгнул. Пховец пронзил его остриём меча. Из левой руки Георгия хлынула кровь.

Разъярённая толпа ахнула.

Гиршел тронулся с места, шагнул вперёд, но тут увидел нечто такое, чему глаза его отказывались верить.

Георгий отбросил щит, снова поднял меч, дико крикнул и, размахивая мечом, загнал противника в толлу зрителей.

Пховцы заревели, как один человек.

Круг разорвался.

Гиршел уже готов был обнажить свой меч, как вдруг заметил побледневшего Калундаури, который стоял с обломком меча в руке.

Георгий бросился к безоружному, положил ему на плечо окровавленную левую руку, а правой протянул ему свой меч.

— Будем отныне побратимами, Годердзи!

Противники обнялись.

Пховцы заговорили все разом.

Первым подошёл к побеждённому сыну хевисбери Мурочи Калундаури, взял у него из рук подаренный меч и стал его внимательно рассматривать. Никогда ещё не приходилось ему видеть подобного меча. Меч был в крови, он вытер его подолом чохы и снова стал разглядывать.

То красноватые, то зеленоватые отблески переливались на мече цвета червонного золота. На обратной стороне рукоятки были вычеканены тупоконечные кресты. В середине — изображение крылатого юноши и волчьей морды. На лицевой стороне — какая-то надпись.

Георгий испугался, как бы не прочли надписи:

«Царь царей Георгий, меч Мессии».

Но он скоро успокоился: ведь никто из пховцев не умел читать.

— Кто тебе дал меч с волчьей мордой? — спросил старик царя.

— Я воевал с сарацинами и убил их эристава. Вот с него и снял этот меч! — ответил Георгий.

Пховцы обрадовались молодцу, который воевал с сарацинами.

Каждый из них обнажал свой меч, водил им по мечу Георгия и с удивлением видел, что подаренный меч режет пховские мечи, как нож разрезает сыр.

Хевисбери Калундаури пригласил Георгия к себе в круг.

Ему перевязали руку, благословили, дали пива из рога, украшенного бусами.

Подошёл хуци, настрогал серебра в рог, наполненный пивом, и благословил напиток. Калундаури выпил и дал выпить побратиму. Царь и пховец вкусили «пицверцхли».

Калундаури усадил в свой круг Гиршела, Габо и Пипу.

— Вы ведь тоже чужие!

Гости старались как можно меньше пить пива.

Когда пховцы перепились и захрапели под ясенем, четверо гостей поодиночке скрылись от хозяев.

Габо и Пипе было приказано пойти за лошадьми и ждать царя и Гиршела в священной роще.

Дастури тоже валялись пьяными.

Гиршел и Георгий вышли из ограды молельни. Навстречу им шли Вардисахар и Пиримзиса.

Вардисахар узнала Авшанидзе—«царского скорохода», она приветливо поздоровалась с пховским гостем.

Хотя Гиршел и был пьян, но он всё-таки вспомнил, что ему говорил царь об этой девушке, и стал её рассматривать.

Вардисахар признала в нём жениха Шорэны, но удивилась его убогому одеянию.

Она была недовольна своей госпожой.

«Выдала меня замуж за старика, не пожалела меня!»

Чтобы отомстить Шорэне, она принялась кокетничать с её женихом.

Гиршел этим воспользовался. Он взял женщину под руку, и все четверо направились к священной роще.

Пиримзиса нехотя шла за Георгием. Он ей понравился, но девушка стеснялась Вардисахар.

— Почему с тобой поссорился сын хевисбери? — спросила она Георгия. — Мы с Вардисахар издали наблюдали за вами.

— Я загляделся на тебя, а это ему не понравилось,— соврал Георгий.

Пиримзисе было приятно услышать это. Она хотела ещё о чём-то спросить, но от волнения у неё пересохло горло. Как только они вошли в буковый лес, Авшанидзе стал её целовать. Он останавливался под каждым деревом, закидывал голову девушки и целовал её в губы.

Идущая впереди пара скрылась в лесной чаще.

Гиршел подхватил на руки Вардисахар. Вначале она сопротивлялась, но затем перестала — ей было приятно чувствовать дыхание сильного мужчины.

Георгий и Пиримзиса лежали под огромным буком. Девушка плакала от счастья.

До слуха Георгия донёсся свист скорохода.

Он поцеловал девушку в последний раз, и когда затянул пояс, то почувствовал, что от пховки пахнет овчиной.

Над священной рощей светил месяц, как турий рог.

Слышалось ржанье коней.

Рыцари проводили женщин до околицы села, сели на коней, и тогда Георгий сказал своему двоюродному брату:

— Знай, Гиршел, погибнешь ты в соревновании со мной!

Владелец Квелисцихе улыбнулся и поглядел на молодой месяц.

## XXXVII

Путешествие в Пхови убедило царя, что никаких восстаний в ближайшее время не предвидится.

— Твои лазутчики преувеличили угрозы обозлённых хевисбери, — говорил он спасалару. — Два раза мы обследовали Кветарский замок. Габо Кохричидзе провёл там всю ночь с конюхами, расспрашивал их подробно о том, почему в крепости восстанавливают башни. Они говорят, в Кветари боятся нападения дидойцев. Я думаю, Звиад, нам бы следовало подкупить одного из конюхов. Конь у Колонкелидзе прекрасный, он возит своего слепого хозяина по неприступным кручам. Если конюх, ухаживающий за этим конём, будет подкуплен, мы сможем всегда узнать, куда и зачем ездит эристав Колонкелидзе.

Звиад молчал.

— Я не уверен, Звиад, — продолжал царь, — что Талагва в самом деле поссорился с Мамамзе и Тохайдзе. А история относительно дидойцев, конечно, выдумана,

чтобы скрыть от нас истинную причину восстановления крепостей и башен.

Звиад спасалар полагал, что день мятежа всё же недалёк, но не посмел возражать своему повелителю.

### XXXVIII

В эриставствах царил мир.

Царица Мариам задержалась в Абхазии.

Католикос Мелхиседек уехал в Кларджети

Без них жизнь во дворце стала гораздо приятней.

У дворцового духовника тело покрылось какими-то странными язвами. Не только царь, но весь двор, вся Мцхета желали, чтобы у дворцового духовника оказалась проказа и чтобы она унесла в могилу этого злого попа.

Георгий и Гиршел то охотились, то тайно пировали во дворце.

За пирами следовала охота, за охотой снова пиры, скачки, джигитовка, метание копья, игра в поло.

Прибыл цхратбийский эристав Дачи и его супруга Русудан. Расцвела дочь Фанаскертели. Монашеская желтизна сошла с её лица, грудь и бёдра округлились. Мужчин волновали едва заметные усики над её маленьким, как колечко, ртом.

С затаённой страстью опускала она веки с длинными ресницами, без стеснения ходила по городу, курила опиум и охотилась за царём Георгием.

Георгий и Гиршел спаивали эристава Дачи и таскали по очереди его жену с собой на охоту.

Мцхетские жители сложили про неё шуточную шаири-частушку: жена цхратбийского эристава не ночевала с мужем и девяти раз<sup>1</sup>.

Для отвода глаз жена эристава прикинулась богомолкой. Муж предоставил её иконам, она же вместо икон проводила время с Георгием и Гиршелом.

В выпивке царь и эристав были сильнее её, зато в метании копья она побеждала обоих.

Эристава Дачи мало трогала предстоящая свадьба его племянницы Шорэны.

Он разузнал, что царь Георгий расположен к невесте владетеля Квелисцихе.

Вот почему он говорил своей племяннице:

<sup>1</sup> Игра слов: «ц х р а» — девять, «ц х р а т б а» — девять озёр. Жена цхратбийского эристава, то есть жена эристава «девяти озёр».

— Я советую тебе отказаться от замужества и постричься в монахини.

Больше всего его занимала дрессировка соколов по лазскому способу: он решил в своём эриставстве ввести этот новый вид охоты.

На террасах дворцов и замков до поздней ночи раздавался смех и говор гостей, придворных дам и рыцарей.

Скучающие без войны азнауры собрались в Мцхета. С ними приехало из эриставств множество блудниц, а также молодых жён старых эриставов и вдов.

Они приехали в Мцхета, чтобы получить благословение католикоса, но Мелхиседек был в отъезде, и потому женщины ограничивались милостями Бахуса и Афродиты.

К забавам Георгия и Гиршела прибавилось ещё одно развлечение: какой-то ингилоец<sup>1</sup> привёз царю из Кахетии двух гепардов.

Как раз в этот день Георгий и Гиршел пригласили Арсакидзе обучать сокола охоте по лазскому способу.

«До соколов ли мне? — думал сердито Константин. — Мелхиседек скоро вернётся из Кларджети, к его приезду нужно закончить Светицховели! Он привезёт византийских гостей, а через несколько недель состоится освящение храма!»

Не нравилась главному зодчему роль царского сокольника. Творец великого произведения, он был одержим гордостью превыше царя.

Как молния, облетела дворец весть о том, что привезли гепардов.

В дворцовом саду собрались гости — придворные дамы и рыцари.

Из дворца вышли Георгий и Гиршел. У каждого из них на левой руке сидело по соколу цвета кольчуги, а сами они были в кольчугах песочного цвета.

Царь передал своего сокола Арсакидзе и подошёл к ингилойцу.

— Как ты поймал гепардов? — спросил он.

— Мы роем в пустынных горах большую яму, царь-батона, прикрываем её прутьями, сажаем над ямой щенка с продырявленным ухом. А в дыру влета длинная верёвка. Конец верёвки держит в руках спрятавшийся в безопасном месте охотник. Рот у охотника завязан мокрой тряпкой. Так всю ночь и сидят они — щенок и охотник.

<sup>1</sup> Ингилоец — уроженец Саингило — северо-восточной провинции Грузии.

Время от времени охотник дѣргает за верёвку, щенок воет от боли. Гепард любит собачье мясо. Услышав собачий визг, он подкрадывается поближе и прыгает прямо на щенка. Прутья ломаются, и зверь проваливается в яму.

— А затем? — нетерпеливо спрашивает царь.

— А затем мы вытаскиваем зверя из ямы и связываем, потом колотим и морим его голодом. Снова бѣём, и снова морим голодом.

— В Египте гепардов ловят сетями,— заметил Гиршел.

Он предложил послать за Шорэной придворную даму Анчабаисдзе и Русудан, супругу эристава Дачи.

Царь приказал вызвать Фарсмана, как опытного заклинателя и укротителя.

Ингилоец сидел на земле и держал в руках концы верёвок и плетъ.

Когда гепарды рычали на окружающих, он замахивался плетью, которая свистела в воздухе. Так в Грузии аробчики погоняют буйволов.

В царском саду распустились иранские розы, красные, как кровь, белые, как сердцевина миндаля, и бледножёлтые, как старинная слоновая кость.

Цвели садовые маки, шафраны, нарциссы и гвоздики разных сортов (для описания их расцветки нехватало бы слов).

В бесѣдке собрались гости: рыцари и дамы-красавицы, прибывшие из эриставств.

Была тут Дедисимеди — единственная дочь владетеля Тмогвского замка, прекрасноликая, полногрудая, с бровями, натянутыми, как лук, и руками, белыми, как молоко, с длинными пальцами, какие рисовали на фресках тогдашние художники.

Младшая дочь Шарвашисдзе, Хатуна, синеокая стройная девушка.

И волнующая, как первый грех, Тутай, вдова Варданисдзе.

Все три дочери эристава Гварама Абубели: одна светлая, другая тёмная и третья «солнцеликая» (так называли её молодые люди).

Даже среди красивейших придворных дам выделялась своим блеском жена владетеля Цхвилосцихе Цокала. Безукоризненно прекрасное тело было у неё, но рыбыи глаза придавали её лицу глупое выражение. «Рыбьей коровой» прозвал её Георгий.

Было у неё и другое прозвище: «Апокалипсическая блудница». Так прозвал её царский духовник Амбросий.

Цокала была дальняя родственница царя.

Говорили, что «Рыбья королева» — его тайная наложница.

Вызывало подозрение и то, что Цокала приезжала «молиться» в Мцхета как раз тогда, когда царица Мариам уезжала на поклонение святым в монастыри Абхазии или Кларджети.

«Рыбью королеву» сопровождала её старшая дочь Натиа, только что сложившаяся девушка, стыдливая, как молодая серна.

Фигурой Натиа походила на мать, но глаза у неё были сапфировые. Она так нежно подымала и опускала свои длинные чёрные ресницы, как будто на её веках сидели сумеречные бабочки.

— У этой девочки пьяный взгляд, и потому она мне нравится, — вырвалось как-то раз у царя, когда он был пьян от опиума.

Царский духовник и другие дворцовые сплетники делали свои догадки:

«Рыбья королева» мечтала о царском титуле, но её подвели её рыбы глаза, теперь она пытается возвести на престол свою дочь Натиа».

К группе красавиц подошли прекраснотелая Анчабаидзе, «усатая» Русудан — супруга цхратбийского эристава, но дочь Колонкелидзе, Шорэна, затмила своей красотой всех присутствующих женщин.

Чуть печальной показалась царю дочь Колонкелидзе. Как роза Экбатана, блистала она среди прекраснейших женщин и цветов.

Шорэна не посмотрела ни на царя, ни на Гиршела, не удостоила взглядом и рыцарей в кафтанах, расшитых виссоном и аксамитом. Лишь на Константина Арсакидзе тайком взглянула она, — на того, кто, как тень, стоял среди знатных рыцарей, выделяясь из круга холеных придворных мужчин своей простой пховской одеждой.

Коварным взглядом окинула Шорэну «Рыбья королева», а затем перевела глаза на Георгия. От неё не скрылось волнение царя.

Не только дамы, но и рыцари не решались приблизиться к гепардам.

Самец лежал, самка стояла. Увидев гепардов, Шорэна просияла и смело подошла к самке. Георгий охватил их взглядом. Что-то общее было между гепардом и женщиной.

Арсакидзе вздрогнул: не бросился бы зверь на Шорэну!

Желтоватая шерсть с красными крапинками покрывала самку от шеи до хвоста, точно расшитая золотом дори.

Звери походили на тигров, только глаза и крапинки на теле были у них не такие крупные. Морда, живот и внутренняя сторона ног отливали соломенным цветом, хвост самки был ярче окрашен, чем у лежавшего рядом самца.

Когда самец встал, Шорэна заметила его крепкие высокие ноги.

Она погладила самку по спине, зверь сощурил глаза и замурлыкал, словно кошка, которая нежится на коленях у хозяина.

Храбрость Шорэны сконфузила рыцарей: женщина оказалась отважнее мужчин.

Теперь царь тоже подошёл к гепардам и обрадовался, что звери подпустили его.

Он волновался: почему не идёт Фарсман? Может быть, он заболел? Царь не знал, что Фарсман нарочно заставляет себя ждать. После того как с него сняли сан главного зодчего, он стремился получить должность главного ловчего.

Фарсман знал, что во дворце Георгия нет людей, которые умеют дрессировать гепардов, и потому стараясь набить себе цену.

Наконец он явился.

Склонился перед царём, поздоровался с гостями и смело подошёл к гепардам.

Он потёр самца за ушами, погладил по спине самку. Потом повернулся к царю.

— Это персидские паланги, царь-батано, индусы зовут их хонигами, или керкалами, египтяне — гносами!

— Если не ошибаюсь, индусы зовут их читой, — перебил его царь.

— Да, зовут и читой!

Фарсман читал об этих зверях у арабских авторов, а о том, как дрессируют гепардов он слышал в Каире, вот почему он обратился к ингилойцу с вопросом:

— А ты охотился с этими гепардами?

— На джейранов ходил, батано.

— А на серну?

Ингилоец почесал себе затылок.

— На серну ещё не водил их, батано!

— Кто их обучал?

— Мы завязываем им глаза и приставляем к зверям женщину, которая всю ночь кричит им в ухо или рассказывает сказки. Таким способом мы приучаем их к человеческому голосу.

Фарсман обратился к царю.

— Гепард — единственное животное, государь, которое может долго выдержать женскую болтовню! — сказал он и исподтишка взглянул на дочь Фанаскертели, супругу владельца Цхратба.

«Рыбья корова» обиделась за женщин. Положив руку на плечо Георгию, она шепнула ему на ухо:

— Почему ты до сих пор не убрал этого болтливового старика?

Русудан тоже обиделась, но смолчала, так как рядом с ней стоял её муж Дачи. При нём она боялась даже упоминать имя Фарсмана.

Старик почувствовал, что шутка оказалась грубоватой, он улыбнулся дамам, а потом, взглянув на царя, добавил:

— У гепарда, как и у женщины, — злое сердце, роскошное тело и прекрасное лицо, он такой же мягкий и тёплый, как женщина. Есть и ещё одно качество у этого зверя, но боюсь, что красавицы обидятся на меня, а потому об этом доложу тебе, государь, в другое время.

Георгий улыбнулся старику, а затем обратился к владельцу Квелисцихе:

— Что ты скажешь, Гиршел, не взять ли нам этих гепардов сегодня на охоту?

Гиршел задумался.

— Боюсь, Георгий, как бы они не сбежали, они ведь ещё неприрученные. Подождём неделю.

Царь спросил о том же ингилойца.

— Возьмите меня с собой, царь-батано, и если гепарды сбегут, отрубите мне голову.

Соображения Гиршела показались царю более убедительными.

В тот же день начались приготовления к охоте на ланей.

Гиршел утверждал, что гепарды раздражаются, когда их возят на арбе, — в Египте их возят на колеснице.

В Уплисцихском дворце давно валялась зелёная колес-

ница, подаренная кесарем Василием Баграту III вместе с титулом куропалата.

Георгий ненавидел эту колесницу так же, как и самого византийского кесаря.

В молодости он возил на ней охотничьих собак, пока Мелхиседек не воспротивился этому.

— Надо уважать христианского кесаря. Если тебе не угодно самому ездить на колеснице Куропалата, то хотя бы собак не вози на ней.

Теперь колесница пригодилась. Вместо собак на неё посадили гепардов, завязав им предварительно глаза красной шёлковой повязкой. Ни один из охотников, кроме Ушишараисдзе, не соглашался сесть рядом с ними.

Всё шло прекрасно, только одно обстоятельство омрачало радость охотников: накануне охоты с ингилойцем случился припадок лихорадки.

Шорэна очень радовалась этой охоте и просила Арсакидзе ехать вместе с нею.

— Ты обязательно должен поехать с нами,—говорила она,— к тому же царь Георгий просил тебя взять с собой соколов, обученных по-лазски.

Царский зодчий сначала отказывался.

— Не сегодня — завтра заканчивается строительство храма. Мне некогда разъезжать по охотам. Я не могу совмещать обязанности придворного лицемера с обязанностями зодчего. Если сан главного зодчего сулит мне в будущем сан главного сокольничего, то мне придётся по окончании храма сделаться простым каменщиком.

Но под конец он всё же уступил просьбам Шорэны.

Ещё до зари выехали из Мцхета царь и его свита: рыцари, придворные дамы и гости.

В зелёной колеснице сидел скороход Ушишараисдзе и держал на верёвке двух гепардов с завязанными глазами.

Колесница была разукрашена цветами и зелёными ветками. За колесницей ехали: царь Георгий, Гишел, главный распорядитель двора, Шорэна, Арсакидзе, цхратбийский эристав Дача и его супруга Русудан, «Рыбья корова», дочь её Натиа и Фарсман Перс.

Фарсман то и дело подгонял шпорами своего абхазского иноходца, чтобы ехать рядом с царём.

Он то лебезил перед ним, то расхваливал гепардов, привезённых из Кахетии.

Трое эриставов, семь латных рыцарей гарцовали за ними на арабских меринах.

В конце процессии двигались арбы, нагруженные бурдюками и яствами, и за ними ехали верхом главный ловчий, главный загонщик, десять охотников, трое сокольничих и Эстате.

Сокольничие везли закутанных в шёлковые «рубашки» соколов, дрессированных по-лазски, — одного для царя, другого для Шорэны и третьего для Гиршела.

Царь Георгий пребывал в прекрасном расположении духа. Он безустали скакал на своём золотистом жеребце и был весьма доволен тем, что ещё раз публично осмелел зелёную колесницу — подарок кесаря.

— Я полагаю, не слишком ли большой почёт оказан зелёной колеснице кесаря? До сих пор Эстате возил на ней собак, а нынче на ней путешествуют звери царской крови. Затем обратился к Гиршелу и его невесте. — Ты знаешь, Гиршел, у кесаря Базилия в жилах течёт кровь духанщика?! —

Гиршел улыбнулся и взглянул на свою невесту.

Шорэна раздурманилась от верховой езды и стала ещё красивее.

Фарсман Перс нагнал царя и без спроса вступил в разговор.

— А ведь гепард и в самом деле зверь царской крови, царь-батано! Самка гепарда считается молочной матерью Вакха — сына Зевса и Семелы...

Царь Георгий не слышал, о чём ему говорил Фарсман. Он продолжал беседу с Шорэной относительно кесаря Базилия и зелёной колесницы.

Фарсман оглянулся, и оказалось, что около него нет никого, кроме «Рыбьей коровы». Она тоже старалась ехать рядом с царём, но, неопытная в верховой езде, плохо справлялась со своим текинским мерином, и потому вышло так, что Фарсман рассказал ей всё то, о чём хотел рассказать царю.

«Рыбья корова» плохо его слушала, она вся была охвачена завистью: царь Георгий не обращал никакого внимания ни на неё, ни на её дочь Натиа, девушку с сапфировыми глазами. Он всю дорогу беседовал только с Шорэной.

### XXXIX

Потянулись болота, заросшие камышом. Теперь за колесницей шли шесть охотников и помогали лошадям вытаскивать её из ухабов.

Взлетели фазаны с полян, заросших рогозой. Напуганные кабаны с треском метались в тростниках.

В зарослях жалобно пищали фазаньи птенцы.

Охотники подъехали к покрытому окопником плоскогорью, которое вдавалось в горы, как морской залив. С трёх сторон плоскогорья возвышались горы. С юга подступала необъятная степь.

Главный ловчий нагнал царя.

— Загонщиков надо послать на склоны гор, чтобы они согнали зверей на плоскогорье, там их встретят гепарды.

Главный ловчий сожалел, что гончие псы не пригодятся сегодня: гепарды, увидев собак, бросятся за ними и перестанут ловить ланей.

Всадники долго стояли на степной меже. Наконец с севера донёсся звук большого охотничьего рога, на склонах гор загонщики били в барабаны.

Над чащей тростников поднялись фазаны, и охотники издали любовались ими.

Кабанихи с поросятами убегали в лес.

На плоскогорье царила тишина.

Охотники видели издали, как заколыхались верхушки окопника. Георгий и Гиршел заметили двух птиц, летящих над зарослями, но то были не птицы, а уши двух ланей.

Георгий испугался, что лани могут заметить охотников и уйти обратно в горы. Гиршел же утверждал, что раз уж они спустились с гор на плоскогорье, то обязательно выйдут в степь.

И действительно, лани, вынырнув из моря окопников, понеслись прямо по степи.

Не успели они проскакать и ста локтей, как Ушишараисдзе снял красные повязки с гепардов. Звери бросились в погоню.

Царь, Шорэна, «Рыбья королева», её дочь, Гиршел, Арсакидзе, Дачи и его супруга, вся свита сорвали коней с места.

Гепарды изо всех сил неслись за ланями.

Кони распластались по земле от быстрого бега, но всё же отставали от гепардов.

Сперва Георгий и Гиршел скакали впереди, но конь Гиршела вскоре отстал. Теперь текинская кобыла Шорэны догнала золотистого жеребца, на котором скакал царь.

Арсакидзе прищпорил арабского мерина и следовал за ними на расстоянии прыжка лани.

Георгий был рад, что рядом с ним скачет Шорэна.

В этот миг он забыл и о гепардах и о ланях.

Гепард-самец первым настиг лань. Ещё несколько прыжков, и он вскочил бы на спину своей жертвы. Но в этот миг лань бросилась влево (так же, как заяц удирает от гончих). Гепард пронёсся мимо неё. Когда он изменил направление, лань была уже далеко. Вторая лань поскокала вправо и увлекла за собой гепард-самку.

Эристав Дачи, главный распорядитель двора и пять всадников тоже повернули вправо, царь же и остальные всадники погнались коней за первой ланью.

Несколько дам отстали.

Зависть душила «Рыбью корову», она припустила коня и быстро нагнала дочь Колонкелидзе. Кобыла Шорэны уступила место мерину Цокалы.

Гнев обуял Георгия, когда он заметил рядом с собой «Рыбью корову». Как грех молодости, настигающий старика, догнала его бывшая наложница.

Теперь мчались в паре Шорэна и Ута. Это напоминало им юношеские радости, испытанные в Пхови.

У Арсакидзе мелькнула мысль опередить царя и показать ему, как умеют ездить лазы. Но даже в порыве азарта он понимал, что делать этого нельзя.

Гепард-самец снова нагнал лань. Она опять взяла в сторону, но на этот раз гепард оказался умнее. Со страшной быстротой преодолел он пространство, описал в воздухе дугу и очутился на спине у лани.

Пока спешили всадники, гепард схватил за горло свою жертву и стал жадно пить её кровь. При этом он злобно рычал: «Урррахх, урррахх».

Даже мужчины не посмели приблизиться к нему.

— Попробуй, Гиршел, подойди! — с улыбкой обратился царь к владельцу Квелисцихе. Гиршел заколебался. Он поблелел.

Георгий снова улыбнулся и выступил вперёд.

«Урррахх», — зарычал гепард ещё свирепее.

Георгий стегнул в воздухе плетью и дико крикнул на зверя.

Хищник оторвался от лани, из его окровавленной пасти снова раздалось «уррахх».

Георгий смело подошёл к лани, распорол ей кинжалом живот и бросил зверю дымящиеся внутренности.

Двое всадников неслись к ним по степи.

Эристав Дачи и главный ловчий подскакали к царю.

— Что у вас там случилось, молодцы? — спросил Георгий.

— Гепард поймал лань, но сам пожирает её, никого не подпускает к себе. Чуть не откусил ногу эриставу Дачи! — доложил главный ловчий.

— Плохие же вы рыцари, если одна самка напугала стольких храбрецов, — пошутил Георгий.

— Неужели гепард мог напугать даже моего мужа? — едва удерживая смех, отозвалась дочь Фанаскертели.

Гиршел то краснел, то бледнел. Гвоздём вонзились в сердце слова Русудан: «Даже моего мужа». Особенно это «даже».

Никогда никто не наносил ещё ему такого оскорбления.

Охотники снова сели на коней.

Гиршел был мрачен.

Вдвоём с царём мчались они впереди других. Остальные охотники ехали по степи рысью, так как ни у кого из них не было желания кормить собой гепардов.

Георгий был в восторге от того, что всегда печальная Шорэна увлеклась охотой.

Царь воспользовался этим и спросил дочь Колонкелидзе:

— Хочу спросить тебя, Шорэна, но не сердись на меня! Прошу тебя заранее!

— Прикажете, государь. Разве цари боятся гнева рабов?

— Неизвестно, кто из нас раб.

Шорэна улыбнулась.

— Скажи, Шорэна, нравится ли тебе твой жених?

— Что же, Гиршел был бы хорош, если бы не походил на журавля! — не задумываясь, ответила девушка.

Царь просиял, он хотел ещё о чём-то спросить, но Шорэна перебила его.

— Да к тому же, кажется, и трусоват владетель Квелсцихе, — добавила она.

Георгий придержал лошадь, обернулся назад и, убедившись, что свита отстала, обратился к Шорэне в упор:

— Если хочешь, я устрою от тебя Гиршела?

Шорэна промолчала.

— Ваша воля, государь, — тихо произнесла она спустя некоторое время, — но я знаю, что даже цари не в силах изменить волю провидения.

Царь пришпорил коня, и они очутились на поляне, поросшей папоротником.

Копьеносцы загнали гепарда к краю оврага.

Окровавленный зверь стоял над разодранным трупом лани и разъярённо рычал: «Урррахх, урррахх».

Огонь пустыни сверкал в его глазах.

Тут же стоял и Фарсман Перс, но даже он не решился приблизиться к гепарду.

Георгий помог Шорэне сойти с коня.

Фарсман бросился к нему:

— Прикажите принести вина, царь-батона, гепард любит вино больше крови. Он опьянеет, и тогда мы поймем его, как индюшонка.

Георгий не ответил и лишь махнул рукой.

— Пусть подойдёт к нему тот, кто храбрее других, — произнёс он так громко, чтобы слышали рыцари, и показал взглядом на гепарда.

Гиршел выступил вперёд. Чуть побледнев, он взмахнул красным шёлковым платком, который держал в левой руке, правой взялся за рукоятку меча и вплотную подошёл к гепарду.

Зверь наводил ужас своим рычанием.

До растёрзанной лани оставался лишь один шаг, как вдруг гепард бросился на рыцаря и впился ему в правую руку. Дамы вскрикнули от ужаса, рыцари обнажили мечи. Гепард отскочил от раненого, описал в воздухе громадную дугу и, как тень, исчез с утёса.

Гиршела уложили на зелёную колесницу. Второго гепарда посадили на арбу.

Опечаленные дамы и рыцари молча направились в Мцхета.

У Шорэны испортилось настроение. Она отстала от Георгия и ехала теперь рядом с Арсакидзе. Когда приблизились к дворцу Хурси, Шорэна сказала Константину:

— Завтра вечером я приду к тебе, Ута!

## XL

Со дня охоты прошло две недели, а Гиршел был всё ещё болен. Георгий скучал без него. Не устраивалось больше ни охот, ни пиршеств.

Соколы зевали на насестах.

Одиноким гепард день и ночь рычал: «Урррахх, урррахх». Павлины резко кричали в дворцовом саду. Небиера мычала в загоне, грезила о пховских горах и солёных водах.

Георгий удивлялся, почему она трубит так жалобно.

Он вспоминал её мать, которая жизнь в плену предпочла смерти на свободе.

В Мцхета начались необычные для этого времени года проливные дожди.

Царица Мариам вернулась из Абхазии в Уплисцихе.

Мелхиседек писал, что везёт византийских гостей и что через месяц будет в Мцхета.

Азнауры разъехались по своим замкам, а вслед за ними уехали и весёлые женщины.

«Рыбья корова» повезла дочь свою Натиа, девушку с сапфировыми глазами, в Нокорно, чтобы на новом месте поклониться вместе с нею святому Георгию, сбежавшему из Мцхета.

Дачи и Русудан поспешили в своё эриставство, и если Цокала боялась царицы Мариам, то Русудан с «усиками» боялась католикаса Мелхиседека.

Днём непрерывно лили дожди. Ночью, когда немного прояснилось, царь и Фарсман подымались на плоскую кровлю крепости и смотрели на луну, которая была окружена драконообразным маревом. Месяцеслов Фарсмана не предвещал хороших вестей.

Язвы на теле царского духовника не заживали.

Георгий и в самом деле хотел, чтобы у духовника оказалась проказа, но когда язвы почернели, страх закрался в его душу.

Турманидзе уехал в Артануджи.

В субботу Георгий весь день сидел дома. Читал псалмы, курил опиум, листал новый месяцеслов Фарсмана. Царь был не в духе, угнетало его и то, что Гиршела кусал гепард.

После обеда дождь перестал. Георгию захотелось побродить по полям, покружить по степям. Он вызвал скорохода Ушишараидзе и послал сказать Фарсману:

— Проведай царского духовника, потом явись ко мне и сообщи, что с ним!

Скороходу же приказал:

— Держи наготове двух коней, вечером мы поедem в Сапурцле.

Когда Фарсман вошёл в спальную палату, царь, закрыв глаза, лежал на спине. Руки у него были скрещены на груди. Лицо казалось измученным. Седина резче выступала на висках.

У изголовья стояли два серебряных подсвечника. Мерцали восковые свечи, восковой оттенок покрывал лицо царя.

На столе дымилось наргиле. В комнате чувствовался запах опиума.

Царь открыл глаза, посмотрел на Фарсмана.

— Проведал царского духовника? — спросил он Фарсмана, который, кряхтя, уселся в кресло.

— Да, я навестил больного, царь-батано.

— Знай, что сегодня ты должен говорить мне только правду!

— Разве я когда-нибудь говорил тебе неправду, царь-батано?

— Только глупцы говорят правду царям.

— Это верно, государь, но бывают такие дни, когда даже мудрецы должны говорить правду.

— Пусть сегодняшней вечер будет таким, — улыбнулся царь.

Фарсман обрадовался.

— Как ты думаешь, не проказа ли у попа?

— Нет, государь, думаю, что не проказа.

— Быть может, чума?

— Вряд ли.

— Ты сказал, что будешь сегодня говорить мне только правду, Фарсман.

— Только как вестника правды носят меня мои старые кости, царь-батано!

— Что же мне сказать тебе, Фарсман?

— Всё то, что тебе угодно, царь-батано.

— Где ты пропадал столько времени? Возвещал миру правду, не так ли?

— Нет, я считал рыб, плывущих в Гудамакари.

— Сколько же их проплыло сегодня вечером?

— Ровно столько, сколько правдивых слов я хочу сказать тебе, царь-батано.

— А всё же сколько их было?

— Столько, сколько вопросов пожелает задать мне мой повелитель.

— И эти вопросы, как и рыбы, проплывут мимо?

— Нет, мои слова оживут в молчании, они тихо проникнут в душу слушателя и медленно, как дым от опиума, проходящий через трубку наргиле, дойдут до его сердца, и только после этого я увижу их действие.

Царь поднял голову, показал глазами на подсвечники и сказал:

— Я часто засыпал под твои волшебные рассказы, Фарсман. Если я и сегодня усну, возьми эти подсвечники

и, когда будешь проходить малую палату, отдай их слугам. Скажи, чтоб не будили меня, пока не явится скороход Ушишараисдзе.

Сказав это, царь замолк.

Спустя некоторое время он снова обратился к старику:

— Ты хорошо выразил сходство между словом и опиумом. А теперь скажи мне: чем же слово не похоже на опиум?

— Чем не похоже слово на опиум? — повторил Фарсман. — А вот чем: опиум пьянит только того, кто его курит, а слово, сказанное одному, пронзает сердца тысяч, как камень, брошенный рикошетом.

— Но где это слыхано, чтобы так бросали камни?

— В детстве я и мои сверстники ставили вдоль стены пустые кувшины, а затем кидали камнями в стену. Камни отскакивали от стены и разбивали кувшины. Когда нас заставлял наставник, мы божились, что кидали камни мимо кувшинов.

Царь помолчал, а затем спросил Фарсмана:

— Почему ты говоришь шопотом, Фарсман? Я, правда, немного пьян, но думаю, что сон ещё нескоро возьмёт меня. Кроме того, ты сегодня говоришь так мудро, что, пожалуй, я и вовсе не усну.

— В Каире у меня был учитель, мудрый собеседник — Абубекр-Исмаил-Ибн-Аль-Ашари звали его. Он бродил по свету и одарял людей мудростью. При дворе Ал-Хакима он считался вещателем тайн и мастером нащёптывания. Это он научил меня, царь-батону, сообщать шопотом великие истины на ухо сильным мира сего. То, о чём можно говорить на базаре, следует выкрикивать громко, как это делают продавцы мёда и воды в Каире, чтобы их слышали сапожники и чувячники и покупали у них воду.

— Я спрошу тебя ещё об одном, и постарайся ответить мне быстро и прямо.

— Я никогда не говорю прямо, ибо сказанное обиняком прямее ведёт к цели, царь-батону. Если бы я и мои сверстники бросали камни прямо в кувшины, наш наставник бил бы нас нещадно. В Афинах греки почитали одно божество, которое считалось у них вещателем. Но это божество никогда ничего не говорило прямо, а всегда лишь обиняком и намёками.

Царь зевнул, закрыл глаза, но затем снова обратился к Фарсману:

— А теперь скажи мне, как нравится тебе, Фарсман, наш главный зодчий Арсакидзе?

— Ничего, хороший малый этот лаз Арсакидзе, но он рисует лучше, чем строит. Когда я узнал, что Мелхиседек назначил его строителем храма, мне пришёл на память один старинный рассказ...

— Не католикос, а я сам выбрал Арсакидзе.

Старик смутился и замолчал.

В дворцовом саду рычал гепард: «Уррахх, уррахх».

— Не бойся, что бы ты ни сказал мне сегодня, я всё прощу тебе, Фарсман.

— Если цари щадят за правду сегодня, то спустя три года они втрое за неё взыскивают.

— Ни через три дня, ни через три года... Клянусь!

Фарсман колебался.

— Что же тебе напомнило назначение Арсакидзе, Фарсман?

— Когда дьяволы изгнали попов из ада, бог им назначил туда попом ворона.

Царь расхохотался, и это прибавило Фарсману смелости.

— А как тебе нравится новый Светицховели?

— О новой книге ничего нельзя сказать, пока её не перепишут много раз. О вновь построенном храме тоже ничего нельзя сказать, пока землетрясения не испытают его прочности.

— Ты опять говоришь тёмные вещи, Фарсман.

— Я думаю, царь-батона, что лучшая книга та, которая ещё никем не написана. Что касается лучшего храма, то он тоже ещё никем пока не выстроен на земле.

— Теперь поведай мне о моих вазирах, Фарсман. Какой из них тебе нравится больше всех?

— Тот, кто хоть один раз говорил правду своему повелителю.

— Ну, и который же это из них?

— Все твои вазирсы боятся тебя. Ты знаешь лучше меня, что советы лицемеров никогда ещё не приносили пользы царям.

Царь лёг ничком и хохотал от всей души. Он рукой вытирал выступившие от хохота слёзы.

Фарсман всё больше смелел.

— Трусы не могут быть хорошими вазирами, это так же верно, как и то, что Арагва не потечёт вспять.

— Это бесспорно! — подтвердил царь.

— А если это бесспорно, то что же остаётся делать царю? Умные вазирьы ни одного царя ещё не сделали мудрым. А если царь окружит себя такими вазирями, у которых не будет страха перед царём, то вазирьы сами потянутся к престолу.

Царь подтвердил и это.

— А ещё какой порок у царей, Фарсман? — с улыбкой спросил царь.

Фарсман нерешительно молчал.

— Выкуренный опиум уже разбирает меня, но воздействия твоих слов я пока ещё не чувствую. Ты ведь знаешь, Фарсман, я бываю добрым, когда пьян.

— Ты и трезвым бываешь добр, государь.

Царь не обратил внимания на его слова и продолжал:

— Однажды какой-то простолюдии убил подо мной лошадь. Я был пьян и одет простолюдином и потому не наказал его.

— Я слышал об этом, царь-батона!

— Расскажи мне ещё о повадках царей.

— Самое большое несчастье царей — это их гордость. Царь всегда и везде одинок. А ведь известно, что одинокий человек не может быть цельным. И чем выше стоит одинокий человек, тем вернее он знает, что даже в своей высшей мудрости он кажется людям безумцем.

— А дальше? Дальше что?

— А дальше... оглянется кругом одинокий и, не найдя равных себе, теряет скромность — лучшее украшение человека.

Оба замолчали. Из дворцового сада снова донеслось рычание одинокого гепарда: «Урррахх, урррахх».

— Истинную скромность никогда не смешивай со скромностью раба и лицемера или с покорностью нищего, который целует ремни на сандалиях своего хозяина. Самое большее несчастье постигает человека тогда, когда он забывает, что каждый человек сын божий. Цари и безумцы страдают одинаковой болезнью — они считают себя выше всех людей и потому всякого, кто посмеет с ними равняться, непременно обезглавливают. А между тем тот, кто считает себя выше даже самого маленького человека, уже и есть спесивец. Если я встречу Мессию и он мне скажет, что я лучше других, я отвечу ему: «Значит, ты не Мессия!» Цари и львы делаются спесивыми от одиночества, и это их губит.

К окнам большой палаты подступили сумерки. Фарс-

ман посмотрел на ложе царя. Георгий лежал с закрытыми глазами. Свет от восковых свечей придавал его лицу оттенок безжизненной желтизны. Он походил скорее на покойника, чем на спящего.

«Заснул, наверное», — подумал Фарсман.

Он встал, забрал с собой подсвечники и на цыпочках вышел из комнаты. Не успел он дойти до коридора малой палаты, как в опочивальню царя вошёл Ушишарандзе.

Царь приподнялся.

— Фарсман Перс украл серебряные подсвечники, догони его, Пипа, и дай пинков этому старому псу, — сказал он скороходу.

Когда Георгий и Пипа спускались по ступенькам дворца, Фарсман Перс сидел на лестнице. Он встал, подошёл к царю и сказал:

— Ты ведь обещал, государь, не наказывать меня за правду?

Царь поднял брови.

— Тебя наказали не за правду, а за кражу подсвечников.

Фарсман удивился.

Царь улыбнулся.

— Ты любишь, Фарсман, говорить намёками, а цари любят намекать пинками.

Одну правду Фарсман всё же скрыл в тот вечер от Георгия. У царского духовника он заметил следы чумной язвы. Кроме того, он сказал Георгию ещё одну неправду, и об этом читай следующее:

### П о у ч е н и е .

Как-то раз вечером трое музыкантов вышли на городскую площадь.

Стояли они и играли на своих инструментах.

Вокруг них образовался хоровод. Возбуждённая музыкой толпа радовалась созвучию свирели, пандури<sup>1</sup> и ствири.

К музыкантам подошёл глухой. Он не слышал ни звуков, ни слов.

«До чего же глуп этот народ! — подумал глухой. —

<sup>1</sup> П а н д у р и — грузинский трёхструнный музыкальный инструмент.

Стоят три человека и машут руками. Один засунул в рот тростник, другой взял в руки кусок дерева и водит по нему деревянной палочкой, а третий поднёс ко рту надутый бурдюк... И, глядя на это, столько людей прыгают, как безумные».

Когда неудачник, преисполненный зависти, не видит величия произведения, созданного большим мастером, то знай, что он напоминает того глухого, который не слышит сладких звуков музыки.

## XLI

Облака сперва были песочного цвета, но они пожелтели, когда месяц поднялся над Крестовым монастырём. Затем на небе началась игра красок. Горы стали синими, а небо и облака окрасились в цвет дикого голубя.

Арсакидзе всё это видел с балкона. Он видел также и то, как в небе победили тёмные краски.

Потемнели постепенно деревья, крыши церквей и крепостей. Далеко на западе, на краю неба сверкнула молния.

С крепостных башен донеслись звуки рожков.

Это был сигнал. Сменялись дозорные.

Сумерки спускались на фруктовый сад дворца Рати. Вечер облил тёмными красками цветы и травы. Деревья превратились в тени.

Сидящий на балконе почувствовал озноб. Он встал и вошёл в комнату.

Нонай зажгла светильники.

Маленькие, совсем крохотные бабочки плясали в зале вокруг огня.

В кустах стонал совёнок.

Долго сидел Арсакидзе один и слушал зов одинокой души.

В зал влетели большие бабочки: у них были чёрные крылья, краплённые по краям красными и жёлтыми точечками. Они кружились вокруг светильников.

Арсакидзе не выдержал этого зрелища, встал и снова вышел на балкон. Было приятно сидеть в темноте. За последнее время он сильно изменился. Нетерпеливым, беспокойным он стал, как Эрос, рождённый нетерпеливой матерью от упрямого отца.

День опаздывал к рассвету, солнце — с закатом, вечер не переходил в ночь.

Получалось так, словно на глазах Арсакидзе светила изменили путь своих колесниц.

Всё дело было в том, что человек, выросший в одиночестве, больше не мог быть одиноким.

Благодарение богу, что его любимое творение будет скоро закончено, иначе какому сердцу хватит силы служить одновременно любви и искусству?

Одно капище не может вместить двух кумиров.

Арсакидзе не находил себе места. Он снова спустился в сад.

Ночь вошла во дворец Рати, но любимой всё ещё не было.

Три вечера подряд лил дождь. Сегодня прояснилось, но она не приходила.

Он стоял, прислонившись к стволу липы, и прислушивался к малейшему шороху.

Сад молчал. Листья не шевелились. Одинокий совёнок жалобно пищал в кустах, и только этот писк доносился до слуха Арсакидзе, стоящего в темноте. Он закрыл глаза, и ему послышался голос Шорэны. Казалось, она держала его за чоху и шептала ему:

— Отчего ты грустен, Ута? Вот я и пришла! Не грусти, Ута!

Он открыл глаза и взглянул на месяц.

Снова закрыл их, томясь в ожидании. Он забыл о времени.

Откатились годы, как морской прибой. Снова Ута стал отроком, вернулись к нему дни детства. Счастливое время, когда он с чистым сердцем верил в сказку.

Солнце и луна были тогда молочными детьми одной матери.

Юноша и девушка полюбили друг друга.

Родители наказали их.

Девушка обратилась в луну, а юноша в солнце.

Оба превратились в огонь и улетели на небо.

Тысячелетия промелькнули, как один миг.

Ищут с тех пор друг друга влюблённые, молочные брат и сестра.

Солнце и луна. Оба они — любовь.

Да, это так: кто испытал любовь, тот познал и смерть.

И если в мире существует бог, то этот бог — любовь.

Вдруг он вздрогнул.

Не ветер ли шевелит ветками в саду?

Не совёнок ли жалуется на своё одиночество?

Сладко спали цветы и травы, и лишь пчѣлы пели во сне, или, быть может, то пела любовь в сердце юноши?

Распускались в темноте розы и китайские глицинии. На Светицховели рисовались чѣтко, как кисти винограда, орнаменты, вырезанные на тедзамском камне рукой мастера.

«Любовь — это бог на земле», — так подумал Арсакидзе и услышал шелест женского платья.

К нему спешила тень в покрывале, затканном лунными лучами.

— Зачем ты меня ждал здесь, Ута? — сказала она.

И когда наяву он услышал её голос, когда её уста снова назвали его лазским именем, которым никто больше его не называл, Арсакидзе хотел опуститься на колени в траву, пасть к ногам желанной, той, которая пренебрегла всем и пришла к бедному мастеру, чтобы снова возобновить дружбу юности. Но он сдержался и лишь потянулся поцеловать её руки.

Войдя в комнату, они заметили, что вокруг светильников летали чѣрные бабочки, бились прямо об огонь и с опалѣнными крыльями падали вниз, беспомощно трепыхаясь.

Летучие мыши носились парами в головокружительном хороводе.

Шорэна сняла покрывало.

Ни жемчужной шапочки не было на ней, ни алмазного ожерелья, ни платья из китайского шёлка, ни шейдиши цвета фазаньей шейки.

Она была одета в пховское чѣрное платье, такое же простое, как носили служанки.

Она казалась побледневшей.

Печальная, как скорбящий ангел в Кинцвиси<sup>1</sup>.

И только теперь понял Арсакидзе, что её алмазные шапки, платья из персидского и китайского шёлка, шейдиши и жемчужные ожерелья — всё это было лишь маской, которую она носила во дворце царя Георгия.

И делала она всё лишь для того, чтобы никто не догадался, как похожа Шорэна на свою любимую Небиеру, мечущуюся в загоне в месяцы оленьего призывного зова, когда она грезит о пховских горах и солѣных водах.

Ещё прекраснее казалась она в этом чѣрном платье; траур украшал её больше, чем алмазные ожерелья и цветные платья.

<sup>1</sup> Кинцвиси — храм XI века. На стене храма нарисована фреска: «Скорбящий ангел».

От страха дрожала дочь Колонкелидзе.

— Никого нет во дворце кроме тебя, Ута?

Оглянулась и в углу заметила картину.

Посмотрела и смутилась, когда увидела Иакова, борющегося с богом.

— Кто же может быть здесь, кроме меня? — сказал юноша. — Нонай давно спит в своей комнате. Только я да бог в этом несчастливом, мрачном дворце.

— Какой бог? О чём ты говоришь, Ута?

Она снова взглянула на картину, взяла светильник и стала пристально её рассматривать.

— Этот старец похож на католикоса Мелхиседека. Я видела его в тот вечер, когда юн говорил о противоборстве Иакова с богом. А Иаков похож на тебя, Ута!

Мастер промолчал. Он посадил гостью в кресло и придвинулся к ней.

— Словно во сне вижу тебя, Шорэна. Какой длинный страдальческий путь мы должны были пройти, чтобы найти друг друга! Всю свою жизнь я, безумец, искал бога: в Пхови, в Лазистане, в Византионе. И только сегодня я понял, что жизнь не так уж плохо устроена. Долг человека не в нищенском богоискательстве. Мастер сам должен стать соперником бога.

— О чём ты говоришь, Ута? Меня пугают твои слова!

— Ты ведь не из трусливых, дорогая, не такая, как другие женщины. Потому я любил тебя даже раньше того, как понял, что такое мужчина и женщина. Ты, не дрогнув, подошла к царским гепардам. Ты такая чистая, что даже свирепые хищники не посмели тронуть тебя. И если любовь — бог, то ты и есть моя любовь и моё божество. Вот почему я всегда чувствовал тебя рядом с собой в своей одинокой борьбе!

Шорэна, потупив голову, слушала юношу. Ни тени удивления не было на её лице, и Арсакидзе казалось, что она понимает всё без слов.

Он приблизился к ней, погладил по голове, приласкал, как ребёнка.

Девушка спокойно подняла голову и посмотрела на него печальными глазами.

— Я так же одинока, Ута, как и ты, — сказала она. — Я одинокое дерево, клонимое ветром. Я всегда была с тобой, Ута, только ты этого не замечал. Ты был увлечён своим искусством, бегал за блудницами, охотился.

— Разве я оттолкнул тебя?

— Ты помнишь, Ута, в тот день, когда в Кветари должен был приехать Чиабера на моё обручение, я тебя просила оседлать коней и ночью бежать со мной из Пхови?

— Помню, но я тогда думал, что ты моя молочная сестра.

— А кто тебя в этом разуверил?

— Я поклялся не говорить.

— Знаю, кто мог это сделать.

— А разве ты знала, что не ты, а Мзекалай моя молочная сестра?

— Знала, но, признавшись в этом, я открыла бы тебе своё сердце. Нехорошо, когда в признании женщина опережает мужчину.

— Значит, ты не любила Чиабера? А я думал, что это был лишь девичий страх перед замужеством.

— В создании женщины, Ута, бог, наверное, не участвовал. Возлюбленного выбирает себе сердце женщины, а жениха подыскивают ей родители. Мне приходилось выбирать между царём Георгием и Чиабером. Я знала, что наши матери выходили замуж за людей, которых не любили до замужества. Я жалела царицу, как может одна женщина жалеть другую, и не хотела строить своего счастья на несчастье другой. Вот почему я помирилась с мыслью стать женою Чиабера.

— А теперь?— спросил изумлённый Арсакидзе.

— А теперь уже поздно. Для нас обоих лучше не будить юношескую любовь. Гиршел говорил мне как-то, что разбуженный гепард — самый страшный зверь на свете. А я думаю, что разбуженная любовь ещё страшнее. Гиршел или Георгий? Ни тот и ни другой. Гиршел напоминает мне пугало, которое ставят на хлебных полях от медведей. Царь Георгий ослепил моего отца, и я скорее соглашусь стать женой смерти... Мой дядя Дачи подал мне хороший совет — постричься в монастырь, и нужно последовать этому совету. Есть ещё один путь, Ута. Но об этом поговорим когда-нибудь позже...

Арсакидзе обнял и поцеловал Шорэну. Как первый грех юности, были сладостны её уста.

С крепости Мухнари донёсся звук рожка.

Девушка встала.

— А теперь я должна оставить тебя. До свидания, Ута!

Арсакидзе обнял девушку.

Сладостно было её дыхание, как аромат земли в месяц цветения роз.

— Всё принесу тебе в жертву, Шорэна, кровь сердца моего, мой последний вздох будет принадлежать тебе, но только не оставляй меня одного.

Дочь Колонкелидзе отстранила его руку.

— Дважды протрубили зорю, Ута! Уже поздно!— произнесла она твёрдо.

Шли по узким переулкам Санатлойского квартала. Вздуродраженные собаки стаями носились в темноте. Из облачной засады выплыл месяц, покрытый мутными пятнами.

Арсакидзе шёл поодаль от дочери эристава.

Когда дошли до дворца Хурси, он оглянулся и, не заметив ни души, подошёл и поцеловал ей обе руки. Он умолял не оставлять его одного.

— Хорошо, завтра вечером приду, Ута, если не будет дождя. Приду обязательно!

Как небесный звон раздался её голос.

Теми же переулками возвращался назад Арсакидзе. Собака сидела на плоской крыше землянки. На чугунное изваяние походил силуэт овчарки при лунном свете. Здрав голову, она скорбно выла в одиночестве.

Арсакидзе вздрогнул от этого воя.

Ускорил шаги, взглянул на луну и пожалел, что не может так же выть в небо.

Фиолетовая кисея покрыла светило, сноп красноватых лучей трепетал в зените неба. Такой луны не видал ещё никогда Арсакидзе.

Шёл, спотыкаясь, по тёмным улицам, упрекая себя за прошлое. Он вспоминал грязные дома терпимости в Византионе, греческих распутниц, тюркских баб, лазских девочек, проданных в Византию. С детства развращённых беспризорных женщин. Стало тошно от всего этого.

Какое огромное расстояние от Византиона до Пхови! Вардисахар замыкала многоцветные чётки блудниц... Все они брали от него золотые сдлиды<sup>1</sup>, иные—остатки юношеского огня, и ни одна не оставила в его воспоминаниях радости.

Наконец встретил он ту, которой должна была принадлежать его первая любовь, а он ей предложил последнюю, ей, которая сама была уже обречена. И вот прихо-

<sup>1</sup> С о л и д ы — монеты.

дится расплачиваться за грехи своей молодости. В жизни всегда так: с отрочества юноша таскается по кривым тропам блуда, а затем обязательно потянется за той, которая чиста, как снег на вершине Рошки, и невинна, как полевой цветок.

О, как бы осторожно шёл юноша, разлучившись с матерью, если бы заранее знал, что потом наступит жестокое время расплаты.

Арсакидзе спотыкался в темноте. На лице он ощущал влагу. Нет, это не были слёзы раскаяния. Дождь медленно накрапывал, месяц скрылся в борозде облаков землистого цвета, редко мерцали одинокие звёзды.

Арсакидзе шёл без шапки, по щекам текли капли, сердце плакало, веки мокли, но не от слёз, а от дождя.

Моя судьба такова, что любовь моя всегда принадлежала обречённым. Я любил краски, состава которых уже не помнят живописцы, я любил орнаменты, каких больше не умеют делать старейшие каменщики, одежду, которую никому уже неохота носить, а теперь судьба внушила мне любовь к той, которая обречена судьбой.

Так думал ошеломлённый Арсакидзе.

Остановился. Он потерял дорогу. Вернулся. Опять вспомнил её, желанную. С какой мужественной стойкостью глядит она на конец своей непорочной жизни! Кроткая, чистая, как дикий голубь.

«Один-единственный путь остался у меня, и он ведёт в монастырь. Но какой же монастырь примет меня, если царь Георгий воспротивится этому? Он не оставит меня даже в монастыре», — вот что сказала Шорэна, когда они пересекали сад дворца Рати.

И это говорила та, у которой такое нежное сердце, которой всевышний вдохнул столь непорочную душу, ногтя которой не стоят ни владетель Квелисцихе, ни царь Георгий, ни он, его главный зодчий.

«Есть ещё один путь, но об этом скажу потом...»

Но Арсакидзе знает, что этот путь так же мрачен, как и тот, который ведёт в монастырь.

Какую помощь может оказать теперь Арсакидзе той, которую он любил раньше, чем узнал, что такое мужчина и женщина! Сопроводить её в Пхови и вступить вместе с ней в ряды мятежников?

Он вспомнил ужасную ночь в Кветарском замке. Воины

Звиада, как котят, сбрасывали с вершины башен хевис-сери и хевистави.

На этом пути Шорэну ждёт неминуемая гибель.

А Светицховеяи?

Вскоре должно состояться освящение храма. Как же примкнёт к мятежникам он, освобождённый из темницы на честное слово? Он опозорит свою честь.

Царь Георгий не простит измены. Фарсман станет наговаривать, и царь может разрушить храм.

Шорэна ещё слишком молода. Она не знает, что ни один воин, даже победивший врага, не возвращается с войны с той же беспечностью, с какой он отправился в поход.

Дождь усилился. Арсакидзе промок насквозь. Мысли сверлили мозг.

Наконец он дошёл до дома.

Надвинулась гроза. Сверкала молния, и совсем близко возникали горы, громоздившиеся на горизонте. А затем снова становилось темно. Ветер шарил по фруктовому саду, ворошил и трепал дубовую рощу. Стонали столетние липы.

Арсакидзе лежал ничком, дождь уже не мочил его ланит, но слёзы, настоящие слёзы пропитали подушку.

### Поучение.

...Так говорил мудрец: гепард такой зверь, который легко отдаёт жизнь за любовь. Он вскормил грудью Вакха, сына Зевса и Семелы, и потому влюблённые любят вино, и потому, как гепарды, тянутся они к крови.

Случилось это в день гепарда.

## XLII

Константин Арсакидзе не спал всю ночь. Слушал шум дождя, боялся,— а что если не перестанет дождь, что если она не придёт?

Он обрадовался: солнце послало ему ласковые лучи, когда он был ещё в постели. Он поспешил на строительство, но даже вид любимого творения не сбодрил его. Нехотя отвечал на вопросы каменщиков и фрескописцев. В тот день все удивлялись его равнодушию.

— Здоров ли ты, мастер? Не болят ли у тебя почки?— то и дело спрашивал его Бодокия.

В каменотёсной мастерской, обливаясь потом, сидел Тавхелисдзе и высекал на тедзамском камне изображение крылатого льва.

Мучился Тавхелисдзе: неловко пользовался он резцом, руки у него дрожали.

Фигура льва была высечена неплохо, но опытный глаз мастера заметил, что крылья не удавались «христианину-орнаментщику».

Грубо были сделаны крылья, и изваяние не имело мягкости распластанных крыльев птицы, которую онцущает человек глазом, пока до них не дотронешься рукою.

Зодчий взял у Тавхелисдзе резец.

— Отдохни немного, дяденька!— сказал он и сам уселся на его место.

Нужно было вырезать как раз те узенькие желобки, которые идут по раскрытым крыльям.

Упорно сопротивлялся камень. Арсакидзе ударял по глыбе долотом,— от камня летели искры. Огнём защищался сердитый камень от наступления мастера. И мастер видел, что у него получаются такие же грубые линии, как и у Тавхелисдзе.

Старик-ваятель наблюдал за сопротивлением камня и неудачей мастера.

Пот выступил на лбу у Арсакидзе. Он вытирал его левой рукой, а правой нещадно бил по глыбе, но резец не подчинялся его деснице.

К счастью, подошёл Бодокия.

— Над воротами вставляем плиту с орнаментом, каменщики ждут твоего совета,— сказал он.

Арсакидзе обрадовался, что избежал неловкого положения.

Плиту благополучно подняли.

Зодчий ушёл из храма.

«О, если бы меня ни о чём не спрашивали! Чтобы хоть день, один день я мог принадлежать себе самому!»

Мастер бесцельно ходил вокруг своего творения. Он рассматривал украшения дверей и окон, барельефы фасадов и орнаменты карнизов, словно они были сделаны не им самим.

Какая непреклонная воля должна быть у мастера, сила которого подчинила себе упорство этих глыб!

Душа его отдала мрамору свою теплоту и сообщила граниту гибкость горностая.

Орнаменты и розетки обладали пластичностью серебря-

ной трёхзвенной кольчуги. Поверхность их отливала, как мягкая зыбь на море, зигзагообразные линии вились подобно побегам лозы или плюща; иные из них походили на изогнутые спины газелей или ниву, которую колышет дуновение ветерка, когда он промчится над золотыми колосьями и ласково погладит хлебное море!

Петлеобразные детали, мотивы растений были исполнены с такой же тонкостью, какой отличаются нежные усики лозы или мельчайшие чёткие жилки, проходящие по изнанке виноградного листа. На закруглённых линиях была кажущаяся эластичность оленьих рогов.

Необычайной чёткостью изумляли зрителя линии по краям идеально ровных квадратов, и каждый из них, украшенный орнаментами, был выполнен с удивительной точностью.

Различные по своему узору розетки казались тождественными.

Вся многогранность природы была выражена в двухмерной плоскости камня с такой гармоничностью и мягкостью, каким бы мог позавидовать сам бог.

Покорными, как воск, гибкими, как побеги лозы, мягкими, как поверхность нивы, были когда-то в руках создателя эти глыбы, а теперь даже податливый тедзамский камень борется с человеком, мечет огонь, сопротивляется деснице того, кем овладел Эрос.

Пусть это никого не удивляет, ибо Эрос — бог лени, пиры он любит больше, чем каменотёсную мастерскую.

Пьяный отец зачал его с нетрезвой матерью, опьянённой нектаром, украденным в саду Зевса.

Поэтому Эрос и подстерегает в чужих виноградниках чужих жён. Он всегда пьян краденым вином и любовью.

Без спроса проникает он в сердце самого стойкого мастера, и тогда мастер начинает грезить о любви, вине и музыке.

Арсакидзе отдал несколько приказаний Бодокия и, как ленивый раб, украдкой ушёл со строительства раньше обычного.

В винограднике Санатлойского предместья виноградари пили вино. Они пригласили его зайти, предложили сыр, зелень, свежие огурцы, угостили его из кувшина красным вином.

Виноградари принялись за работу, а Арсакидзе, слегка пьяный, вышел за город и пошёл по направлению к Сапурцле.

Он шёл и пел, и непрощенные слёзы катились по его лицу, и не ведал он, пьяный, кем были вызваны эти слёзы. Ветром или любимой девушкой?..

### Поучение.

Так говорил мудрец:

«Какой бессердечный бродяга этот Эрос! Бессильными делает он даже храбрых царей, к курению опиума и беспутному пьянству приучает их, а великих мастеров, высекающих твёрдыми руками розетки и виноградные гроздья на тедзамском камне, равняет с илдами; он опьяняет их и лишает разума. Он посылает их бродить по полям и лугам, собирать полевые маки для своей возлюбленной.

### XLIII

Долго бродил Арсакидзе по лугам и долинам; к вечеру он вернулся в Мцхета, опалённый солнцем, принеся с собой пучки полевого мака и хлебных колосьев.

Снова пошёл дождь.

Сперва едва-едва моросило, затем молния сверкнула над горными вершинами и грянул гром. Град безжалостно побивал кусты и фруктовые деревья.

В беспокойстве метался Арсакидзе, за ним гонялась Нонай; она удивлялась, как мог её господин столько времени ничего не есть и не пить.

Когда служанка стала зажигать плошки, Арсакидзе остановил её.

— Я совсем не спал прошлую ночь, не зажигай,— сказал он и отпустил её. Сам лёг ничком на тахту и, прислушиваясь к плеску дождя, думал: «Придёт ли Шорэна, не помешает ли ей дождь? А если придёт, что он ей скажет?»

На чаши весов были положены два одинаково дорогих ему создания: Светицховели и Шорэна. В этот вечер выяснится; кто из них перевысит.

Оба требовали от него одного и того же — жизни.

Разве только жизни требовала от него Шорэна? Она требовала отказа от слова чести, отказа от его мастерства.

И он втайне спрашивал себя:

«Может быть, будет лучше, чтобы не переставал дождь и не приходила Шорэна ни сегодня, ни завтра, никогда, и чтобы она ничего не говорила о том, «другом» пути?»

Арсакидзе чувствовал, что этот путь так же безнадежен, как всякий другой, лежащий перед Шорэной.

Допустим, что Арсакидзе согласится на её предложение, но ведь не так-то легко бежать из Мцхета. От острых глаз лазутчиков Звиада не ускользнёт движение, начавшееся в Пхови. Да и царь Георгий, наверное, приставил соглядатаев к дочери эристава. Выпустят ли их днём из Мцхета? А к вечеру все ворота крепости закрываются.

Вспомнил он рассказ о том, как задержали переодетого эристава Мамамзе. Арсакидзе было известно, что у пховцев нет единства. Мурочи Калундаури и Ушиша Гудушари втайне враждовали меж собой.

Если даже войско Звиада будет побеждено, то всё равно на другой же день ослеплённый эристав будет обезглавлен, так как с хевисбери и хевистави его объединяет лишь общая ненависть к царю Георгию.

Как победа, так и поражение мятежников вызовут смуту и тревогу; в обоих случаях Шорэну ожидает неминуемая гибель.

Так думал он, когда услышал лай собаки. Он быстро вскочил и спустился по лестнице.

Бледная вошла в дом дочь эристава... На ней была охотничья шуба из куньего меха. Сафьяновые сапоги насквозь промокли от дождя.

Он снял с неё шубу и шапку.

Волосы цвета червонного золота рассыпались по её платью из китайского чёрного шёлка.

Она казалась подавленной, — это было видно по её чистым ясным глазам. Рот был прекрасен, как цветок граната, верхняя губа казалась слегка припухшей, как у обиженного ребёнка. Дождевые капли сверкали на её ланиках. Глядя на её прекрасное лицо, нельзя было поверить, чтобы слёзы хоть раз обжигали эти щёки.

С ужасом думал Арсакидзе о том, что это желанное, дорогое существо так безжалостно обречено судьбой. Но эта обречённость делала Шорэну ещё более привлекательной, ибо Константин любил всё обречённое.

Арсакидзе подошёл к Шорэне, поцеловал её в лоб, обнял правой рукой и притянул к себе. Нежным было её гибкое тело, и дыхание её ароматно, как летний вечер в виноградном саду, где меж лозами и маками расцветают пшати.

— Какой ты сильный, Ута! — сказала Шорэна.

«Я был силён до тех пор, пока твоя любовь не опалила меня!» — вот что хотел ответить юноша, но ничего не сказал. Он знал, что женщины не любят слабых.

— Впрочем, ты ваятель, Ута, и кому же иметь сильные руки, как не ваятелю, борющемуся с камнем.

— Было бы хорошо, любовь моя, если бы судьба дала художнику самые могучие руки, но — увы! — они сильнее у других.

Ему нравилось её чёрное платье из китайского шёлка.

— Если я упаду с лесов моей стройки или скорпионы ужалят меня в этом роковом доме, прошу тебя, моя дорогая, надень это чёрное платье, распусти косы твои цвета зрелых колосьев и так оплакивай меня.

— Какие скорпионы? Что ты говоришь, Ута?

— Я пошутил! Откуда взяться скорпионам во дворце Рати? — успокоил он Шорэну.

Затем он снова обнял её и усадил на тахту. Взяв пучки мака и хлебных колосьев, разбросал их перед тахтой, где сидела его желанная; подсев к ней, он рассказал ей свой сон.

— Вот закончу Светицховели, — добавил он, — и тогда нарисую этот сон.

— Увы, я не увижу этой картины! — спокойно, но грустно сказала Шорэна.

Потом в беспокойстве она заговорила о Светицховели.

— Зачем ты поднимаешься на эти проклятые помосты? Один раз ты уже чуть не погиб! Ведь ты уже закончил постройку храма?

И добавила:

— Царь Георгий и католикос Мелхиседек — злые люди, они не оценят твоих заслуг.

— Разве я строю Светицховели в ожидании милостей царя и католикоса? Искусство я люблю сильнее своей жизни, дорогая моя, и ради него жертвую собой.

— Камень тебе дороже жизни, Ута?

— Разве Светицховели камень? Он был когда-то камнем. А теперь он более бессмертен, чем души сотен тысяч смертных.

— Всё же для тебя Светицховели дороже всего, Ута!

Арсакидзе почувствовал — Шорэна ревновала его к храму. Он обнял её за талию, прижал к груди и поцеловал в шею, украшенную жемчужным ожерельем.

— Любишь ли меня, Шорэна? — спросил он шопотом.

Шорэна взглянула на друга своего детства глазами мор-

ского цвета, но юноша не нашёл в них ответа; глаза её были затуманены, как море после непогоды.

Арсакидзе опустил голову. Шорэна без слов поняла причину его грусти. Она провела рукой по его волосам.

Юноша вздрогнул. Дрожь пробежала по его телу от этого прикосновения. Он посмотрел ей в глаза и сказал:

— Я не заслужил, чтобы меня любили. Ты права — любовь я роздал блудницам, ограбленным вернулся к тебе из чужих стран, но и на родине я продолжал быть расточительным. Жестоко покарала меня за это судьба. Рок предрешил мне любить самому, но никогда не быть любимым. Если бы ты была в безопасности, я мог бы довольствоваться и этим малым, но ты в опасности, и потому любовь к тебе не даёт мне покоя.

Шорэна зарделась.

— Кто тебе поведал мою тайну, Ута? Может быть, у тебя была Вардисахар?

Константин успокоил встревоженную девушку.

— Я давно не видел Вардисахар. Ты помнишь, я был у вас в тот вечер? Хатута, служанка твоя, заснула на пороге, и я невольно подслушал всё, о чём ты говорила с хевисбери.

Шорэна опустила голову, затем смело взглянула на Константина:

— Не для того я пришла к тебе, Ута, чтобы требовать жертвы. Я и без слов знаю, что ты не можешь этого сделать. Я бескорытна в своих чувствах. Никогда не любила я ради того, чтобы требовать взаимности за свою любовь. Я хорошо понимаю, какую высокую стену воздвигла меж нами судьба, каменную стену, высотой в Светицховели.

— Шорэна, ради тебя я пожертвую жизнью!

Она взглянула на него, и Арсакидзе понял, что девушка поверила ему.

— Если это потребуется для твоего счастья, я пожертвую, наверное, и моим Светицховели, — сказал Арсакидзе и в то же время подумал, что это не совсем так.

Ту же мысль прочитал юноша и в глазах Шорэны. Слово «наверное» поразило её.

— Но главная беда в том, — поспешно добавил он, — что люди, заменяя одну несправедливость другой, думают, что такая смена может их спасти. Я не славословлю ни царя Георгия, ни католикоса Мелхиседека, но я не думаю, чтобы семь хевисбери могли создать лучшие законы, чем

один царь, хотя бы и злой. Я подчиняюсь той власти, которая досталась на долю моему народу. И если завтра греки или сарацины обложат крепости Грузии, я брошу резец ваятеля и с мечом в руках буду сражаться с врагами. От ваших хевисбери пахнет овчиной, а ты ведь знаешь, если впереди стада нет барана, то глупая овца скатится со скалы в пропасть. Я слышал твои слова через открытую дверь. Если даже тысячи таких, как я, согласятся поддержать твой замысел и мы победим войско Звиада, на следующий же день в Пхови повторится то же, что было в ту ночь в Кветарской крепости. Эристав — слеп, ты — женщина. И пока хевисбери и хевистави будут терзать друг друга, войско Звиада явится снова и безжалостно уничтожит всех, малых и старых.

Девушка слушала Арсакидзе, упершись локтями в колени и прижав к лицу ладони; затем она встала и спокойно сказала:

— Понимаешь ли, Ута, разум не всегда в ладу с сердцем. Быть может, ты говоришь правду, но твои слова не доходят до сердца. Я обещала хевисбери быть в день святого Георгия Цкароствальского в Пхови и ждать там войска Звиада и смерть. Я не за тем пришла, чтобы просить помощи, жизнь уже давно развела наши пути! Да я и не в праве требовать от тебя самопожертвования, так как сама не приносила тебе жертв. Если бы я отказалась от Чиабера и не ждала, пока ты случайно узнаешь, что ты мне не молочный брат, тогда я имела бы право сказать: бежим из Мцхета и станем во главе восставших пховцев. Я так же, как и ты, не сумела пожертвовать всем ради любви, и поэтому мы вместе наказаны судьбой. Любовь не прощает измены и жестоко карает тех, кто хоть раз отступил от неё. Такие люди всегда одиноки: нет человека более жалкого, чем одинокий.

Изумлённо слушал Арсакидзе. Он встал и взглянул на Шорэну. Не женщина, а бог говорил её прекрасными детскими устами.

Они обнялись, и в их поцелуях слились воспоминания детства, проведённого в Кветари, и жажда наверстать упущенное счастье и потерянные дни и годы, проведённые без любви.

Послышались звуки рожков из Мухнарской крепости.

— Уже поздно, Ута!

Они пересекли сад и пошли по тёмным переулкам.

Когда дошли до дворца Хурси, Шорэна сказала Константину:

— Перед отъездом я приду к тебе, Ута.

Вернувшись к себе, Арсакидзе потушил светильники.

Беспокойно ворсчался он в постели. Пищали и скрипели летучие мыши, в углях что-то шуршало.

Юноше не спалось. Ворочался с одного бока на другой, перекладывал подушки, ложился ничком и думал:

«Куда же пропали скорпионы? Вылезли бы из тёмных щелей и ужалили бы меня, проклятые!»

#### XLIV

Георгий накануне был пьян. Голос трубящего оленя разбудил его. Постельничий улучил момент, чтобы сообщить царю новость:

— Духовник Амбросий умирает.

Георгий нахмурил брови и пробормотал: «Да умолкнут уста вероломные и языки велеречивые».

Он повернулся к стене и снова задремал.

Гиршела лечил монах Филадельфос. От него Гиршел узнал, что царский духовник стал жертвой чумы.

Глубоко потрясло это известие владетеля Квелисцихе. Дважды пришлось ему пережить чуму в Египте, где он был в плену. Первый раз завезли чуму в Каир караваны, а второй раз заразу распространили крысы с кораблей Индостана.

Блохи занесли чуму в крепость, где находились тридцать тысяч пленных греков и десять тысяч грузин. За месяц погибли все греки, грузин же осталось в живых только девять человек.

«Заразу занесли в Грузию, вероятно, арабские войска, присланные в Тбилисское амирство», — подумал Гиршел.

Ещё не рассвело, как эристав был уже на ногах, хотя укусы гепарда ещё не зажили. Он с нетерпением спросил монаха:

— Не блоха ли укусила Амбросия, отец Филадельфос?

— Не знаю, эристав-батон!

— Его не тошнило?

— Ничего не слышал, эристав эриставов!

— Где у него появились язвы?

— Подмышкой, если не ошибаюсь.

Волнение охватило Гиршела при этих словах.

— Чума, отец Филадельфос! Несомненно! А какой величины была первая язва?

— С лавровый лист, сударь!

— Ты видел духовника во время болезни?

— Один раз я посетил его, эристав-батону.

Гиршел, как ужаленный, отскочил от монаха.

— Впредь не заходи ко мне, отец Филадельфос, — сказал он монаху. — И пошли ко мне главного табунщика! — крикнул он вдогонку.

Главный табунщик удивился при виде владельца Квелисцихе. Он не узнал когда-то бесстрашного и спокойного рыцаря. Гиршел метался по комнате, как медведь на привязи, и что-то бурчал.

Он начал рассказывать главному табунщику об ужасной заразе.

— Дважды в Египте на волоске висела моя жизнь. Если б я не сбежал от сарацин, то, несомненно, стал бы жертвой чумы.

Затем он внезапно прервал рассказ о чуме и приказал табунщику:

— Немедленно пригоните коней с лугов, разбудите моих азнауров и седлайте лошадей!

В это утро Георгий собирался отправиться в Уплисцихе и привезти в Мцхета царицу, но отложил свою поездку на три дня: он знал, что его отъезд встревожит жителей Мцхета.

Его первой мыслью, когда он узнал о чуме, была Шорэна.

Царь слышал, что чума прежде всего поражает бедняков, а дворец Хурси находился как раз в квартале бедняков.

Он решил было перевести Шорэну и Гурандухт временно во дворец, но вспомнил про царицу и католикоса и воздержался.

— Почему ты не сообщил мне, что духовник умер от чумы? — бранил он постельничего.

Чума встревожила всех. Из мастерских, монастырей и крепостей высыпал народ. Рабы, монахи и ратники заполняли улицы и площади.

По совету пожилых, все от мала до велика охотились на крыс. Подвалы, землянки и мельничные закрома заливали кипятком. Никто не знал лекарства от блох, и бороться против них было невозможно.

Чума была обнаружена в Санатлойском квартале, где

первым заболел сапожник. Мать больного выбежала на улицу и случайно встретила с духовником.

— Мой сын умирает, — взмолилась она, — причасти его! — Сжалился духовник и пошёл за ней.

Сапожник умер в тот же вечер. На другой день заболел Амбросий.

Гиршел не дождался обеда.

— Оставайся, — умолял его Георгий, — зараза скосит сперва рабов и бедняков, она не скоро доберётся до дворца.

Долг хозяина обязывал Георгия не отпускать гостя. Но в душе он радовался отъезду Гиршела. И не только отъезду.

Царь ликовал: вот и на этот раз он превзошёл смелостью своего двоюродного брата.

Рыцарь побоялся подойти без обнажённого меча к разъярённому гепарду — это было ещё понятно, но когда испытанный герой удирал от санатлойских блох, это вызывало у царя только улыбку.

Георгий поддразнивал владельца Квелисцихе, но Гиршелу было не до шуток: даже не повидавшись с невестой, которая жила в заражённом квартале, он простился с царём и вместе со своей свитой быстро покинул Мцхета.

Конечно, Георгий не был искренен, рассуждая так. Он прекрасно знал, что такое мужество. Он понимал, что нет на свете такого рыцаря, который не испытал бы когда-нибудь страха, и нет мудреца, который не сказал бы глупость.

Сам он не раз на поле брани приводил в изумление неприятеля своей храбростью, но если Гиршел боялся гепардов и блох, то Георгий дрожал при виде змей и бешеных животных. Во время охоты он часто в страхе останавливался перед корнями дуба или плюща, ему всюду чудились змеи, и это причиняло ему страдание. Бешеных собак боялся Георгий больше, чем византийских камнемётов. Стоило только залаять простой дворняжке, как Георгий хватался за рукоятку меча. Бешеное животное нагоняло на него ужас.

Тысячу раз спрашивал он Фарсмана Перса: случалось ли когда-либо, чтобы взбесился буйвол или конь, бык или волк?

Когда спасалар вошёл к царю, Георгий с улыбкой сказал ему:

— Владелец Квелисцихе сбежал от санатлойских блох.

Ты не думай, Звиад, что Гиршел удрал от сарацин, он испугался египетских блох!

Звиад ехидно улыбнулся.

— Я и раньше, царь-батона, считал преувеличенными рассказы об его геройстве, — сказал он.

В это утро были приняты чрезвычайные меры.

Были призваны знахари и лекари. В Уплисхихе были снаряжены скороходы сообщить царице, чтобы она не приезжала в Мцхета.

Срочно был вызван из Тмогвийской крепости Турманидзе.

Царь призвал и Фарсмана, но «вср подсвечников» не явился: болен, мол, и не выхожу из дому. После пинков, которыми угостил его царь, он не появлялся во дворце.

Был издан приказ: труп Амбросия вынести за город и сжечь в негашёной извести.

Начальникам крепостей повелевалось: немедленно прекратить общение между гарнизонами крепостей, не впускать в Мцхета караваны, днём и ночью держать на за-поре крепостные и башенные ворота.

Начальника Мухнарской крепости бросили в темницу, ибо оказалось, что третьего дня у него в крепости умер от чумы воин. Сотник скрыл это, и покойника хоронили по христианскому обычаю.

Лекарям было велено строго следить за жителями. Они должны были пересылать больных и даже подозрительных в «чумные бараки», а покойников, их одежду и постель сжигать. Дома чумных закрывать, крыс и блох уничтожать.

Настоятелям монастырей приказали: не впускать в трапезные и кельи приезжих монахов и сборщиков даяний, прекратить общение с другими монастырями; всюду соблюдать чистоту.

Базарников и торговых надсмотрщиков обязали прекратить продажу фруктов и овощей.

На своём золотистом жеребце, со свитой разъезжал царь по площадям, показывался народу, расположившемуся под открытым небом, посещал крепости, монастыри и мастерские и успокаивал всех.

— И чума нам не страшна! — убеждал он народ.

Когда царь и его свита проезжали мимо Хурсийского дворца, рабы во дворе водили осёдланных коней.

— Чьи это кони? — спросил царь.

— Колонкелидзе прислал шесть лошадей для своей семьи, государи!

Глаза Георгия невольно обратились к балкону. Там суетились рабыни.

Он в душе пожелал доброго утра своей возлюбленной.

«Я готов умереть от чумы, лишь бы она не тронула тебя!» — мысленно сказал он и пришпорил своего золотистого жеребца.

На кровлях домов Санатлойского квартала выли собаки.

## XLV

В это страшное чумное время Нонай забыла о скорпионах. Она суетилась, обливала кипятком мебель, ковры, паласы и тюфяки. Заливала кипятком щели и подвалы. Всюду ей мерещились крысы и блохи.

Она умоляла своего господина:

— Не ходи, батона, на работу! Чума — враг бедного люда. Не приноси себя в жертву божьему дому, у бога — да будет он милостив! — много церквей, а твоя несчастная мать только в тебе и видит свет солнца.

Бодокия вышел навстречу Арсакидзе и сообщил ему, что триста лазов не вышли на работу. Примеру лазов последовали самцхийцы, болнисцы и греки.

Чума всё равно унесёт нас! По крайней мере, отдохнём перед смертью! — говорили они.

Рабы покинули мастерские, спустились с лесов и, расположившись в тени храмов, играли на пандури и пели; юноши окружали старцев и слушали их рассказы о чуме в былые времена.

При виде Арсакидзе рабы вскочили с мест, каменщики и десятники приободрились.

Лазы окружили своего земляка.

— Лазы! — обратился Арсакидзе к собравшимся. — Чумное время началось, но не забывайте, что оно одинаково опасно для всех. Видите, лазы, я с вами во время тяжких испытаний. Смерти не избежать никому и помимо чумы, и никто не ведает часа её прихода.

Подумайте, лазы, разве не лучше встретить смерть при исполнении своих обязанностей, чем погибнуть лодырями? Знайте, что смерть скорее настигнет лентяев и трусов, чем смелых и тружеников. А что подумают иверы? Трусами сочтут они нас! Пусть старейшие из вас вспомнят, изменяли ли когда-нибудь мы иверам в войнах с сарацинами или с греками?

И если чума, распространяемая крысами и блохами,

сделает вас изменниками, разве это не будет позором для всех лазов? А что может быть ненавистнее трусливого мужчины, изменяющего брату?

— Правду говорит мастер, сущую правду, — заговорили в ответ старейшие среди лазов.

Арсакидзе первым поднялся на подмостки лесов, хотя в это утро он чувствовал боль в почках. Бодокия последовал за мастером, старики-лазы пошли вслед за ним. Молодые устыдились и тоже принялись за работу. Самцхийцы и болнисцы поднялись с мест. Грекам тоже не захотелось носить позорное имя трусов.

Когда наступило обеденное время, мастерские опустели, с лесов спустились рабочие.

Выстроенные в ограде храма бараки служили жилищем ремесленникам. Перед этими бараками горели костры, в огромных котлах варилась похлёбка, вокруг котлов стояли рабы и, как дети, заискивали перед кашеваром.

Тут же на камне притулился рыжеватый лаз, он бренчал на пандури и напевал любовную песню. Ещё в детстве слышал Арсакидзе эту песню.

У тебя глаза морского цвета,  
И сама ты, будто зыбь морская.  
Если ты оставишь без ответа  
Страсть мою и выйдешь замуж, злая, —  
Брошу поле я в разгаре лета,  
Кинусь в Чорох, стремь переплывая,  
Дом твой подожгу я, до рассвета  
Прах любви по ветру развеяв.  
Ты ласкала, — и твой муж за это  
Под ножом забьётся, издыхая.  
У тебя глаза морского цвета,  
И сама ты, будто зыбь морская.

Арсакидзе мрачно бродил в толпе перед бараками. Он заметил, что страх смерти возбуждает в народе жажду стихов и песен.

Рыжеватый лаз бренчал на пандури и грустно напевал. Стихи были длинные, угрозы возлюбленного бесчисленны. Каждая строфа начиналась и кончалась одной и той же фразой:

У тебя глаза морского цвета,  
И сама ты, будто зыбь морская.

Не выходил из памяти этот стих, не мог отделаться от него Арсакидзе.

Вспомнил Шорэну.

Да, Шорэна беспокойна, как море. Но сейчас положен предел стремлению этого моря. Асакидзе был уверен, что чума не только не посмеет тронуть любимую, но и спасёт её от другой опасности.

Днём и ночью будут закрыты крепостные ворота Мцхета. Через три дня в Пхови праздник в честь Цкароствальского святого Георгия. Напрасно хевисбери будут ждать Шорэну.

Но разве только эта опасность угрожает ей?

Владетель Квелисцихе такой сорви-голова, что ему покажется скучным сидеть взаперти в Мцхета и он захочет справить свадьбу во время чумы.

Как же быть тогда?

Рыжеватый лаз пел:

Ты ласкала, — и твой муж за это  
Под ножом забьётся, издыхая.

И снова задумался Арсакидзе.

В самом деле, женщина похожа на море, никто не знает, когда она взволнуется.

А что если Шорэна выйдет замуж за Гиршела?

Найдётся ли у него, Арсакидзе, столько смелости, сколько было у того юноши, о котором говорится в песне?

Двое рабов подошли к котлу, полному до краёв чечевичей, продели в него палку и с трудом потащили к бараку.

Арсакидзе всё ещё прислушивался к пению лаза. Хотелось узнать, чем же кончится угроза влюблённого.

Бодокня тронул юношу за локоть.

— Иконостас уже установили, теперь хочу посоветоваться с тобой, мастер, насчёт царских врат, — сказал он.

Они подошли к иконостасу, когда их нагнал каменщик Угрехелидзе.

— Чума в первом бараке, — сказал он, изменившись в лице.

Главный зодчий и каменщики бросились к бараку. Оттуда сломя голову выбегали рабы.

У раба Цатая подмышкой появилась язва.

Рабочие, лежавшие на нарах, перепугались. В это время внесли в барак котёл с чечевичной похлёбкой.

Рабочие столкнулись с кашеварами, сбили их с ног, опрокинули котёл. Несчастные с ошпаренными руками и ногами барахтались на земле и вопили о помощи. Толпа загородила вход в барак, никто не смел войти внутрь.

Арсакидзе услышал крики ошпаренных и растолкал толпу. Каменщики преградили ему путь.

— Не ходи туда, мастер, там чума! — говорили они.

Бодокия отделился от лазов и пошёл за главным зодчим.

Подняли ошпаренных и вытащили их поодиночке во двор. Принесли соль. Рабы боялись подойти к пострадавшим. Тогда зодчий и Бодокия вдвоём раздели их и посыпали солью обожжённые места.

Не успел Арсакидзе вымыть руки, как царь Георгий, Звиад спасалар и мцхетский архиепископ со свитой вошли в ограду. Они осматривали храм.

Главный распорядитель двора подошёл к Арсакидзе и передал ему, что царь хочет его видеть.

Арсакидзе сказал, что он только что был в чумном бараке и поэтому не может явиться к царю.

Главный распорядитель вернулся и снова передал приказ царя — явиться.

Арсакидзе пошёл, но остановился на почтительном расстоянии и склонился перед царём.

Георгий улыбнулся.

— Не считаешь ли ты себя, лаз, храбрее меня? — сказал он, крепко пожимая ему руку. — Ты, великий мастер зодчества, оказался и самым мужественным человеком!

## XLVI

Предсказание месяцеслова Фарсмана Перса оправдалось. В субботу вечером к западу от Мцхета показалась неведомая копьевидная звезда.

Долго следил с террасы дома Фарсман Перс за этой звездой, и только тогда, когда она исчезла за облаком, он спустился вниз.

Вардисахар раздевалась.

Он подошёл и ущипнул жену за голую руку.

— Если царь снова пришлёт скорохода, скажи, что Фарсман болен, — сказал он.

— Царь отбыл утром в Уплисхихе, — сообщила Вардисахар.

- Кто тебе сказал?
- Я ходила в Самтавро, там монахи говорили.
- Разве сегодня служили обедню в Самтавро?
- Архиепископ служил, вся Мцхета была там.
- О чём болгал Ражден?
- Он говорил, что за наше кощунство господь послал нам чуму, что в Мцхета много язычников и еретиков, а некоторые таскаются даже по эриставствам и высмеивают веру христову.

Фарсман понял, к кому относились слова Раждена.

— А всё же, Вардо, в чём он обвинял еретиков?

— В том, что они сомневаются в непорочности святой девы и задают православным кощунственные вопросы: сколько ангелов могут уместиться на острие иголки?

Сама Вардисахар была настроена против еретиков и язычников. Она бранила их.

— Узнай я только, кто эти еретики, да я первая забросала бы их камнями! — говорила она.

— Разве непорочность так уже необходима женщине? Ведь вот ты, например, не была невинной, когда вышла замуж, а я тебя люблю больше любой девственницы. Ведь так?

Вардисахар вспыхнула.

— Даже больше, чем дочь Фанаскертели?

Фарсман подошёл к ней и погладил её по шее.

— Завтра не выходи в город, Вардо, ты ведь знаешь, среди рабочих Светицховели появилась чума. Один лаз уже умер. Я знаю, ты будешь рада, если всех лазов унесёт чума. Что ты на это скажешь, Вардо? — сказал он и с улыбкой поглядел ей в глаза.

Он приложил палец к её подбородку, как раз к тому месту, где была ямочка. Старому Фарсману это место очень нравилось. «Это тавро, наложенное рукою Эроса», — сказал он.

Но эта ласка не тронула женщину. Она подняла вверх изогнутые, как лук, брови, расстегнула жемчужные застёжки на шёлковой рубашке и ответила мужу:

— Я пховская женщина и не люблю, когда за меня мстят другие. Того лаза, которого ты имеешь в виду, я не уступлю даже чуме.

— Хе-хе-хе! — хихикнул старик, глядя на её грудь. — Царский скороход укусил тебя в грудь, Вардо? Какой удивительный этот царь Георгий! Как хорошо у него выдрессированы гепарды и скороходы! Они кусают как

раз тех, кого он хочет искушать сам. Что ты скажешь на это, Вардо?

Женщина нахмурилась ещё больше. Она закрыла наполовину обнажённую грудь и растянулась на ложе.

Некоторое время она лежала не шевелясь, а потом зевнула и отвернулась к стене.

Теброния лежала ничком у порога и храпела.

Фарсман поглядел на небо, потом подтащил свою постель к окну и полулёжа стал следить за звёздами.

Снова показалась копьевидная звезда.

Некоторое время Фарсман наблюдал за нею. Потом обернулся назад.

Вардисахар лежала не шевелясь.

— Ты не спишь, Вардо?

— Нет, — ответила женщина и снова зевнула.

— Завтра пополудни будет сильное землетрясение. Только не говори никому об этом и не выходи в город. Возможно, что обрушится караван-сарай, дворцы царя и католикоса могут обратиться в прах, а Светицховели покатытся, как тыква. Ты не ходи никуда! На базар пошли Тебронию.

Вардисахар приподнялась на постели. Она не верила своим ушам. А Фарсман продолжал:

— Возможно, что сегодня пополуночи сатана покачает нас немного, но ты не пугайся, Вардо!

Вардисахар подскочила.

— О чём ты говоришь? Может быть, мне одеться?

— Не бойся. Сегодня не должно быть сильных толчков.

Вардисахар вскочила с постели и, босая, забегала по кирпичному полу.

Она опустила перед иконами в углу. Стала бить себя в грудь, словно каялась в грехах. Кляла земные поклоны. Кончила молиться и подошла к Фарсману.

— Не разбудить ли Тебронию?

— Не надо. Она мечтает умереть во сне!

Женщина удивилась его бессердечности. Фарсман снова повернулся к окну и стал спокойно следить за небом.

— Теброния! Теброния! — кричала мачеха падчерице.

Теброния продолжала храпеть. Тогда Вардисахар пихнула её ногой. Теброния вскочила, испуганно протирая глаза.

Когда ей сказали, что будет землетрясение, она стала

искать свои валявшиеся вокруг рубища, крестилась, молила бога спасти мир от этого потопа.

Её страх заразил и Вардисахар. Она подбежала к сундуку. Наспех выбрала свои платья, шубки, подаренные Шорэной, шейдиши, сорочки, шапочки, серебряные лекифи — и подаренные и краденые. Но вдруг ей показалось, что она не успеет вынести всё это на двор. Она позвала на помощь Тебронию. Вдвоём они снова побросали вещи в сундук, ухватились за него, но не могли сдвинуть с места.

Фарсман Перс продолжал следить за звёздами.

Снова вывалили они всё имущество из сундука. Вардисахар нагрузила Тебронию, а потом и сама, засучив рукава, принялась таскать своё приданое.

Фарсман успокаивал жену, клялся, что сегодня не будет сильного землетрясения, но взволнованная Вардисахар и слышать ни о чём не хотела.

Фарсман повернулся к окну и стал глядеть на багровое небо.

Снова вбежала Вардисахар, — она забыла в сундуке медные щипцы для завивки волос.

И когда нашла щипцы, вдруг вспомнила о супруге:

— Встань и выйди в сад, сударь!

Фарсман не двинулся с места. В душе он смеялся над тем, что супруга вспомнила о нём лишь после того, как нашла медные щипцы. Не отрывая взгляда от копьевидной звезды, он крикнул жене:

— Убирайся вон, баба, а не то потолок обрушится тебе на голову.

Вардисахар ещё не дошла до порога, как дом качнулся, зашатались стены. Тогда вскочил и Фарсман. Босиком пробежал он каменную залу и крикнул упавшей на лестнице жене:

— Быть может, рухнет этот мир, Вардо, и тогда в новом мире меня попросят стать главным зодчим!

— Теброния! Теброния! — кричала Вардисахар.

Теброния лежала на земле ничком и плакала.

Ветер трепал деревья, и она не слышала криков мачехи.

## XLVII

На стене Светицховели солнечные часы показывали семь, когда снова качнулась земля. Арсакидзэ, находившийся на лесах, первым почувствовал толчок. Он

быстро спустился вниз и, раскинув руки, стал подталкивать каменщиков к выходу во двор.

На лесах, идущих вдоль западной стены, сидела кошка и подстерегала там голубей. Вдруг она тревожно замыкала и с молниеносной быстротой прыгнула на землю.

Арсакидзе приказал рабочим немедленно оставить работу.

В это время второй раз качнулась земля.

В третий раз закачалась она с такой силой, что Арсакидзе, который в это время смотрел на храм, показалось, будто храм запрокинулся и накренился.

Раздался оглушительный гул, и каменная ограда треснула в трёх местах.

С криком выбежали лазы и самцхийцы во двор, бросились ниц и стали молиться.

Овцы, которых лениво гнала по улице женщина, испуганно заблеяли, и всё стадо вмиг разбежалось. Собаки выли, коровы мычали.

Ударили в набат в крепостях Арагвискари и Мухнари. Рабы-воины выбежали во двор. На площадях стали бить в барабаны.

В церквах ударили в било несколько раз подряд.

Монахи и монахини выбежали из келий.

Всюду слышался плач, мольбы и церковное пение:

«На тебя уповаю, господи!»

Светицховели устоял, и теперь мысли Арсакидзе обратились к Шорэне.

Запахавшись, он с трудом добежал до Санатлойского квартала.

Женщины металась во дворце Хурси.

Гурандухт разговаривала с каким-то плешивым стариком. Арсакидзе признал в нём Знауру, бывшего дьякона в придворной церкви Колонкелидзе.

У конюшни стояли на привязи три осёдланные лошади. Шорэна гладила шею жеребца соломенной масти. Только она одна казалась спокойной.

Шорэна, Гурандухт и Знаура, собирались сегодня утром в Зедазени.

Гурандухт с ужасом рассказывала Арсакидзе о третьем толчке. Она упала с кровати, а Шорэна в это время была в конюшне и смотрела, как Знаура седлал лошадей.

Дочь эристава побежала навстречу Арсакидзе, поздно-

рвала с ним, рассказала, как жалобно ржали кони во время землетрясения.

Во двор вбежал с непокрытой головой пховец-раб и бросился прямо к Шорэне.

— Одени — самец и две самки — сломали плетённый забор и убежали из загона. Мы гнались за ними по дворцовому саду, но они даже близко нас не подпускают, — запыхавшись, рассказывал он.

— Не сбежала ли Небиера, Багатур? — спросила Шорэна.

— Небиера первая перескочила забор, госпожа! Я был в загоне, когда произошёл третий толчок. Камни бы заплакали, если бы слышали, как ревели оленье стадо.

— Подай лошадей, Знаура! — обратилась Шорэна к дьякону. — Мы с Ута поедем ловить оленей!

Багатур сообщил, что олени уже вышли из дворцового сада: их видели в дубовой роще, они щипали там траву.

Гурандухт не хотела отпускать дочь вдвоём с Арсакидзе.

— Захватите с собой дьякона, он старый охотник! — предложила она.

Шорэна поднялась в дом и принесла Арсакидзе лук и стрелы. Взяла их и для себя.

— У меня меч при себе, — сказал он, но всё же взял из рук Шорэны лук и стрелы.

Жители Санатлойского квартала вынесли на улицу весь скарб. Женщины причитали, дети плакали в люльках.

Обломки мебели и битую посуду старики собирали среди развалин.

Во дворце бестолково бегали слуги и придворные. В спальне обвалился потолок и ушиб царского постельничего. По лестницам вниз тащили ковры, паласы, мапраши, сундуки, лари, церковную утварь, лошадиную сбрую, бесчисленные принадлежности туалета царицы: её шубы, башмаки, шёлковые платья и китайскую парчу...

Багатур вывел Шорэну из дворцового сада в дубовую рощу и показал место, где олени последний раз щипали траву.

Земля после дождя была влажная, и всадники поехали по свежим следам. Навстречу им попался какой-то рыжий воин. Он нёс в руках седло.

— От землетрясения обрушилась конюшня и задавила мою лошадь! — жаловался он.

Его спросили, не видел ли он оленей.

— За полем начинается буковый лес и за ним городская стена. Она разрушена землетрясением на сто локтей. Наверняка через это место и прошли олени! — ответил рыжий воин.

Шорэна не теряла надежды.

— Олени стосковались по траве, — говорила она, — только бы их догнать. Небиеру я уж во всяком случае поймаю. Она не станет убегать от меня.

Как только миновали городскую стену, Шорэна стегнула коня плетью.

Арсакидзе сомневался в том, что им удастся поймать оленей. «Олени хоть и ручные, но, вкусив свободу, они даже близко не подпустят к себе человека», — думал он.

Но было так радостно скакать верхом рядом с возлюбленной.

«Проедемся немного, развлечёмся! Шорэна поймёт бессмысленность этой затеи и вернётся домой», — думал он.

Мцхета ещё виднелась на горизонте. Арсакидзе взглянул на своё любимое творение и прищпорил коня. Радость заливала всё его существо; оба они спаслись от гибели, избежали страшной опасности.

Навстречу им шёл аробщик.

— По дороге к Нареквава пронеслись два оленя, — ответил он на вопрос. — Совсем близко мимо арбы проскакали, пересекли пашню и помчались вон по той аробной дороге.

— Самцы или самки? — спросил Знаура.

— Одна самка и один самец, сударь, — ответил аробщик.

Шорэна и Арсакидзе миновали пашню.

След шёл прямо на север.

По этим следам они выехали на большую дорогу.

Природа не почувствовала вреда, нанесённого человеческому труду.

Заяц, присев на задние лапы, стоял, как изваяние, у края дороги и трогал лапкой лежавшую тут же зайчиху. Другую лапку он вытянул вперёд, словно приглашая её пройти до лесной опушки, пощипать немного травки. Вспугнутые топотом лошадиных копыт, они оба бросились в сторону, и лишь ушки их замелькали в высокой траве.

Из зарослей показались лисицы: самка шла впереди, осматривалась, а потом оборачивалась к самцу и как бы

говорила ему без слов: «А ну-ка, подтягивайся, муженёк!»

Шорэна всматривалась в дорогу. Следы оленьих копыт тянулись вдоль колеи.

С опушки поднялась стая диких голубей и, трепеща крыльями, направилась к дубовой роще.

Серые куропатки бежали сначала полем, скрытые в траве, потом взлетели стаей, понеслись к обрыву, укрылись там за каменными глыбами и закудахтали.

Лисица глядела на них, как бы раздумывая, идти ли прямо или, обойдя вокруг скалы, подкрасться к ним сзади.

Всадники въехали в молодой редкий дубняк, где следы двух оленей были ясно видны.

Арсакидзе предполагал, что третий олень отстал где-нибудь в лесу, увлечшись свежим кормом.

Верхушки дубовой поросли били всадников по стремянам: здесь тоже прошёл, повидимому, дождь, и потому шейдиши Шорэны быстро намокли.

Арсакидзе сокрушался:

— Зачем ты надела эти шейдиши фазаньего цвета?

— Как я могла знать, что будет землетрясение и нам с тобой придётся преследовать Небиеру?

«Вместе с тобой я согласен искать недосыгаемое хотя бы на краю света»,— хотел он ответить, но вслух сказал иное:

— Подумай, как странно: над людьми обрушились кровли, а здесь даже листик не упал с дерева.

Шорэна не ответила, она высматривала оленьи следы.

Арсакидзе взглянул на неё. Её ланиты покрылись лёгким румянцем, маленькие чудесные ушки зарделись, как маки.

Как только они выехали из дубняка, Шорэна первая заметила вдаль на поляне пасущихся оленей. Она узнала Небиеру и пустила вскачь свою лошадь.

Заслышав лошадиный топот, олени сорвались с места и побежали.

Когда всадники стали их нагонять, Небиера кокетливо вытянула шею и, подставив грудь ветру, стремительно понеслась рядом с самцом, который мчался, закинув за спину рога. Это зрелище привело Арсакидзе в восторг.

«Наверное, самец ещё в загоне выбрал себе самку и теперь, улучив удобное время, похитил её»,— подумал он.

Миновали степь. Начались пашни. Лошади скакали с тру-

дом. Арсакидзе боялся, как бы лошадь Шорэны не оступилась в канаву.

— Напрасно мы гонимся за оленями, — умоляюще говорил он дочери эристава.

Кончились пашни, пошли кустарники. Вдруг дорогу коням пересёк овраг.

Шорэна придержала лошадь. Оглянулась. Знаура очень отстал. Наконец заметили его вдали. Дьякон едва тащился по полю.

— Знаешь, Ута, не трать понапрасну времени, вернись, если хочешь. Я и Знаура проедем вперёд, и если за тем лесом не нагоним оленей, то вернёмся.

Арсакидзе обиделся.

— Как ты могла подумать, дорогая, что я оставляю тебя одну в этом лесу и вернусь?

— Всю свою жизнь я стремилась к невозможному, Ута. Далёкое всегда желаннее близкого, то, что доступно, оказывается скучным. Целыми днями ты лазишь по лесам своей стройки. Посвяти же мне этот день, Ута. У меня такое чувство, такие сны... Хатутай говорит, что сны эти не к добру... Когда я вижу открытое поле, смотрю на дорогу, меня охватывает странное волнение, — мне хочется идти на край света и никогда не возвращаться в своё жилище.

«Не день один, а всю жизнь я отдам тебе без остатка, моя желанная. Вчера я закончил Светицховели, и теперь осталось только дописать мой «сон», — хотелось сказать Арсакидзе, но он постеснялся и сказал так:

— Один день? Я всю жизнь готов положить на весы ради тебя, но...

— Что «но»? — спросила она.

— Но есть слова, которые нельзя произносить всуе. Только те слова ценны, за которыми следуют дело и жертва. Слова без жертвы так же пусты, как цветы без запаха, лучи без света или солнце, лишённое тепла.

Ехали молча. Она заговорила снова:

— Я думаю, Ута, что если бы Небиера узнала меня, она бы не убежала. Я сама виновата: не следовало скакать, нужно было подъехать потихоньку, и я бы её поймала.

Тетёрка поднялась с нивы. Арсакидзе пустил стрелу. Птица качнулась в воздухе и упала на землю. Знаура поднял её, ещё живую, и ремнём привязал к поясу.

На голове дьякона была пшожская папаха, растрёпанная, как гнездо коршуна. Чужой меч, которым он был опоясан, свешивался чуть ли не до земли, вывернутый мехом на-

ружу армяк был весь изодран. А когда Знаура нацепил на себя ещё и тетёрку, Шорэна и Константин не могли удержаться от улыбки.

Знаура догнал и стал жаловаться на свою лошадь:

— Заупрямилась волчья сыть!

Беркуты взлетели с трупa коровы, задранной медведем. С ближайшего дуба за ними следили вороны, и не успели всадники проехать мимо, как они впились в остатки падали.

Лиственный лес кончился. Начались кустарники и заросли. Поле, подъём в гору, пропасти и опять ровное место.

Где-то далеко трубил самец-олень. Беркуты чертили в небе круги.

Лошади шли рядом. Арсакидзе посмотрел на девушку. Хотел подъехать ещё ближе к любимой, притянуть её к себе и поцеловать в раскрасневшееся, как полевой мак, ухо, но в это время послышался треск сучьев.

Арсакидзе придержал коня. На диком грушевом дереве стоял медведь на задних лапах. Передней лапой он держался за ствол, другой тряс ветви. Под деревом медвежата жевали дикие груши. Увидев всадников, медведь бросился вниз, забрал медвежат и с недовольным рычаньем пустился наутёк.

Мимо шли арбы, скрипя колёсами. Они везли три детских гробика. Землетрясением разрушило в селе несколько каменных домов, на земле валялся купол церкви.

Арсакидзе вспомнил про Светицховели.

Всадники поровнялись с озером. В нём отражался солнечный диск. Сплошным рукоплесканием разносилось хлопанье утиных и гусиных крыльев. Птицы взлетели и понесли на запад, закрыв собой горизонт.

У озера олений след пропал. С севера доносился рёв.

— Это Небиера, — сказала Шорэна.

— В этих горах много и других оленей.

Коней перевели на иноходь.

Шорэна радовалась езде, как ребёнок.

— Ты заметила деревню? Повидимому, на этих склонах землетрясение не причинило большого вреда населению, — сказал Константин.

— Было ли в Пхови землетрясение? Как-то себя чувствует мой бедный отец? — сказала с грустью Шорэна.

Подъём кончился. Взмыленные кони шли теперь по плоскогорью.

Подъехали к перекрёстку. Солнце перевалило за вершину хребта. Оно лениво хлопало ресницами цвета меди.

Знаура ехал впереди. Он пальцем указал влево.

— Аланские сёла, — сказал он и, снова указывая туда же, добавил: — Вот дорога на Пхови, дочь эристава!

— К северу? — спросил Арсакидзе.

— Эта аробная дорога ведёт прямо к замку Корсатевела! Вон, на той горе, видите, белые облака? Под ними крепость с четырьмя башнями. Это и есть Корсатевела!

При слове «Корсатевела» Шорэна смутилась. Она приоткрыла руками глаза и посмотрела в сторону замка. Потом повернула коня вправо. Арсакидзе посмотрел на аробную дорогу, идущую влево.

— Оленьи следы ведут влево, — сказал он с улыбкой.

— Я не такой хороший охотник, как ты, Ута, но всё же сумею отличить оленьи следы от следов быка.

— Сколько ещё нужно ехать до Пхови? — спросил Арсакидзе.

— Совсем близко, сударь, — ответил Знаура. — Вот обогнём с севера эту гору, чуть проедем по ущелью, перевалим ещё одну гору, проедем вдоль Чёрной Арагвы и там увидим первую пховскую башню!

В это время к перекрёстку подъехали шесть всадников.

Впереди гарцовал безбородый мужчина в латах. Верхнюю губу его рассекали острые, как у кабанов, клыки. Этот безбородый с глазами на выкате походил больше на зверя, чем на человека. Увидев его, Шорэна вздрогнула. Она узнала Бокаю, молочного брата Чиабера; узнала и остальных: это были молочные братья её умершего жениха: Азарай, Габидай, Зазай, Джибредаи и Ццой.

Бокай уставился на Шорэну. Он остановил лошадь и что-то крикнул по-алански остальным. Девушка ясно услышала имя Чиабера. Шорэна и её спутники направились по дороге, ведущей на Пхови.

Долго стояли всадники на перекрёстке. Шорэна слышала их спор. Теперь и до Арсакидзе дошло, что они часто произносили имя Чиабера. Больше всех шумел Бокай, он почему-то сердился на младших братьев.

Потом они все сразу стегнули лошадей и вскачь помчались к замку Корсатевела.

Тень печали легла на лицо Шорэны. Арсакидзе спросил её о причине; но она отговорила пустяками.

Константин молча ехал рядом с ней, теперь он вспомнил

клыкастого Бокая и его братьев, виденных им на похоронах Чиабера. Странно было только, почему они не приветствовали Шорэну и её спутников по рыцарскому обычаю.

— Знаешь, Шорэна, я не советую тебе ехать в Кветарский замок. Ведь тебе царь запретил въезд в Пхови.

— А разве мне одной? И тебе, Ута, запрещён въезд в Пхови. Но ты проводишь меня до первой башни, а потом я и Знаура поедем вдвоём, наверное, ночь будет лунная, и ничего плохого с нами не случится. Опасность, которую ты подразумеваешь, уже миновала. Я только проведу отца и послезавтра вернусь в Мцхета.

— О какой опасности ты говоришь, Шорэна?

— Знаура привёз мне новые вести. Твои догадки оправдались. Хевисбери изменили отцу. Кажется, в этом повинен он сам. Не захотел помириться с Мамамзе. А хевисбери настаивали на этом. Они думали победить Георгия соединёнными силами. Я уже давно знала об этом, но я дала слово, и если бы Мцхетские ворота не оказались закрытыми, я бы обязательно уехала в Пхови.

Шорэна замолчала.

— Да, дорогая, судьба ездит по миру на арбе, но как бы ни спешил человек, она всё же его нагонит,— проговорил Арсакидзе.

— Да, Ута, ты прав, судьба ездит на арбе. И я решила покориться, хотя маленькая надежда ещё живёт во мне. Гиршела прогнали санатлойские блохи. Может быть, на Георгия обрушились вчера потолки Уплисцихе. Я слышала от пожилых людей, что Уплисцихский замок однажды уже обваливался.

Подавленной и беспомощной показалась ему в эту минуту Шорэна.

«Поеду с ней в Кветари, укрою её в горах на некоторое время, а потом тайком перевезу в Лазистан,— подумал он, но вспомнил рыцарское слово, данное Георгию. — Да ведь и Светицховели ещё не совсем окончен!»

Он прищпорил коня, чтоб отогнать от себя эти мысли.

Молча ехал Арсакидзе по крутой тропинке, размышляя о смелости самца-олени.

## XLVIII

Шесть всадников мчались на конях к замку Корсатевела. Добрались до узких тропинок, где быстрая езда стала невозможной.

Молочные братья Чиабера спешили на свадьбу, но Бокай торопился по другой причине, и потому не жалел своего серого в яблоках жеребца.

Младших братьев радовал пир на свадьбе Тохайдзе и Катай. Братья были хорошими певцами, а самый младший из них, Цдой, к тому же прекрасно играл на пандури и напевал сочинённые им самим стихи.

Когда пылкий Бокай подскочил к первой башне, стража открыла ему ворота. Он ловко соскочил с коня и, прихрамывая, направился к главной крепости. Все пять братьев последовали его примеру. Они тоже прихрамывали при ходьбе, так как от долгой езды верхом у них онемели ноги.

Во дворе крепости горели костры. На них жарились быки, поросята и коровы, слуги вертели шампури, оглядывались на вновь прибывших гостей.

Со ступенек главной крепости быстро спустился Тохайдзе, бросился к Бокаю, приложился к правому плечу, затем точно так же поздоровался и с другими пятью братьями. Бокай отозвал Тохайдзе в сторону, под клён.

Из башенной щели видела Катай, как они присели на корточки под деревом и долго шептались друг с другом.

Тохайдзе поднялся по ступеням лестницы в дом и вызвал Мамамзе.

Бокай поцеловал Мамамзе в правое плечо, потом огромными ручищами схватил лежавший тут же камень, поднял его и бросил под дерево. Мамамзе сел на камень, Бокай присел около него на корточки, и они продолжали шептаться.

— И с ней только один дьякон Знаура? — громко спросил у Бокай Мамамзе.

— Нет, с ней ещё какой-то мужчина в пховской чохе.

— Смуглый?

— Нет, русский. Я бы сказал, даже рыжеватый.

— Высокий?

— Нет, среднего роста.

— Наверное, Арсакидзе? — заметил Мамамзе.

— Рябой? — спросил Тохайдзе.

Бокай подтвердил.

— Без сомнения, Арсакидзе, — подтвердил и Тохайдзе.

— Свяжите всех троих и доставьте сюда. Говорят, дочь Колонкелидзе влюблена в своего молочного брата. Я ей покажу, как надлежит невесте оплакивать Чиабера! Бро-

шу её в темницу, чтобы забыла навеки о солнечных лучах! — твёрдо произнёс Мамамзе.

— А царь Георгий? — заикаясь, спросил Бокай.

— Вот что, мой Бокай, в бою мой обычай таков: всегда первым нападать на врага! Царь Георгий всё равно не простит нам женитьбы Тохаидзе на Катай. А кроме того, это будет поводом для мщения за кровь Чиабера! — добавил Мамамзе и взглянул на Тохаидзе.

## XLIX

До Чёрной Арагвы было ещё далеко. Лошадь Знауры устала. Седок шёл за нею пешком, подгонял плетью и бранил изо всех сил.

Как ни старался Арсакидзе, он не мог рассеять плохого настроения Шорэны. Чем ближе подвигались к Пхови, тем нетерпеливей становилась Шорэна.

Дьякон и его кляча задерживали их. Подвешенная вверх ногами к его поясу тетёрка боролась со смертью. Иногда ремень ослабевал, и тогда дьякон садился на корточки и крепче затягивал узел, браня нещадно свою жертву.

Шорэна останавливала лошадь и нетерпеливо оглядывалась на Знауру.

Она даже сказала Арсакидзе:

— Давай оставим Знауру! Поедем вдвоём!

Но они не знали дороги.

Гору объехали с севера. Дальше дорога была размыта, и они продолжали путь ущельем, заваленным громадными валунами, которые доходили лошадям до живота.

За ущельем по склону горы шли крутые тропинки.

Теперь Шорэна и Арсакидзе ехали шагом.

Вдруг воздух рассёк свист плети, и они услышали за собой гиканье.

Преследователи посадили Знауру на лошадь, и двое всадников били нещадно плетью по кляче и седоку.

Арсакидзе повернул коня и снял с плеча лук.

Перед ним был Бокай.

— Сдавайтесь! — крикнул Бокай.

Арсакидзе пустил стрелу прямо ему в лицо.

Бокай занёс меч, но промахнулся и ранил лошадь Арсакидзе.

На узенькой тропинке аланы едва сдерживали своих жеребцов. Меж ними болтался Знаура на своей кляче, затрудняя нападение.

Шорэна пустила в Бокая стрелу. Тот повис на лошади, которая понесла его дальше, и он руками заметал по дороге пыль.

Арсакидзе соскочил с коня и прикрылся им.

Двое братьев Бокая промчались мимо, размахивая мечами. Они убили лошадь Арсакидзе и поскакали вслед за Бокаем. С двумя другими сцепился Знаура. Дьякон размахивал мечом, как палкой.

Шорэна грудью коня наскочила на Азарая, но рыцарь уклонился от схватки с женщиной. Он замахнулся мечом на Арсакидзе, но Арсакидзе, уже раненный в ногу, встретил его мечом и отрубил ему кисть правой руки.

Дочь Колонкелидзе преградила конём путь Зазаю. Юноша схватил её за руку, но кони обоих испугались и шарахнулись в сторону. Алан пронёсся мимо Арсакидзе, занёс меч, но промахнулся и не сдержал во-время коня.

Знаура, пользуясь сумятицей, удрал от Ццоя и поскакал вслед за Шорэной.

Ццой ринулся на Арсакидзе. Лаз отразил удар, но острый вражьего меча ранило его в левое плечо. Арсакидзе зашатался и упал со скалы в овраг.

Ццой резко гикнул, спрыгнул с коня, но не знал, куда привязать его, наконец, сообразил и привязал его к поводу убитой лошади. Но он не решался спуститься в овраг, да и жаль было ему раненого храбреца. Он вскочил на коня и помчался вслед за братьями.

Долго катился вниз дважды раненный Арсакидзе, хватался руками за ветки кустарников, пока не очутился, наконец, на дне оврага. Некоторое время он лежал оглушённый.

Потом встал, расстегнул чоху, снял рубаху, мечом изрезал её и с трудом перевязал плечо и ногу.

Опираясь на меч, он выбрался на тропинку. Прислушался: ни единого человеческого звука не доносилось из ущелья. Где-то филин одиноко взывал, да в кустах жалобно стонал глухарь.

«Встречусь со садниками и буду биться не на жизнь, а на смерть», — подумал Арсакидзе.

Папаха Знаура и мёртвая тетёрка валялись на тропинке.

«Наверное, уже проехали», — подумал он.

Он шёл, опираясь на меч, хромал и, сам жаждущий крови, исходил кровью.

Вдруг послышался конский топот. Спрятавшись в кустах боярышника, он ждал врага с обнажённым мечом.

Сумерки спускались в ущелье, на западе рдели облака. Трое всадников ехали по спуску. Они вели в поводу двух лошадей. Пригляделся: копыеносцы! Они не походили на аланов. У Бокая и его братьев не было пик.

Арсакидзе услышал грузинскую речь. Опираясь на меч, он вышел из засады и преградил путникам дорогу.

— Не встречали вы всадников? — спросил он.

— За ущельем видели нескольких всадников, ехавших шагом к замку Корсатевела. Трое из них несли покойника, а двое держали девушку, которая кричала и отбивалась от них. За ними бежал лысый старик без шапки! — рассказывали они.

Копыеносцы оказались воинами из крепости Ларгвиси.

Они узнали царского зодчего, посадили его на коня и помчались с ним в Мцхета.

## L

Царь Георгий неожиданно вернулся в Мцхета. Звиад приказал принести во дворец на носилках главного зодчего. Его расспросили подробно обо всём. Было ясно, что дерзкий поступок Мамамзе был вызовом на войну.

В то же утро послали скорохода к владельцу Квелисцихе.

Вечером царь созвал совет. Единодушно решили через неделю отправить войско в Корсатевела и разрушить крепость до основания, чтобы даже и памяти не осталось от семейства Мамамзе.

К счастью, чума утихла.

На другой день лазутчики Звиада принесли новые сведения. Мурочи Калундаури и пять хевисбери перешли на сторону Мамамзе, и только один Ушиша Гудушаури остался с кветарским эриставом. Таким образом выяснилось, что не только цанары и аланы, но хевисбери и их дружины тоже поддерживают Мамамзе.

Цанарские азнауры и те, у которых были крепости, и те, у кого их не было, укрыли свои семьи, пожитки и скот за стенами Корсатевела. Подступы к крепости укрепили. Дочь Колонкелидзе и дьякона Знауру бросили в темницу, а шейдиши Шорэны цвета фазаньей шейки Тохандзе распорядился повесить на главной башне.

Снова разрушили монастыри и церкви, а священников привязали к конским хвостам.

В тот же день Звиад послал в горы лазутчиков. Они

должны были обойти с севера замок Корсатевела и явиться к Мамамзе «как каменщики, ищущие заработка». Георгий знал, что Мамамзе теперь нуждается в мастеровых для восстановления крепости.

Ушишараисдзе дали мешок золота и поручили любой ценой достать ключи хотя бы от одной из крепостных башен.

В субботу явился Кахай со своей самцхийской дружиной. К полудню подоспел и Гиршел. Он привёл с собой тысячу отборных копыеносцев, а две другие тысячи шавшетских ратников вступили в Мцхета вечером.

На следующий же день войска выступили в поход.

Впереди несли большое знамя, а рядом со знаменем ехали на латных конях крестоносец и архиепископ Ражден в боевых доспехах.

Гиршел вёл правый фланг, самцхийские дружины шли за Кахаем, левым флангом командовал Звиад спасалар.

Царь выехал из Мцхета позднее. За свитой царя следовали три тысячи абхазских стрелков, шестьсот картлийских копыеносцев и камниёты.

На Георгии сверкали позолоченный шлем Багратионов и серебряные салмансурские латы.

Гиршел безжалостно гнал свои дружины, не щадя ни людей, ни лошадей,— владетелю Квелисцихе хотелось опередить ратников Звиада и Кахая.

В сумерках показалась крепость Корсатевела. Четверо лазутчиков встретили дружину эристава.

Тохаисдзе нанял их в качестве каменщиков для восстановления башен, разрушенных землетрясением. И теперь они рассказали, что узкие подступы к замку Корсатевела укреплены, что местами они засыпаны громадными камнями, а местами пересечены рвами, что Тохаисдзе с аланскими мятежниками намерен встретить царские войска у подступов к замку и что замок защищают шесть тысяч ратников, цанарских, пховских и аланских.

Было уже темно, когда Звиад нагнал дружины Гиршела.

Владетель Квелисцихе горел нетерпением. Он настаивал на немедленном наступлении.

Спасалар предлагал отложить атаку до утра. Гиршел и Звиад повздорили в их спор вмешался начальник самцхийских дружин Кахай и как старейший эристав уговорил, наконец, Гиршела.

Вскоре подошёл царь во главе своей рати, и все три войска заночевали в лесу.

На рассвете над лесом спустился густой туман.

Отряды Гиршела первыми двинулись в бой. У подступов к замку шавшетские ратники увидели необычное зрелище: воины в чёрных бурках неподвижно стояли на поляне, подпустив неприятеля на близкое расстояние. Ратники Гиршела осыпали их стрелами, но воины в чёрных бурках даже не шелохнулись.

Дружины Гиршела и воины Звиада пошли на врага.

Но где же враг? Вместо него войска наткнулись на пугала, наряженные в бурки и горские папахи. Без труда опрокинув эту преграду, воины, посмеиваясь, двинулись дальше, но тут на них неожиданно набросились укрывшиеся во рвах аланы и перебили у них коней.

Гиршел, Кахай и Звиад повели атаку с трёх сторон. Они обратили в бегство мятежников и загнали их в узкие ущелья, служившие подступами к замку.

Справа и слева высились скалы; конники не могли взобраться на них, тогда как аланы и пховцы прыгали по ним, как козы, и камнями и стрелами забрасывали царских воинов, попавших в ловушку. Мятежники дико вскрикивали, размахивали зажжёнными лучинами и пугали коней.

Шавшетцы ударили в набат и пошли в наступление. Мятежники опрокинули на них сверху каменные глыбы, которые, падая, давили людей. Перепуганные лошади бросались с седоками в пропасть.

Шавшетцы и самцхийцы дрогнули, передние начали было отступать, но трое военачальников, обнажив мечи, крикнули: «Да здравствует царь Георгий!» — и бросились на врага.

Снова с утёсов полетели камни. В одну секунду они превращали всадника и коня в кровавое месиво. Осколки от камней засыпали воинов заживо.

Под Гиршелом убили лошадь. Кахаю в рот попал осколок кремня. Хлынула кровь и окрасила его седую бороду.

Гиршел пешим шёл впереди своей дружины.

Старый Кахай и бровью не повёл — он колот копьём аланов и подбадривал своих самцхийцев.

Окровавленные всадники и кони шли в гору, копьём и мечом прокладывая себе путь.

На них налетел отряд аланов с обнажёнными мечами. Дружина Гиршела дрогнула, испуганные кони повернули обратно.

Но тут подоспел на помощь царь Георгий, и отступающие остановились.

Теперь впереди шли абхазцы и картлийцы. Царь обнажил свой испытанный в боях меч и прищпорил золотистого жеребца.

В том месте, где ущелье становилось шире, из-за каменных засад выскочили аланские и цанарские азнауры под предводительством аланского князя Тузарай и напали на дружины Георгия. На вороном коне сидел богатырь Тузарай, чернее ворона. Он направился к царю с обнажённым мечом. Георгий замахнулся и отрубил ему руку с латыным наручником.

Абхазцы и самцхийцы копьями подогнали цанаров и аланов к стенам крепости, где навстречу Георгию выступил Тохаисдзе с аланской дружиной. Царские воины рубили мечи горцев, как соломенные стебли.

Аланы отступили. Тохаисдзе был ранен. Три азнаура, около ста всадников и хевисбери — Мусураули Зезвай — остались на поле брани.

Тохаисдзе вернулся в крепость и закрыл ворота.

Царь отправил послов для переговоров с Мамамзе.

— Прекратим напрасное кровопролитие, — сказали послы царя Мамамзе, — царь ещё раз простил тебе измену, как другу детства Баграта Куропалата. Он обещает оставить в сохранности главную башню для тебя и супруги твоей Бордохан.

Из крепости прислали ответ:

— Пусть к нам пожалует царица. Мы поверим только тогда, когда Мариам поклянется на иконе спасителя.

Звиад ответил, что царица больна и пребывает в Уплисцихе.

Тогда царь приказал выстроить у подступов к крепости заслоны. Стали бить из камней по всем четырём башням.

Тогда Мамамзе выслал посредников.

— Если пожалует к нам католикос Мелхиседек, мы ему поверим без клятвы.

— Католикос Мелхиседек уехал в Артануджи, — ответил Звиад. — Вместо католикоса к вам придёт мцхетский архиепископ Ражден.

Перед первой башней поставили палатку.

Из крепости вышел седобородый, представительный Мамамзе.

Навстречу ему двинулся Ражден без лат, без шлема, с крестом в руках.

Мамамзе опустился на колени, одной рукой опираясь на

меч, другой потянулся к кресту, поцеловал его, затем приложился к руке архиепископа.

Беседовали недолго. Эристав вернулся в крепость, а Ражден доложил царю:

— Мамамзе просит не только за себя. Аланские и царские азнауры тоже должны остаться невредимыми. Кроме того, он просит, чтобы дочь его Катай и её супруг Тохаисдзе Шавлег были объявлены владельцами замка Корсатевела. И ещё — чтобы дочь Колонкелидзе была выдана замуж за младшего сына аланского царя, а Кветарский замок был передан жениху как приданое Шорэны.

— Надень латы, — сказал царь архиепископу и вышел из палатки. Он отрядил триста воинов охранять пути, ведущие к замку Корсатевела. Направил пять каменщиков, чтобы отрезать от крепости воду.

Гиршел заявил, что первую башню он возьмёт до полудня. Звиаду это не понравилось, но он смолчал. По приказу царя подняли большое знамя. Ударили в барабаны, и дружина Гиршела пошла на приступ.

Владелец Квелисцихе обнажил меч, неоднократно обнажённый кровью сарацин.

Из крепости вышли ему навстречу азнауры, Гиршел шёл впереди, и, как траву, косили врага шавшетские воины.

Ударили в набат в замке Корсатевела. Новые и новые дружины подходили на помощь к пховцам, защищавшим первую башню. Под Гиршелом снова убили коня. Оруженосец подал ему другого. Гиршел мигом вскочил на него, гикнул воинам и ринулся на пховцев.

Тогда с кровли башни полетели камни, копья и множество стрел. Стрелы, пущенные сверху, пронизывали насквозь латных воинов и вонзались в землю.

Нападающие шли по трупам своих товарищей. Раненые катились под гору. Гнулись и ломались кольчуги, трескались шлемы, как тыквы.

От нетерпения Георгий непрерывно курил опиум. Он не знал, что огорчит его больше: победа Гиршела или его поражение?

Звиад тоже был обижен на Гиршела.

Ему самому хотелось отличиться и взять первую башню. Знал он, что и царь не очень рад успехам Гиршела, и потому нехотя докладывал Георгию:

— Владелец Квелисцихе просит подкрепления.

Царь боялся, если Гиршел возьмёт первую башню, то ему же достанется и главная крепость. Он вспомнил, как

хвастался Гиршел в Мцхета: если возьму замок Корсате-вела, то на другой же день женюсь на дочери Колонке-лидзе.

Вспомнил он и другое: как на охоте с гепардами обещал Шорэне избавить её от Гиршела.

— Я полагаю, Звиад, что напрасно Гиршел тратит столько людей при первом же приступе! — тихо сказал он спасалару.

Хотел добавить: «Не давай ему подмоги», но сомкнул уста и, помолчав немного, сказал:

— Немедленно отзови эристава. Переждём ночь. Может быть, Ушишараисдзе добудет нам ключи от крепости.

— Я тоже так думаю, царь-батано. Эристав Гиршел храбрый рыцарь, но всякий удар надо заранее рассчитать. Если прикажешь, я сам с рассветом поведу тысячу абхазцев и самцхийские дружины и до восхода солнца сдам тебе первую башню.

Разгневался эристав Гиршел, когда ему доложили, что царь приказывает отступить. Он решил состязаться с двоюродным братом до конца. Вспомнил, как грозил ему царь: «Погибнешь, Гиршел, соревнуясь со мною». Но не захотел отступить упрямый рыцарь; опять царь будет подтрунивать, будто Гиршел боится блох и гепардов.

Снова созвал он свои дружины, снова забили шавшетские ратники в барабаны, и Гиршел пошёл в наступление.

Дрогнули аланы и пховцы. Храбрые юноши, стройные, как сосны Кавкасион, пали у ворот крепости. Тохаисдзе отступил и снова запер ворота башни.

Владелец Квелисцихе приказал начальнику шавшетских дружин ломать ворота.

Ломами выбили железные затворы.

Разъярённый эристав первым ворвался в башню. С обнажённым мечом встретил его хевисбери Мурочи Калундаури. Храбрый старик бросился на Гиршела, но и тут не отступил эристав. Он не успел замахнуться мечом и нанёс удар врагу ногою в пах.

Свалился хевисбери, но на эристава набросился Голдердзи Калундаури. Мечом, подаренным ему царём Георгием, он разрубил меч эристава и, замахнувшись вторично, рассёк рыцаря вместе с латами.

Снова замкнулись ворота башни. Царские войска отступили.

Вечер ронял противников.

Царские воины раскинули палатки вокруг крепости, развели костры, завладели всеми подступами к замку и отрезали осаждённых от воды.

В полночь к ногам передовых дозорных упало веретено. К нему был привязан ключ от первой башни.

То же веретено с письмом послали обратно.

Царь спрашивал Ушишараисдзе, какая судьба постигла владетеля Квелисцихе.

Веретено вернулось.

«Гиршела рассёк мечом пховец Годердзи-Калундаури», — сообщил Ушишараисдзе.

Царь не спал всю ночь. Он вспомнил свою молодость, проведённую с Гиршелом, и всегдашнее соревнование с ним. Потом припомнил Пхови и своего побратима Калундаури и признался себе, что рад смерти двоюродного брата.

Дозорные перекликались в темноте, кони сладко хрустели кормом. Георгий лежал ничком с закрытыми глазами в своём шатре и думал.

Когда первые петухи прокричали в замке Корсатевела, он твёрдо решил: если удастся спасти Шорэну, он женится на ней в течение десяти дней. В лагере царских войск заиграли зорю. Начальник крепости выслал посла. На этот раз Мамамзе просил прощения и мира. Георгий ничего не ответил. По всем четырём башням царские войска били из камнемётов.

Тогда на кровлях главной крепости и четырёх башен появились воины Мамамзе. Они держали в руках кресты и кричали:

— Да здравствует царь Георгий!

Из бойниц и с зубцов осаждающему войску показывали деревянные кресты и тоже кричали:

— Да здравствует царь Георгий!

Георгий хотел было остановить кровопролитие, но Звиад уверил его, что это военная хитрость, придуманная Тохаисдзе. Они хотят крестами заманить нас в крепость, а потом забросать камнями и обезглавить.

Царь приказал войскам наступать на все четыре башни. Первой башней удалось овладеть в тот же день с помощью ключа, сброшенного Ушишараисдзе. Навстречу царю вышел начальник крепости, он подал ключи от трёх башен и бросился к ногам Георгию.

— А где же ключи от первой башни? — спросил царь.

— Их украли, государь!

Георгий понял, что начальник крепости был подкуплен Ушишараисдзе.

— Отрубите голову этому изменнику и поднесите её в подарок эриставу Мамамзе! — обратился он к Звиаду.

Мамамзе заперся в большой палате главной крепости. Ему поднесли подарок царя. Он был ошеломлён.

Он пригласил в палату Георгия и Звиада. Упал к ногам царя, целовал колени его, молил о прощении.

Царь спросил:

— Ты получал мой подарок, эристав?

Эристав поблагодарил.

— У меня правило, эристав эриставов, не оставлять на плечах головы изменников. Ты хотел узнать силу мечей, рассекающих железо и кость? Ну, что ж, испытай на себе!

— Выведите его! — приказал Звиад.

С верхушки башни сняли шейдиши Шорэны и водрузили вместо них седую голову эристава Мамамзе.

Тохаисдзе перетянули шею петлёй и концы верёвки привязали к двум коням. Затем хлестнули коней и погнали их в разные стороны.

В то же утро повесили четырёх хевисбери: Шиолу Алханаури, Бердиа Бебураули, Мартиа Багатаури и Мамуку Балачаури.

Замок Корсатевела разрушили до основания.

Шорэна поседела в плену, но седина шла к ней.

Дочь эристава привезли в Мцхета и снова вручили её Гурандухт.

Тело Гиршела, изрубленного пховцами на куски, едва удалось собрать. Оплакали его по принятым обычаям и похоронили в Самтавро под алтарём в том месте, где погребали царей, католиков и эриставов.

Мелхиседек сиял от радости: Светицховели был закончен к приезду византийских гостей. После долгого путешествия и болезни он так ослаб, что мснахи еле живого сняли его с коня. Но в тот же вечер он появился в ограде храма.

Он благоденствовал каменщиков и плотников, которые попадались ему навстречу, и очень огорчился, когда узнал, что царский зодчий тяжело ранен.

Католикос привёз с собой множество пожертвований от верующих из Кларджети, Самцхе и Джавахети.

Золотом и серебром убрал и разукрасил он храм, обложил золотом икону «Светицховели», царские врата и ико-

ностас, куда поместил также икону, унизанную драгоценными камнями, присланную кесарем Василием. От своего имени он пожертвовал сорок пять икон, украшенных золотом, серебром, усыпанных камнями и жемчугом, писанных на сурьмлённом золоте.

С большой торжественностью привезли из Нокоры икону святого Георгия «в цепях», изумительно украшенную неизвестным мастером. Чешуя дракона и кольца салмансурского панцыря были отчеканены на ней с неподражаемым мастерством.

В храм было доставлено церковное убранство, множество духовных книг, летописей, ладана, подсвечников, украшенных золотом, серебром и драгоценными камнями.

Мелхиседек пожертвовал Светицховели несколько деревьев. Грамота на владение этими деревьями была подарена ему ещё Багротом Куропалатом.

Он сам составил «сигель» — дарственную грамоту. Сам же составил подробную опись имущества храма и с неслыханной жестокостью проклял всех, кто осмелится что-либо присвоить из этого списка.

Ко дню освящения храма в Мцхета прибыл народ из всех эриставств, раскинутых от Никопсии до Дербента.

Гостей не вмещали ни храм, ни ограда, ни вся Мцхета.

Обедню служили католикос Мелхиседек и двенадцать его епископов. Богослужение совершалось на грузинском и греческом языках.

Георгий не любил ничего греческого и потому угрюмо слушал византийских епископов. С большим пафосом молились и пели они на этом прекрасном языке.

В конце обедни иссохший старик с волчьими глазами встал перед иконостасом. Сперва он говорил как бы нехотя, и слова тлели на его устах, как горящие угольки, покрытые золой.

Мелхиседек перебирал тысячи раз слышанные библейские мифы, но он так увлекательно говорил о них, что старые и малые слушали его с благоговением.

Попутно он упомянул о том, что «равноапостольная царица Мариам», великая ревнительница этого храма, захворала цакануне путешествия в Иерусалим.

Затем он хотел рассказать о несчастном случае с Арсакидзе, но постеснялся назвать его имя рядом с именем царицы, поэтому он снова обратился к библейским мифам, рассказал историю выхода евреев из Египта и заключил этот миф поучением о том, что каждый народ

должен жить в своей стране, каждый народ должен быть свободен, как бог.

С большим тактом коснулся он взаимоотношений между Грузией и антиохийским патриархом, попрекнул сарацин за то, что они отрезали пути в Антиохию. (В душе он был рад этому, так как Грузия избавилась от дани в тысячу золотых динаров, которой были обложены в пользу антиохийского патриарха грузинские деревни.)

Мелхиседек не умолчал и о том, что, когда эти пути оказались открытыми, меч Георгия снова отрезал их.

С особенным вниманием слушал Георгий это место, так как Мелхиседек имел в виду мирный договор, заключённый в 1021 году. Весь мир знал, что меч Георгия разрубил тот узел, которым грузинская церковь была связана с византийской церковью.

Под конец католикос счёл уместным сказать несколько слов и об Арсакидзе.

«Проклятые аланы» тяжело ранили строителя Светицховели великого мастера Арсакидзе. Католикос проклял аланов ещё и за то, что они убили «знатнейшего эристава Гиршела».

Как только он кончил проповедь, в храм внесли на носилках Константина Арсакидзе.

Мастер обвёл глазами своё творение, убранный золотом, серебром и драгоценными камнями. Слёзы подступили к его глазам, но он сдержал волнение и тихо прошептал:

— Да будет свет!

Католикос посмотрел на восковое лицо мастера, поцеловал его в лоб, потом, миновав икону богородицы, — дар кесаря, — и множество других икон, подошел к иконе святого Георгия «в цепях», обеими руками взял её и взмолился:

— Исцели, святой Георгий, великого мастера Константина!

И следом за ним весь народ внутри и вне храма возопил, как один человек:

— Исцели великого мастера!

Шорэна и Гурандухт стояли вместе с жёнами эриставов. Когда дочь Колонкелидзе увидела исхудавшее лицо Арсакидзе и когда весь собор загремел: «Исцели!», у неё стиснуло горло. Она опустилась на колени и, спрятавшись за парчовые платья придворных дам, заплакала, вознося молитву к святому Георгию об исцелении друга своего детства.

Гурандухт недовольно изогнула брови, когда услышала плач Шорэны. Она боялась, как бы не увидел царь, ибо Георгий уже сообщил ей тайно, что, как только царица отбудет в Иерусалим, он на другой же день женится на Шорэне.

И потому она волновалась.

«Ради какого-то каменщика, да к тому же лаза, будущая царица не должна тревожить святого Георгия», — думала она.

## LI

Большое знамя стояло у входа во дворец. В тот день к царю были званы на обед эриставы и их семьи, византийские патриции, митрополиты и епископы.

Католикос Мелхиседек, Звиад спасалар, архиепископ Ражден, Мровели, Анчели, Мацкверели и Мтбевари стояли на своих местах, вправо от трона царя. Слева находились византийские вельможи: катепан Никифор Касавила, патриций Христофор Дельфос, севастос Фёдор Лампрос (все трое были в серебряных латах, но без мечей), аморийский митрополит Камаха, смиренный — Иоанн, родосский епископ Елифан, трапезундский — Роман и двенадцать пустынников грузин.

По приказу царя, мандатуртухуцеси<sup>1</sup> положил скипетр, и амиреджиби<sup>2</sup> поднял его.

Мандатуртухуцеси стал перед престолом.

Царь приказал подать обед.

Мандатуртухуцеси поднёс хлеб. Встали католикос, спасалар, главный распорядитель двора, вельможи и гости.

Царь Георгий попросил католикоса к столу.

Мелхиседек благословил трапезу, помолился и первым преломил хлеб.

Мандатуртухуцеси и амиреджиби поставили табаки<sup>3</sup>. Подали царскую посуду, золотую и серебряную, ковши Багратионов, отлитые из чистого золота.

На золотом столике лежала усыпанная жемчугом ложка с серебряной ручкой.

Теперь поднялся главный хранитель казны, а мандатуртухуцеси сел на своё место.

Амиреджиби поднёс трапезу католикосу, Мровели — грузинским и византийским вельможам и епископам.

<sup>1</sup> Мандатуртухуцеси — начальник иностранного приказа.

<sup>2</sup> Амиреджиби — шталмейстер.

<sup>3</sup> Табаки — низкие длинные столы.

Главный постельничий сидел рядом с главным книжником, за ним сидели должностные лица, а в конце стола главный табунщик, главный начальник слуг и конюшен. В стороне стоял главный кравчий — краснощёкий, длинноусый, с бритым подбородком.

Когда вносили яства, он пробовал их на ладони. Когда давали вина, первым отпивал их.

Катепан Никифор Касавила объездил весь мир — от Китая до Ирландии, и всё же он с изумлением разглядывал золотые и серебряные подсвечники, стоящие по углам столовой палаты; ковши Багратионов, золотые подносы, азарпешы, пиалы, посуду китайскую и иранскую. Он следил за торжественным церемониалом при блестящем дворе Георгия Абазга<sup>1</sup>.

Касавила представлял себе Грузию как страну почти варварскую.

Он ранее бывал послом при дворе сарацинского халифа и удивлялся, что грузины не едят руками, как мусульмане, и не шумят за трапезой, а великие и малые кушают молча и чинно.

Византийские епископы и за царским столом продолжали спор о пасхальном календаре.

В то время в Византии среди богословов шёл большой спор о том, как лучше составить такой календарь, чтобы в нём совпадали по времени христианская и иудейская пасхи.

Архиепископ Ражден был страстным полемистом, и теперь он жаждал от всего сердца вмешаться в этот спор, но он знал, что царь не любил, когда грузины спорят о делах византийских, и потому перенёс свою страсть на поданную на стол осетрину.

Царь Георгий за его обжорство дал ему прозвище «вигри», то есть крокодил. И правда, он походил на крокодила с длинным-предлинным носом, широким разрезом рта и чешуйчатой прыщавой кожей.

Более ста различных блюд, поданных к столу, сосчитал любопытный катепан Касавила.

Как и сам Касавила, так и остальные византийские гости с большой охотой ели сладкие блюда и не притрагивались к приправленным перцем, уксусом и чесноком колхидским яствам.

Упитанные византийские епископы вступили в состоя-

---

<sup>1</sup> Так называли византийцы Георгия I, царя абхазцев и Грузии.

зание с грузинскими епископами и безжалостно уничтожали арагвских лососей, усачей и вандышей с Мтквари, проклиная в душе главного повара за то, что он «испоганил» перцем и чесноком чудесную осетрину и балык.

Ещё не покончив с рыбными блюдами, они уже пялили свои масляные глазки на зажаренных на вертеле поросят и жирных индеек.

Смирнский митрополит Иоанн, только что вернувшийся из Антиохии, где он с мечом в руке бился с сарацинами, с такой отвагой нападал на арагвскую лососину, что даже обжора «вигри», он же архиепископ Ражден, почувствовал себя побеждённым.

Два раза застревала у митрополита в горле кость, а так как из двух епископов, сидевших рядом с ним, ни один не знал греческого языка, то на помощь ему приходил Фарсман, который в тот день был приглашён на обед в качестве толмача; Фарсман во-время подносил митрополиту сухую корку хлеба.

Георгий знал и греческий и арабский языки, но во дворце всегда говорил только по-грузински.

Сам царь ел без удовольствия. Ему передалось плохое настроение Шорэны. Бледная и молчаливая, сидела она между «Рыбьей короной» и Гурандухт и сияла своей неземной красотой среди упитанных жён эриставов.

После обедни Шорэна хотела уйти домой, — у неё болела голова, она предпочитала поплакать в одиночестве, — но Гурандухт пригрозила отскатать её за волосы, если она не пойдёт на царский званый обед.

Царя злили греческие гости, их говор и особенно любопытство Касавилы, переходящее всякие границы вежливости.

О каждом куске, который Касавила клал себе в рот, он неизбежно расспрашивал Фарсмана: «А как изготавливается это кушанье?»

Когда подали раков, изготовленных по-колхидски, Касавила решил, что раки-то во всяком случае не будут заправлены перцем. Он смело положил себе кусок в рот, но обжёгся и тут же без стеснения выплюнул его себе на левую ладонь.

— В какой реке вы ловите этих перченных раков? — обратился он к Фарсману.

— Этих раков царь Георгий разводит в реках Колхиды, чтобы прижигать языки чрезмерно любопытным гостям, — ответил Фарсман.

Касавила много смеялся, когда узнал, что раки «не разводятся наперченными», а шпигуются своим же мясом, заправленным перцем и чесноком.

Касавила брал пищу левой рукой, так как на правой у него остались всего только два пальца.

Он даже хвастался, что позапрошлый год на обеде у римского папы Бенедикта VIII он также ел левой рукой. Пальцы он потерял при следующих обстоятельствах: когда кесарь Василий ослеплял болгар, побеждённых при Цетиниуме, то как раз он, Касавила, руководил этой операцией. Один из болгар заявил, что он выдаст большую тайну, если ему дадут поговорить наедине с сенатором Касавила.

Когда к сенатору привели «добровольного лазутчика», болгарин набросился на Касавила. Сенатор замахнулся на него правой рукой, но рассвирепевший пленник схватил его за руку и откусил три пальца.

За это «геройство» Касавила и получил сан катепана. По секрету же он хвастался:

— Я победил болгар при Цетиниуме и велел ослепить пятнадцать тысяч врагов!

## III

После окончания обеда катепан гулял с царём по дворцовому саду. Он надоедал ему бесконечными расспросами, всё больше наглел и даже осмеливался дотрагиваться до руки царя.

Раздражённый хозяин едва сдерживал гнев.

Всё это было тем более неприятно Георгию, что он вынужден был выслушивать его вопросы по два раза: по-гречески и по-грузински.

Получив уклончивые ответы о состоянии крепостей и войск, катепан стал спрашивать о царских лошадях и соколах.

Было видно, что обо всём этом он был кем-то осведомлен заранее. Даже кличка царской собаки Куршай была ему уже знакома.

«Рыбья корова» с дочерью Натиа, — девушкой с сапфировыми глазами, — тоже гонялась за Георгием.

Она настигла царя и катепана у клетки с гепардами. Касавила бросил болтовню о гепардах, оглядел Натиа, затем её мать и обратился к Фарсману:

— Кто эта красавица? Не дочь ли царя? Они как две капли воды похожи друг на друга.

Фарсман отвёл его вопрос. Цокала покраснела.

Георгий взглянул на Натиа и заметил в первый раз её сходство с собой. Он вздрогнул, вспомнив, что три месяца тому назад он хотел взять её к себе в наложницы.

Царь очень разгневался.

— Боюсь, как бы этот двупалый катепан не залез ко мне в карман,— сказал он по-грузински.— Византийцы — воры. Они украли религию у иудеев, язык — у древних греков, Цитиниум — у болгар, Басианские страны — у Грузии, Аниси — у армян! У них всё ворованное, кроме совести, которая им не нужна.

— О чём изволит говорить царь? — спросил болтливый катепан у Фарсмана.

— Царь говорит,— ответил толмач по-гречески,— что, как только вернётся сын его Баграт, он передаст ему трон, а сам пожелает к кесарю, чтобы объездить святыя места в Византии.

Царь сдержал улыбку.

«Рыбья корова» плохо знала по-гречески. Она испугалась, что теперь погибли её планы. Царь поверит, что Натиа его дочь, и не женится на ней. Скоро придет царевич Баграт, и царь с царицей отбудут в Византию.

Когда они подошли к оленьему загону, катепан опять оживился.

«Теперь он изведёт меня расспросами об оленях», — подумал царь и хотел уйти, но заметил Шорэну, молча стоявшую рядом с Гурандухт.

Вдова Колонкелидзе нарочно оставила царя вдвоём с Шорэной.

Царь видел, как его чувство к Шорэне росло с каждым днем. Циничный с женщинами, он почему-то боялся Шорэны, волновался и заикался, беседуя с ней.

Выпитое за обедом вино придало ему смелости.

— Почему ты скучна, роза Экбатана? — обратился царь к ней.

Девушка не обратила внимания на комплимент царя, она безмолвно опустила голову.

Царь приписал её молчание стыдливости.

— Может быть, ты грустишь о Небиере?

Шорэна хотела ответить, что у неё много горя и помимо Небиеры, но предпочла опять смолчать.

— Если ты исполнишь моё желание, Шорэна, я сегодня

же прикажу главному ловчему поймать твою Небиеру! — сказал ласково царь.

— Что вам угодно от меня, государь? — почти сердито ответила Шорэна и печально посмотрела на оленей.

— Твою любовь! — ответил он.

— Я думаю, вам довольно и того, что вы у меня уже отняли, царь-батону. Отца моего вы лишили света, меня — свободы. А моё сердце — оно давно принадлежит другому.

Царь смутился, хотел немедленно узнать, кто этот «другой». Чиабера и Гиршела не было в живых, кто же ещё мог соперничать с царём?

К счастью для Шорэны, к ней подошла «Рыбья корова» и завела с ней разговор об оленях.

Царь извинился перед дамами и направился к Гурандухт и Касавила.

Катепан попросил Фарсмана показать ему замечательную царскую собаку Куршай.

Куршай беззаботно лежала с пустыми, высосанными сосками. Трое щенков-самцов лезли на трёх волчат.

Касавила поразился, увидев ласки щенков и волчат.

Фарсман пояснил:

— Этих волчат я посадил к Куршай, чтобы она их вскормила.

После освящения Светицховели и объявления Арсакидзе великим строителем, Фарсман окончательно возненавидел своего соперника. Подойдя к одиноко идущему царю, он с улыбкой шепнул ему:

— Эти щенки и волчата — молочные братья и сёстры, царь-батону!

Георгий понял, что Фарсман намекает на что-то более важное.

— Говори прямо, старик! Что ты хочешь сказать?

— Я решил никогда не говорить тебе правды ни прямо, ни обиняком, государь, так как во дворце ещё много подсвечников.

— Клянись памятью матери, я больше не накажу тебя за правду!

Фарсман знал, что царь никогда не клянётся напрасно памятью матери.

— Я ведь докладывал тебе, государь, что вазирь твои — трусы. Они предпочитают говорить тебе лишь приятное, а неприятное остаётся на долю «вора подсвечников».

Георгий схватил за локоть Фарсмана и пошёл быстрее, чтобы их не нагнал Касавила.

— Напрасно ты, царь, задумал жениться на Шорэне: весь двор знает, что она любовница Арсакидзе.

— Слушай, Фарсман, если ты дорожишь головой, то ты сам же и принесёшь мне доказательства.

— Во время землетрясения ты находился в Уплисцихе, государь. Преследование оленя было устроено только для вида, на самом же деле Арсакидзе в тот день похитил Шорэну, хорошо, что аланы задержали их на пховской земле. Давно уже выздоровел царский зодчий. Бальзамы Турманидзе очень помогли ему. Но он всё ещё продолжает лежать в постели: это предлог для того, чтобы дочь Колонкелидзе приходила к нему на свидания.

Царь взбесился. Лицо у него сделалось землистым.

— Не думаю, чтобы этот лаз мог соперничать со мной.

— Соперничать с тобой?— улыбнулся Фарсман.— Да он соперничает не только с царями. Я заходил к нему на следующий день после землетрясения, думал, что он болен, и хотел навестить его, но он бежал тогда в Пхови, и я не застал его дома. Зато я видел у него написанную им картину: она изображает борьбу Иакова с богом. Так вот у того бога глаза Мелхиседека, а Иаков похож на самого художника. Но это ещё не всё, государь! Он нарисовал Шорэну, дочь эристава. Она стоит в поле, покрытом маками, на плечах у неё сидят дикие голуби, а у ног лежат два медведя — один медового цвета, другой каштанового. Каштановый очень напоминает владельца Квелисцихе, а кто медовый медведь, ты это угадаешь, наверное, сам, государь!

Георгию это показалось убедительным.

— Если этих доказательств тебе мало, то у меня есть неоспоримые сведения о том, что по субботам Шорэна приходит к нему поздней ночью, и если обыскать хорошенько дворец Рати, то наблюдательный глаз может обнаружить там и другие доказательства.

Царь хотел ещё расспросить о чём-то Фарсмана, но «Рыбья корова» и катепан помешали им.

На следующий день катепан Касавила выехал в Византию.

Кесарь Василий, почувствовав приближение смерти, отправил в Грузию почётного заложника Баграта, сына Георгия, в сопровождении катепана Докиана и большой свиты.

Наследник византийского престола Константин жил вне дворца. Кесарь Василий написал ему, приглашал его к себе, но вазиры скрыли это послание.

Кесарь несколько раз повторил приказ — явиться Константину во дворец, но ответа не получал. Тогда он велел оседлать коня и сам поехал искать наследника престола.

Вазиры знали, что Константин пировал в тот день с блудницами в Никее.

Когда разгневанный Василий показался на улицах Византиона, народ укрылся в подвалах, а перепуганные вазиры послали скороходов и привезли Константина во дворец.

Василий провёл пьяного брата в Хризотриклинский золотой дворец, посадил его на трон, надел на него свои красные башмаки, возложил на голову корону, а потом повалился ему в ноги и поклонился новому кесарю, Константину VIII.

Новый кесарь в ту же неделю послал погоню за катепаном и Багратом. Скороходы нагнали их у границы Тао и передали катепану послание.

«Волей всевышнего скончался блаженный кесарь Василий, брат мой,— извещал император Константин,— и если Баграт, сын Георгия, царя Абхазии и Грузии, находится ещё в пределах наших владений, верните его, и пусть он предстанет перед нами».

Таоские, месхетские и картлийские азнауры вывели навстречу Баграту свои дружины. Византийцы прибегли к силе, но царские дружины сразились с ними, обратили в бегство катепана Докиана и его свиту, а царевича доставили в Мцхета.

В Мцхета было устроено большое пиршество. Мелхиседек отслужил в Светицховели благодарственный молебен. Ликовала вся Грузия от Кавкасиони до Басиани.

Но и это радостное событие не могло развеселить царя Георгия. Он стал чаще курить опиум и всё время проводил на охоте.

Бальзамы Турманидзе в самом деле помогли Константину Арсакидзе. Он уже ходил с палкой по комнате.

Хатутай принесла ему письмо от Шорэны. «Если будет хорошая погода, мать в субботу утром уедет в Зедазени, и тогда вечером зайду к тебе»,— писала она.

Уже давно Гурандухт собиралась в Зедазени, но прошла уже не одна суббота, а Шорэна всё не приходила.

Несмотря на запрещение лекаря, Арсакидзе весь день в четверг провёл на ногах, заканчивая свою картину «Сон». К вечеру у него начался жар. Нонай побежала за лекарем. Большой лежал без присмотра один, у него сохло в рту, хотелось пить.

Фарсман уже не раз подговаривал жену украсть из дворца Хурси шейдиши Шорэны, но Вардисахар колебалась.

Однажды в четверг у него заболела голова. Вардисахар отправилась к Гурандухт за лекарством. Оказалось, что вдова Колонкелидзе вместе с Шорэной и её служанками ушли в церковь Самтавро. Дома оставалась одна Хатутай.

Вардисахар выслала её за водой, а сама отыскала шейдиши Шорэны.

Наступили сумерки, когда Вардисахар вошла во дворец Рати. Нонай ушла из дому, и потому плошки ещё не были зажжены.

Она на цыпочках прокралась к больному и подложила шейдиши под его изголовье.

Арсакидзе бредил. Ему показалось, что вошла Нонай.

— Когда придёт лекарь?— спросил он.

— Придёт, придёт скоро,— пробормотала Вардисахар и, как тень, выскользнула из комнаты.

В субботу шёл дождь, но Арсакидзе этого не заметил. Вечером Шорэна тайно ушла от матери.

Запыхавшись, вбежала она в комнату, но оставалась недолго.

Царь, оказывается, рассказал о сплетнях её матери. Мать таскала Шорэну за косы, бранила её, назвала «распутницей» и «наложницей каменщика».

Увидев, в каком состоянии находится больной, Шорэна попросила Нонай послать в Пхови Бодокия, чтобы привезти оттуда мать зодчего. Может быть, её ласки исцелят Арсакидзе.

— Я не могу долго быть с ним, — жаловалась она. — Если улучу время, зайду в следующую субботу.

Она поцеловала пылающие щёки больного и ушла со слезами на глазах.

Не успела Шорэна выйти из сада, как навстречу ей мелькнула чья-то тень. Кто-то следил за дочерью Колонкелидзе. Незнакомец бесшумно поднялся по лестнице и шмыгнул во дворец Рати. Нонай находилась в своей комнате и варила там целебные травы.

— Воды,— попросил больной у вошедшего.

Незнакомец подал ему пить, осмотрел внимательно комнату, пошарил под подушкой Арсакидзе и достал оттуда шейдиши Шорэны цвета фазаньей шейки.

Лазутчик принёс их царю и сообщил, что дочь Колонкелидзе встретила ему в саду. Кроме того, он подробно рассказал о содержании обеих картин.

Каждый предмет начинает падать, когда теряет равновесие.

Царь взбесился от ревности. В тот же вечер к нему пожаловал Мелхиседек.

Когда католикос узнал, что лаз Арсакидзе нарисовал еретическую картину, он отказался от защиты царского зодчего.

На другой день Мелхиседек поехал провожать византийских гостей. Царь вызвал Фарсмана и вновь назначил его главным зодчим.

Фарсман потребовал, чтобы Светицховели был разрушен, но царь с этим не согласился. Он приказал отсечь Арсакидзе правую руку.

Когда кривой тбилисский палач Сагира отсёк руку у больного мастера, из единственного глаза Сагиры потекли слёзы.

## LIV

На следующий день, по тайному приказу архиепископа Раждена, Шорэну, дочь кветарского эристава, постригли в монахини в Багинетский женский монастырь.

Её нарекли Шушаникой, ибо в таких случаях оставляют неизменной первую букву имени постригаемой.

Это наказание не было неожиданностью для Шорэны. Она думала, что царь разгневался и отомстил ей за то, что она отказалась стать его супругой.

Она спокойно встретила эту кару, ибо знала, что её,

дочь эристава, никогда не отдадут замуж за простого лаза. Да и жизнь в Мцхета сделалась для неё невыносимой.

Вдова Колонкелидзе держала себя недостойно. Она всячески старалась сосватать дочь за царя, а когда ей это не удалось, она принялась бить и бранить Шорэну.

Шушанике понравилось местоположение монастыря. Отсюда вся Мцхета была видна, как на ладони. Вокруг монастыря росли кипарисы. В сумерки они, как огромные гишеровые подсвечники, подпирали небо, усеянное звёздами. Далеки были отсюда и сплетни дворца и шипение жён эриставов. Вершины Кавказиони — величественные сапфировые богатыри — глядели на неё. По утрам и вечерам их закрывали облака — чистые, как безгрешные детские грёзы.

Понравилась Шорэне и сверкающие чистотой кельи. Воспитанная в Пхови, она не отличалась религиозностью, но с удовольствием слушала теперь церковное пение и сама пела на клиросе. Вместе с другими сёстрами она варила пищу, убирала кельи, мыла посуду, чинила ветхую одежду и чистила кастрюли своими белыми, как сердцевина миндаля, руками.

Однажды к ней подошла седая монахиня, сестра Эфемиа, и вырвала у неё из рук медный котелок.

— Жаль портить такие руки о грязную посуду, — сказала она.

— Младшая должна обслуживать старшую, — ответила Шорэна.

— Ты не младше меня. Мы обе седые и обе пожилые! — воскликнула Эфемиа шутя. Она обняла и поцеловала Шорэну в щёки цвета старинной слоной кости. Она поцеловала её ранние седины и, как ребёнка, прижала к груди.

Эфемиа была рябая от оспы, некрасивая женщина, но чистая сердцем и многотерпеливая в страданиях.

Смолоду невзлюбила её судьба. Работорговец купил её в Кларджети и продал какому-то иранцу на рынке рабов в Уплисхихе. В Иране Эфемию приобрёл грузин-виноторговец. Спустя много лет он приехал в Мцхета на богомолье и здесь умер.

Жизнь Эфемии уже была в ту пору на ущербе. В Багинетском женском монастыре Эфемиа нашла, наконец, покой. Шорэна не знала материнской ласки, и потому со всей нежностью дочери она привязалась к Эфемии, которая укладывала её с собой по ночам, гладила в темноте её

прекрасную голову, и под её ласками Шушаника плакала, как малое дитя.

Иногда молодая монахиня укрывалась под тень кипарисов и глядела оттуда на раскинувшуюся внизу Мцхета. Только об одном мечтала она: узнать что-нибудь о здоровье её любимого Уты.

Но женские пересуды и в монастыре не оставляли Шушанику в покое. Старые и молодые монахини говорили о её красоте и о её ранних сединах. Она никому ничего не рассказывала о своей жизни, но праздная фантазия монахинь плела свои сказки. Говорили, будто Шушаника из простолюдинок и любила какого-то пахаря, а выдали её замуж за старого эристава, и будто пахарь с горя поранил себя остриём плуга, а Шушаника сбежала от эристава.

Смиренную монахиню беспокоили вопросами, бегали за нею следом, подсматривали, что она делает, и, когда заставали одну, обнимали и целовали её.

Грубая чёрная одежда красила Шорэну. Теперь она ещё больше походила на скорбного ангела Кинцвиси.

Как-то вечером после молитвы Эфемия и Шушаника сидели под кипарисами. Вдали, на краю утёса, стоял тополь, и за ним разверзала́сь глубокая пропасть.

Они молча смотрели на игру заходящих лучей на куполе Светицховели. Купол храма был покрыт золотом, и отражённые в нём солнечные лучи радовали взор.

К ним подседа молодая монашенка.

Она взглянула на Светицховели, а потом обратилась к старшей монахине:

— А знаешь, мать Эфемия, что произошло в Мцхета?

У Эфемии были порваны все связи с жизнью, и потому она равнодушно переспросила болтунью:

— А что произошло?

— А то, что строитель этого храма, какой-то лаз, полюбил очень красивую девушку, дочь эристава. Царь Георгий сам хотел жениться на ней. А та, глупая, предпочла ему зодчего. Об этом узнал царь. Влюблённых застали на месте. Девушка убежала, но забыла свои шейдиши у зодчего под подушкой. Царь Георгий разгневался и велел отрубить зодчему правую руку.

Смертельно побледнела Шорэна.

Она вспомнила, что недели две тому назад у неё пропали шейдиши цвета фазаньей шейки.

Некоторое время она сидела молча; потом встала и, как лунатик, побрела к утёсу.

— Куда ты, Шушаника?

— Сейчас приду, мать Эфемя, — отозвалась Шорэна.

На краю утёса она перекрестилась и бросилась в пропасть. Сначала она летела вниз, раскрыв руки так, как на фресках изображаются летящие ангелы, но затем перевернулась в воздухе и, ударившись головой о скалу, за смертью упала на землю.

## LV

В Мцхета снова вспыхнула чума.

Умер настоятель Самтавройского монастыря отец Стефаноз.

На той же неделе от чумы погибла Вардисахар.

Сарацины напали на сёла, лежащие по ту сторону Мтквари. Против сарацин послали войско, которое обратило их в бегство.

На погребении старца Стефаноза архиепископ Ражден говорил речь.

— Много язычников в Мцхета, и потому чума не покидает город, — сказал он и во всеуслышание назвал Фарсмана Перса главой язычников.

Георгий находился в это время в Уплисхихе.

Разъярённая толпа схватила Фарсмана и хотела побить его камнями, но старец Гаиоз удержал толпу и взамен предложил заклеить Фарсмана тавром «единомышленника сатаны». Раскалили медное тавро с изображением лисы и приложили ко лбу Фарсмана.

Царевич Баграт тоже невлюбил Фарсмана. Он хотел его повесить и не сделал этого только потому, что не было в Мцхета другого столь же искусного знахаря, умеющего лечить соколов. Но и это не спасло Фарсмана. У Баграта заболел сокол, Фарсман поставил ему клизму, но сокол окошел.

Тогда юный повелитель разгневался и приказал бросить Фарсмана в темницу.

И снова покатилась «амфора бездонная».

Узник сбежал из тюрьмы к сарацинам. У Дигоми<sup>1</sup> его настигли. Фарсмана пытали, вырывали ногти на пальцах, но он так и не выдал тайны ковки харалужных мечей.

Во время пыток старик испустил дух.

«Воровавший вино погиб из-за виноградных выжимок».

Царь и царевич повздорили между собой.

<sup>1</sup> Дигоми — деревня около Тбилиси.

Началось это с того, что Баграт получил письмо из Византиона. После ужина царь начал бранить византийцев. Царевич возразил отцу:

— Следует быть в беседе сдержаннее, отец! Ты уже не в первый раз изволишь хулить кесаря и всю Византию. Фарсман, оказывается, совсем иначе перевёл твои слова сенатору Касавила, а потом, перед отъездом византийских гостей, он подробно передал катепану подлинный смысл твоей речи. Касавила доложил твои слова новому кесарю, вот почему была послана за мною погоня.

Царь вспылил и накричал на сына:

— Византийцы развратили тебя! Фарсман поступил хорошо, что прямо в лицо выпалил правду Касавиле! («О, если бы я мог вторично убить Фарсмана»,—думал он.)

На другой день после этой ссоры в палату вошёл архиепископ Ражден. Царь курил опиум.

«Крокодил» огляделся и, убедившись, что никого нет, доложил Георгию о гибели Шорэны.

Царь поднялся и молча ушёл в опочивальню, удалил постельничего, сам запер дверь. Выкрасил бороду хной и переоделся простолудином.

Вечером он вызвал к себе Ушишараисдзе Пипу.

Никто не видел, как они вышли вдвоём из дворца, как вывели коней из конюшни.

Первую неделю думали, что царь изволил уехать на охоту в Сапурцле. Потом решили, что он в Уплисцихе. Всюду разослали скороходов. Послали гонцов в Абхазию, Тмогви, Фанаскертскую крепость. Царя не нашли. Искали его труп в Мтквари и Арагве. Царь и скороход Ушишараисдзе пропали бесследно.

Царевич, или, вернее, теперь уже царь Баграт IV, помнил только одно: в ту роковую ночь кто-то поцеловал его во сне.

— Я хотел взглянуть, не отец ли это, но меня одолел сон.

Придворные, припомнив о таком же бесследном исчезновении халифа Ал-Хакима, решили, что царь последовал его примеру.

## LVI

Глахуна и Пипа скитались по Триалетским лесам. Ночевали они в хижинах пастухов, а иногда в деревне Ицро в заброшенной избушке.

Чтобы не выдать себя, они ни с кем не встречались.

Однажды утром, лежа в шалаше пастуха, Глахуна Авшанидзе проснулся, услышав мычание оленя. Ему снилось, что он в мцхетском дворце. Он повернулся на другой бок и продолжал дремать.

Олень затрубил вторично. Царь вздрогнул и вскочил на ноги. Разбудил Пипу. Они взяли с собой Куршай и пошли в том направлении, откуда слышался олений рёв.

Ушишараисдзе увидел самца-оленя и пустил в него стрелу, но промахнулся. Глахуна погнался за оленихой, — она была львиного цвета и напоминала собой Небиеру.

До полдня охотник и собака гонялись за оленихой, пока, наконец, тяжело раненная, она не свалилась на землю.

Когда Глахуна подошёл к ней, — она лежала, согнув передние ноги, и, уткнув морду в землю, тяжело дышала.

Охотник хотел было добить самку, но она была так прекрасна и беспомощна, что Глахуна опустил оружие.

Он подошёл к обрыву и позвал Ушишараисдзе, но никто не отозвался. Глахуна влез на дерево, кричал, свистел, но всё напрасно.

«Дотащу её на руках», — подумал он.

Глахуна обхватил зверя и некоторое время тащил его, но вдруг почувствовал сильную боль в животе и упал на землю.

Захотел подняться, но уже не мог. Тогда он положил голову на смертельно раненую, но ещё тёплую свою добычу.

«Смерть пришла», — подумал он.

Вспомнил Шорэну и несколько счастливых минут, проведённых с нею в Кветарском замке.

Наконец подоспел Пипа, он подхватил царя и понёс его в деревню Ицро. Олениху он бросил в лесу.

Уложив царя в хижине, Пипа принялся растирать ему живот, но заметил, что царю от этого становится хуже.

Лицо Георгия покрылось смертельной бледностью, глаза закрылись. Затем щёки его слегка зарумянились, и он открыл глаза.

— Есть кто-нибудь в этом доме, Пипа, кроме тебя? — спросил он.

— Никого нет, государь.

— Хорошо, Пипа, что, кроме тебя, не будет других свидетелей моей смерти.

— О какой смерти ты изволишь говорить, государь? Ещё рано тебе умирать.

— Нет, часы мои сочтены, Пипа. Гнев зменного Георгия настѣг меня... Я ухожу из этого мира! А ты, Пипа, расскажи то, о чём я буду говорить,—расскажи всем, кто будет спрашивать обо мне. Расскажи царевичу Баграту и Звиаду спасалару и последнему сапожнику.

Во многом я грешен, Пипа, и как царь и как человек. Был я и храбрым, и трусливым. Боролся с кесарем и боялся змей. Был спесивым и любил выпивать, но народу своему я не изменял никогда.

Если бы азнауры не изменили мне -у Басиани, я убил бы кесаря Василия. Грузии я отдал отрочество своё и юность, но грузины звали меня «абхазом», а абхазцы — «лазутчиком карталинцев»,— меня, Багратиона, лаза.

Наши глупые азнауры и прожорливые епископы всегда были прахом от ног византийцев, а цари наши мечтали о зелёной колеснице и византийских титулах. Потому не любил я отца моего — Баграта Куропалата, и потому накануне моего бегства из Мцхета поссорился я с сыном своим Багратом.

Беда наша в том, что мы любим плясать под чужую дудку, и потому у нас всё хорошее называется «уцхо» — иностранным. Хороший грузинский орех — «грецким орехом», и даже хорошая фасоль называется «греческой фасолью».

Он закрыл глаза и некоторое время молчал. Лицо у него мучительно перекошилось и подёрнулось смертельной бледностью. Затем он снова пришёл в себя.

— Когда вернёшься домой, Пипа, поцелуй от меня Звиада спасалара, скажи ему, чтоб он помог юному Баграту собирать Грузию. Теперь, Пипа, иди и приведи ко мне кого-нибудь из священнослужителей. Не люблю я скорморохов епископов, мне хочется послушать бормотанье простого дьякона!

Пипа вышел и разыскал в деревне какого-то дьякона. Когда они подошли к избушке, где лежал Георгий, Пипа отстал от дьякона и, прислонившись к столбу хижины, рыдал в темноте,— этот громадный мужчина, Пипа.

Дьякон встал у изголовья умирающего. В одной руке держал он псалтырь, в другой — зажжённую восковую свечу.

«Господи владыка души и телес наших, ты рассеял смерть, поправил сатану и даровал нам жизнь на земле. О господи, упокой душу раба твоего (он пропустил имя, так как не ведал, над кем читал отходную) в царстве света,



Чёрное море. Звёзды всё ещё светили и мигали во тьме золотыми ресницами.

Нонай варила в своей конуре травы, и когда слёзы набегали на глаза, она утирала их подолом платья. Скорбела Нонай, что не было около больного ни Бодокия, ни матери умирающего.

Совёнок призывал ночь.

Больной тихим голосом простонал:

— Воды!

Вода стояла тут же, но правой руки у него не было, а левой он не мог пользоваться — мешала рана.

Он видел, как река стала выступать из берегов, нет, то была не река, а море, синее море! Не резвятся ли в нём золотые рыбки?

На берегу моря показалась лазская деревня, лазский домик и тополя, высокие до небес. А затем выступили горы, прекрасные пховские горы. С утёсов лились водопады, но никто не хотел дать ему воды.

В маленьком дворике с пховской каменной оградой суетилась тщедушная старушка в чёрном. Голова её была покрыта чёрным платком.

В одной руке она держала окровавленный нож с чёрным черенком. Она вонзила нож в горло чёрной овцы, и оттуда хлынула кровь. Арсакидзе хотел подойти и напиться, но мать не допускала своего любимого сына Уту.

С утёсов падала вода, гремели прекрасные пховские водопады, но вокруг стоял зной.

Жаждающие коршуны бились о безводное небо.

— Воды! — попросил Арсакидзе слабым голосом и заплакал, как ребёнок, — даже мать не хотела дать ему напиться.

Испугался, как бы не увидели его слёз, с трудом поднял левую руку и прикрыл ею глаза.

Простился с горами и морем, простился с милым детством и горьким юношеством.

Больному показалось: что-то шуршит в углу, что-то упало на влажную щеку, кто-то его укусил... Не жук ли? Он вздрогнул. Его охватил озноб.

Огромное привидение спустилось со стены, волчьи глаза сверкнули в темноте.

И боролся во тьме с мастером длиннородый старец, затем схватил его за раненое бедро и онемил его.

Всё ближе и ближе надвигалась расплывчатая мохнатая тень. Сверкнули волчьи глаза и потребовали у него душу.

Не отдал художник души своей старцу с волчьими глазами.

Долго боролся мастер с богом смерти.

Боролся с тьмой фазан в долине Цицамури.

Наконец занялась заря. На востоке поднялся сполох света.

Небо засыпало горы красными маками, фиолетовые лучи лились, как водопады с пховских гор.

Со стены сошла Шорэна. На ней было чёрное платье из китайского шёлка, золотые косы падали на плечи. Она шла по полю цветущих маков и кидала в Константина хлебными колосьями... Маки и хлебные колосья! Трижды преклонила пред ним колени желанная и попросила душу у великого мастера. Слезы полились из глаз Константина, не мог он отдать свою душу любимой, ибо душу он принёс в жертву Светицховели.

На рассвете из Пхови спустилась мать Арсакидзе. Увидела она искусанного скорпионами сына и окаменела.

...И это тоже случилось в день гепарда.

## ЭПИЛОГ

Тысячу лет с того дня шли дожди и гремели громы над Грузией.

Тысячу лет хранилась окаменевшая душа матери.

В юности я видел камень в человеческий рост, о котором в Мцхета говорили:

— Это мать Константина Арсакидзе.

Камень этот и вправду напоминал женщину в пховском платье. Ещё в прошлом году видел я его в Мцхета на старом кладбище.

Спросил о нём и на этот раз, но мне ответили, что его увяли куда-то. С тех пор я больше его не искал.

Я в живом слове вскрыл тайну, замурованную в камне.